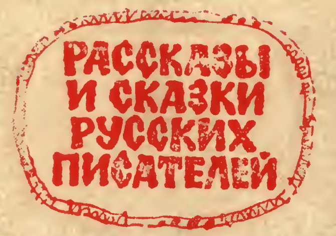

РАССКАЗЫ
И СКАЗКИ
РУССКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ





РАССКАЗЫ И СКАЗКИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1989

84Р1
Р 24

Иллюстрации В. Н. Власова
Редактор Е. В. Черняк

Р $\frac{4803010201-022}{М158(03)-89}$ 65-89
ISBN 5—7529—0159—6

С. Т. Аксаков

Наверное, трудно найти человека, который не знал бы сказки «Аленький цветочек». Услышанная в детстве от неграмотной крепостной женщины, ключницы Пелагеи, она вспомнилась Сергею Тимофеевичу Аксакову (1791—1859), когда были написаны почти все его произведения. В то время он работал над повестью, которую обещал подарить младшей любимой внучке Оле на день рождения. Повесть оказалась большой, писал её Аксаков долго, Оля успела за это время подрасти, научилась хорошо читать. «Детские годы Багрова-внука» — так Аксаков назвал свои воспоминания о детстве, о радостях и огорчениях, увлечениях и играх. «Сурка» и «Весна в Багрове» — отрывки из повести.

СУРКА

Раз, сидя на окошке, услышал я какой-то жалобный визг в саду.

Мать тоже его услышала, и когда я стал просить, чтоб послали посмотреть, кто это плачет, что «верно кому-нибудь больно», мать послала девушку, и та через несколько минут принесла в своих пригоршнях крошечного, ещё слепого щенка, который, весь дрожа и нетвер-



до опираясь на свои кривые лапки, тыкаясь во все стороны головой, жалобно визжал, или скучал, как выражалась моя нянька.

Мне стало так его жаль, что я взял этого щеночка и закутал его своим платьем.

Мать приказала принести на блюдечке тёпленького молочка и после многих попыток, толкая рыльцем слепого кутёнка в молоко, выучила его лакать.

С этих пор щенок по целым часам со мной не расставался. Кормить его по нескольку раз в день сделалось моей любимой забавой.

Его назвали Суркой.

Он сделался потом небольшой дворняж-

кой и жил у нас семнадцать лет, разумеется, уже не в комнате, а на дворе, сохраняя всегда необыкновенную привязанность ко мне и к моей матери.

ВЕСНА В БАГРОВЕ

А сколько было мне дела, сколько забот! Каждый день надо было раза два побывать в роще и осведомиться, как сидят на яйцах грачи; надо было послушать их докучных криков; надо было посмотреть, как развёртываются листья на сиренях и как выпускают они сизые кисти будущих цветов; как поселяются зорьки и малиновки в смородинных и барбарисовых кустах; как муравьиные кучи ожили, зашевелились; как муравьи показались сначала понемногу, а потом высыпали наружу в бесчисленном множестве и принялись за свои работы; как ласточки начали мелькать и нырять под крыши строений в старые свои гнёзда; как клохтала наседка, оберегая крошечных цыпляток, и как коршуны кружились, плавали над ними... О, много было дела и заботы мне! Я уже не бегал по двору, не катал яиц, не качался на качелях с сестрицей, не играл с Суркой, а ходил и чаще стоял на одном месте, будто невесёлый и беспокойный, ходил, глядел и молчал против моего обыкновения. Обветрел и загорел я, как

цыган. Сестрица смеялась надо мной. Евсеич не мог надивиться, что я не гуляю как следует, не играю, не прошусь на мельницу, а всё хожу и стою на одних и тех же местах. «Ну, чего, соколик, ты не видал тут?» — говорил он. Мать также не понимала моего состояния и с досадою на меня смотрела; отец сочувствовал мне больше. Он ходил со мной подглядывать за птичками в садовых кустах и рассказывал, что они завивают уж гнёзда. Он ходил со мной и в грачовую рощу и очень сердился на грачей, что они сушат вершины берёз, ломая ветки для устройства своих уродливых гнёзд, даже грозился разорить их. Как был отец доволен, увидя в первый раз медуницу! Он научил меня легонько выдёргивать лиловые цветки и сосать белые, сладкие их корешочки. И как он ещё более обрадовался, услыша издали, также в первый раз, пение варакушки. «Ну, Серёжа, — сказал он мне, — теперь все птички начнут петь: варакушка первая запевает. А вот когда оденутся кусты, то запоют наши соловьи, и ещё веселее будет в Багрове!»

Наконец пришло и это время: зазеленела трава, распустились деревья, оделись кусты, запели соловьи — и пели, не уставая, и день и ночь. Днём их пенье не производило на меня особенного впечатления; я даже говорил, что и жаворонки поют не хуже; но поздно вечером или ночью, когда всё вокруг меня утихало, при свете потухающей зари, при блеске

звёзд соловьиное пение приводило меня в волнение, в восторг и сначала мешало спать. Соловьёв было так много, и ночью они, казалось, подлетали так близко к дому, что, при закрытых ставнями окнах, свисты, раскаты и щёлканье их с двух сторон врывались с силою в нашу закупоренную спальню, потому что она углом выходила на загибавшуюся реку, прямо в кусты, полные соловьёв. Мать посылала ночью пугать их. И тут только поверил я словам тётушки, что соловьи не давали ей спать. Я не знаю, исполнились ли слова отца, стало ли веселее в Багрове? Вообще я не умею сказать: было ли мне тогда весело? Знаю только, что воспоминание об этом времени во всю мою жизнь разливало тихую радость в душе моей.

В. Ф. Одоевский

Владимир Федорович Одоевский (1803—1869) был одним из образованнейших людей своего времени. Разнообразие его знаний и увлечений поражали современников. Его друзьями были Пушкин и Грибоедов, Лермонтов и Гоголь, композиторы Глинка и Даргомыжский. «Целый век и целый день он был занят»,— вспоминали друзья. Дело, труд было главным в его жизни, оттого так много Одоевский успел сделать. Он очень любил музыку, считал, что она должна сопровождать человека всю его жизнь, и написал повести о Бахе и Бетховене. Одоевский занимался техникой, химией. В середине прошлого века он написал роман, где рассказал о том, как люди осваивают Луну, пользуются сложными приборами и машинами, проносятся под землёй и морями в электровозах.

Одоевский был дворянином, человеком из богатой и знатной семьи, но он много размышлял о бесправном положении крестьян, хотел помочь им. Он написал несколько учебников для крестьян, занимался устройством детских приютов, школ, больниц.

Ему хотелось, чтобы дети навсегда оставались мечтателями и фантазёрами, он считал, что надо защитить ребёнка от скучных поучений. И вот тридцатишестилетний красивый, изящный человек в своих книгах превращается в деда Иринея — старика с седой бородой, который охотно рассказывает ребятам сказки: о чудесном городке в табакерке, о справедливом Морозе Ивановиче.

МОРОЗ ИВАНОВИЧ

В одном доме жили две девочки — Рукодельница да Ленивица, а при них нянюшка. Рукодельница была умная девочка; рано вставала, сама, без нянюшки, одевалась, а вставши с постели, за дело принималась: печку топила, хлебы месила, избу мела, петуха кормила, а потом на колодец за водой ходила. А Ленивица меж тем в постельке лежала, потягивалась, с боку на бок переваливалась; уж разве наскучит лежать, так скажет спросонья: «Нянюшка, надень мне чулочки, нянюшка, завяжи башмачки», а потом заговорит: «Нянюшка, нет ли булочки?» Встанет, попрыгает да и сядет к окошку мух считать: сколько прилетело да сколько улетело. Как всех пересчитает Ленивица, так уж и не знает, за что приняться и чем бы заняться; ей бы в постельку — да спать не хочется; ей бы покушать — да есть не хочется; ей бы к окошку мух считать — да и то надоело. Сидит, горемычная, и плачет да жалуется на всех, что ей скучно, как будто в том другие виноваты.

Между тем Рукодельница воротится, воду процедит, в кувшины нальёт; да ещё какая затейница: коли вода нечиста, так свернёт лист бумаги, наложит в неё угольков да песку крупного насыплет, вставит ту бумагу в кувшин да нальёт в неё воды, а вода-то знай проходит сквозь песок да сквозь уголья и каплет в кув-

шин чистая, словно хрустальная; а потом Рукодельница примется чулки вязать или платки рубить, а не то и рубашки шить да кроить, да еще рукодельную песенку затянет; не было никогда ей скучно, потому что и скучать-то было ей некогда: то за тем, то за другим делом, а тут, смотришь, и вечер — день прошёл.

Однажды с Рукодельницей беда приключилась: пошла она на колодец за водой, опустила ведро на верёвке, а верёвка-то и оборвись; упало ведро в колодец. Как тут быть? Расплакалась бедная Рукодельница да и пошла к нянюшке рассказывать про свою беду и несчастье; а нянюшка Прасковья была такая строгая и сердитая, говорит:

— Сама беду сделала, сама и поправляй; сама ведёрко утопила, сама и доставай.

Нечего было делать: пошла бедная Рукодельница опять к колодцу, ухватилась за верёвку и спустилась по ней к самому дну. Только тут с ней чудо случилось. Едва спустилась, смотрит: перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый, сидит, поглядывает да приговаривает:

— Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился; кто меня из печки возьмёт, тот со мной и пойдёт!

Рукодельница, нимало не мешкая, схватила лопатку, вынула пирожок и положила его за пазуху.

Идёт она дальше. Перед ней сад, а в саду

стоит дерево, а на дереве золотые яблочки висят и промеж себя говорят:

— Мы яблочки наливные, созрелые; корнем дерева питалися, студёной росой обмывалися; кто нас с дерева стрясёт, тот нас себе и возьмёт.

Рукодельница подошла к дереву, потрясла его за сучок, и золотые яблочки так и посыпались к ней в передник.

Рукодельница идёт дальше. Смотрит: перед ней сидит старик Мороз Иванович, седой-седой; сидит он на ледяной лавочке да снежные комочки ест; тряхнёт головой — от волос иней сыплется, духом дохнёт — валит густой пар.

— А!— сказал он.— Здорово, Рукодельница! Спасибо, что ты мне пирожок принесла; давным-давно уж я ничего горяченького не ел.

Тут он посадил Рукодельницу возле себя, и они вместе пирожком позавтракали, а золотыми яблочками закусили.

— Знаю я, зачем ты пришла,— говорит Мороз Иванович,— ты ведёрко в мой студенец опустила; отдать тебе ведёрко отдам, только ты мне за то три дня прослужи; будешь умна, тебе же лучше; будешь ленива, тебе же хуже. А теперь,— прибавил Мороз Иванович,— мне, старику, и отдохнуть пора; поди-ка приготовь мне постель да смотри взбей хорошенько перину.

Рукодельница послушалась. Пошли они в дом. Дом у Мороза Ивановича сделан был весь



изо льда: и двери, и окошки, и пол ледяные, а по стенам убрано снежными звёздочками; солнышко на них сияло, и всё в доме блестело, как бриллианты. На постели у Мороза Ивановича вместо перины лежал снег пушистый; холодно, а делать было нечего. Рукодельница принялась взбивать снег, чтоб старику было мягче спать, а меж тем у ней, бедной, руки окостенели и пальчики побелели, как у бедных людей, что зимой в проруби бельё полощут: и холодно, и ветер в лицо, и бельё замерзает, колом стоит, а делать нечего — работают бедные люди.

— Ничего,— сказал Мороз Иванович,— только снегом пальцы потри, так и отойдут, не ознобишь. Я ведь старик добрый; посмотри-ка, что у меня за диковинки.

Тут он приподнял свою снежную перину с одеялом, и Рукодельница увидела, что под периною пробивается зелёная травка. Рукодельнице стало жаль бедной травки.

— Вот ты говоришь,— сказала она,— что ты старик добрый, а зачем ты зелёную травку под снежной периной держишь, на свет не выпускаешь?

— Не выпускаю потому, что ещё не время; ещё трава в силу не вошла. Добрый мужичок её осенью посеял, она и взошла, и кабы вытянулась она, то зима бы её захватила и к лету травка бы не вызрела. Вот я и прикрыл молодую зелень моею снежной периной, да ещё сам прилёг на неё, чтобы снег ветром не разнесло;

а вот придёт весна, снежная перина растает, травка заколосится, а там, смотришь, выглянет и зерно, а зерно мужичок соберёт да на мельницу отвезёт; мельник зерно смелет, и будет мука, а из муки ты, Рукодельница, хлеб испечёшь.

— Ну, а скажи мне, Мороз Иванович,— сказала Рукодельница,— зачем ты в колодце-то сидишь?

— Я затем в колодце сижу, что весна подходит,— сказал Мороз Иванович,— мне жарко становится; а ты знаешь, что и летом в колодце холодно бывает, оттого и вода в колодце студёная, хоть посреди самого жаркого лета.

— А зачем ты, Мороз Иванович,— спросила Рукодельница,— зимою по улицам ходишь да в окошки стучишься?

— А я затем в окошки стучусь,— отвечал Мороз Иванович,— чтоб не забывали печей топить да трубы вовремя закрывать; а не то ведь, я знаю, есть такие неряхи, что печку истопить истопят, а трубу закрыть не закроют или и закрыть закроют, да не вовремя, когда ещё не все угольки прогорели, а оттого в горнице угарно бывает, голова у людей болит, в глазах зелено; даже и совсем умереть от угара можно. А затем ещё я в окошко стучусь, чтоб никто не забывал, что есть на свете люди, которым зимой холодно, у которых нет шубки, да и дров купить не на что; вот я затем в окошко стучусь, чтобы им помогать не забывали.

Тут добрый Мороз Иванович погладил Рукодельницу по головке да и лёг почивать на свою снежную постельку.

Рукодельница меж тем всё в доме прибрала, пошла на кухню, кушанье изготовила, платье у старика починила и бельё выштопала.

Старичок проснулся, был всем очень доволен и поблагодарил Рукодельницу. Потом сели они обедать; стол был прекрасный, и особенно хорошо было мороженое, которое старик сам изготовил.

Так прожила Рукодельница у Мороза Ивановича целые три дня. На третий день Мороз Иванович сказал Рукодельнице:

— Спасибо тебе, умная ты девочка, хорошо ты меня, старика, утешила, и я у тебя в долгу не останусь. Ты знаешь: люди за рукоделье деньги получают, так вот тебе твоё ведёрко, а в ведёрко я всыпал целую горсть серебряных пятачков; да, сверх того, вот тебе на память бриллиантик — косыночку закалывать.

Рукодельница поблагодарила, приколола бриллиантик, взяла ведёрко, пошла опять к колодцу, ухватилась за верёвку и вышла на свет.

Только что она стала подходить к дому, как петух, которого она всегда кормила, увидев её, обрадовался, взлетел на забор и закричал:

Кукуреку, кукуреки!
У Рукодельницы в ведёрке пятаки!

Когда Рукодельница пришла домой и рассказала всё, что с ней было, нянюшка очень дивовалась, а потом примолвила:

— Вот видишь ты, Ленивица, что люди за рукоделье получают! Поди-ка к старичку да послужи ему, поработай; в комнате у него прибирай, на кухне готовь, платье чини да бельё штопай, так и ты горсть пятачков заработаешь, а оно будет кстати: у нас к празднику денег мало.

Ленивице очень не по вкусу было идти к старичку работать. Но пятачки ей получить хотелось и бриллиантовую булавочку тоже.

Вот по примеру Рукодельницы Ленивица пошла к колодцу, схватилась за верёвку да и бух прямо ко дну. Смотрит — перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый; сидит, поглядывает да приговаривает:

— Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился; кто меня возьмёт, тот со мной и пойдёт.

А Ленивица ему в ответ:

— Да, как бы не так! Мне себя утомлять, лопатку поднимать да в печку тянуться; захочешь, сам выскочишь.

Идёт она далее, перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки висят да промеж себя говорят:

— Мы яблочки наливные, созрелые; корнем дерева питалися, студёной росой обмывалися;

кто нас с дерева стрясёт, тот нас себе и возьмёт.

— Да, как бы не так!— отвечала Ленивица.— Мне себя утомлять, ручки подымать, за сучья тянуть: успею набрать, как сами нападают!

И прошла Ленивица мимо них.

Вот дошла она и до Мороза Ивановича. Старик по-прежнему сидел на ледяной скамеечке да снежные комочки прикусывал.

— Что тебе надобно, девочка? — спросил он.

— Пришла я к тебе,— отвечала Ленивица,— послужить да за работу получить.

— Дельно ты сказала, девочка,— отвечал старик,— только посмотрим, какова ещё твоя работа будет. Поди-ка взбей мою перину, а потом кушанье изготовь, да платье моё повычини, да бельё повыштопай.

Пошла Ленивица, а дорогой думает: «Стану я себя утомлять да пальцы знобить! Авось старик не заметит и на невзбитой перине уснёт».

Старик в самом деле не заметил или прикинулся, что не заметил, лёг в постель и заснул, а Ленивица пошла на кухню. Пришла на кухню да и не знает, что делать. Кушать-то она любила, а подумать, как готовилось кушанье, это ей и в голову не приходило; да и лень ей было посмотреть. Вот она огляделась: лежит перед ней и зелень, и мясо, и рыба, и уксус, и горчица, и квас — всё по порядку. Вот она думала, ду-



мала, кое-как зелень обчистила, мясо и рыбу разрезала да, чтоб большого труда себе не давать, как всё было, мытое-немытое, так и положила в кастрюлю: и зелень, и мясо, и рыбу, и горчицу, и уксус, да ещё кваску подлила, а сама думает:

«Зачем себя трудить, каждую вещь особо варить? Ведь в желудке всё вместе будет».

Вот старик проснулся, просит обедать. Ленивица притащила ему кастрюлю как есть, даже скатертцы не подостлала. Мороз Иванович попробовал, поморщился, а песок так и захрустел у него на зубах.

— Хорошо ты готовишь,— заметил он, улы-

баясь.— Посмотрим, какова твоя другая работа будет.

Ленивица отведала, да тотчас и выплюнула, а старик покряхтел-покряхтел да и принялся сам готовить кушанье и сделал обед на славу, так что Ленивица пальчики облизала, кушая чужую стряпню.

После обеда старик опять лёг отдохнуть да припомнил Ленивице, что у него платье не починено да и бельё не выштопано.

Ленивица понадулась, а делать было нечего: принялась платье и бельё разбирать; да и тут беда: платье и бельё Ленивица нашивала, а как его шьют, о том и не спрашивала; взяла было иголку, да с непривычки укололась; так её и бросила. А старик опять будто бы ничего не заметил, ужинать Ленивицу позвал да ещё спать её уложил.

А Ленивице то и любо; думает себе:

«Авось и так пройдёт. Вольно было сестрице на себя труд принимать; старик добрый, он мне и так, задаром, пятачков подарит».

На третий день приходит Ленивица и просит Мороза Ивановича её домой отпустить да за работу наградить.

— Да какая же была твоя работа?— спросил старичок.— Уж коли на правду дело пошло, так ты мне должна заплатить, потому что не ты для меня работала, а я тебе служил.

— Да, как же!— отвечала Ленивица.— Я ведь у тебя целые три дня жила.

— Знаешь, голубушка,— отвечал старичок,— что я тебе скажу: жить и служить — разница, да и работа работе рознь; заметь это: вперёд пригодится. Но, впрочем, если тебя совесть не зазрит, я тебя награжу, и какова твоя работа, такова будет тебе и награда.

С этими словами Мороз Иванович дал Ленивице пребольшой серебряный слиток, а в другую руку — пребольшой бриллиант.

Ленивица так этому обрадовалась, что схватила то и другое и, даже не поблагодарив старика, домой побежала.

Пришла домой и хвастается.

— Вот,— говорит,— что я заработала; не сестре чета, не горсточку пятачков да не маленький бриллиантик, а целый слиток серебряный, вишь, какой тяжёлый, да и бриллиант-то чуть не с кулак... Уж на это можно к празднику обнову купить...

Не успела она договорить, как серебряный слиток растаял и полился на пол: он был не иное что, как ртуть, которая застыла от сильного холода; в то же время начал таять и бриллиант. А петух вскочил на забор и громко закричал:

Кукуреку, кукурекулька!
У Ленивицы в руках ледяная сосулька!

А вы, детушки, думайте, гадайте, что здесь правда, что неправда; что сказано впрямь, что стороною; что шутки ради, что в наставленье.

ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ

Папенька поставил на стол табакерку.

— Поди-ка сюда, Миша, посмотри-ка,— сказал он.

Миша был послушный мальчик: тотчас оставил игрушки и подошёл к папеньке. Да уж и было чего посмотреть! Какая прекрасная табакерка! пёстренькая, из черепахи. А что на крышке-то! Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвёртый — и счесть нельзя, и все мал мала меньше, и все золотые; а деревья-то также золотые, а листики на них серебряные; а за деревьями встаёт солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу.

— Что это за городок? — спросил Миша.

— Это городок Динь-Динь,— отвечал папенька и тронул пружинку...

И что же? Вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша не мог понять: он ходил и к дверям — не из другой ли комнаты? и к часам — не в часах ли? и к бюро, и к горке; прислушивался то в том, то в другом месте; смотрел и под стол... Наконец Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошёл к ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит, крадётся тихонько по небу, а небо и городок всё светлее и светлее; окошки горят ярким огнём, и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через

небо на другую сторону, всё ниже да ниже, и наконец за пригорком совсем скрылось; и городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли, только ненадолго. Вот затеплилась звёздочка, вот другая, вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городке стало опять светлее, окошки засеребрились, и от башенок потянулись синеватые лучи.

— Папенька! папенька! нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось!

— Мудрено, мой друг: этот городок тебе не по росту.

— Ничего, папенька, я такой маленький; только пустите меня туда: мне так бы хотелось узнать, что там делается...

— Право, мой друг, там и без тебя тесно.

— Да кто же там живёт?

— Кто там живёт? Там живут колокольчики.

С этими словами папенька поднял крышку на табакерке, и что же увидел Миша? И колокольчики, и молоточки, и валик, и колёса... Миша удивился.

— Зачем эти колокольчики? зачем молоточки? зачем валик с крючками?— спрашивал Миша у папеньки.

А папенька отвечал:

— Не скажу тебе, Миша; сам посмотри попристальнее да подумай: авось-либо отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, а иначе всё изломается.



Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел-сидел над нею, смотрел-смотрел, думал-думал, отчего звенят колокольчики?

Между тем музыка играет да играет; вот всё тише да тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит: внизу табакерки отворяется дверца, и из дверцы выбегает мальчик с золотою головкою и в стальной юбочке, останавливается на пороге и манит к себе Мишу.

«Да отчего же,— подумал Миша,— папень-

ка сказал, что в этом городке и без меня тесно? Нет, видно, в нём живут добрые люди, видите, зовут меня в гости».

— Извольте, с величайшею радостью!

С сими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, он почёл долгом прежде всего обратиться к своему провожатому.

— Позвольте узнать,— сказал Миша,— с кем я имею честь говорить?

— Динь-динь-динь,— отвечал незнакомец,— я мальчик-колокольчик, житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решились просить вас сделать нам честь к нам пожаловать. День-динь-динь, динь-динь-динь.

Миша учтиво поклонился; мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пёстрой тиснёной бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше; потом третий, ещё меньше; четвёртый, ещё меньше, и так все другие своды — чем дальше, тем меньше, так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого.

— Я вам очень благодарен за ваше приглашение,— сказал ему Миша,— но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, но там, дальше,

посмотрите, какие у вас низенькие своды,— там я, позвольте сказать откровенно, там я и ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите.

— Динь-динь-динь!— отвечал мальчик.— Пройдём, не беспокойтесь, ступайте только за мной.

Миша послушался. В самом деле, с каждым их шагом, казалось, своды подымались, и наши мальчики всюду свободно проходили; когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся, и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под который он подошёл, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто, пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлён.

— Отчего это?— спросил он своего проводника.

— Динь-динь-динь!— отвечал проводник, смеясь.— Издали всегда так кажется. Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели; вдали всё кажется маленьким, а подойдёшь — большое.

— Да, это правда,— отвечал Миша,— я до сих пор не думал об этом, и оттого вот что со мною случилось: третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепьяно, а папенька на другом конце комнаты читает книжку. Только этого мне никак не удавалось сделать: тружусь, тружусь, рисую как

можно вернее; а всё на бумаге у меня выйдет, что папенька возле маменьки сидит и кресло его возле фортепьяно стоит, а между тем я очень хорошо вижу, что фортепьяно стоит возле меня, у окошка, а папенька сидит на другом конце, у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надобно нарисовать маленьким, но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше её ростом; но теперь вижу, что она правду говорила: папеньку надобно было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке. Очень вам благодарен за объяснение, очень благодарен.

Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил:

— Динь-динь-динь, как смешно! Не уметь нарисовать папеньку с маменькой! Динь-динь-динь, динь-динь-динь!

Мише показалось досадно, что мальчик-колокольчик над ним так немилосердно насмехается, и он очень вежливо сказал ему:

— Позвольте мне спросить у вас: зачем вы к каждому слову всё говорите «динь-динь-динь»?

— Уж у нас поговорка такая,— отвечал мальчик-колокольчик.

— Поговорка?— заметил Миша.— А вот папенька говорит, что очень нехорошо привыкать к поговоркам.

Мальчик-колокольчик закусил губы и не сказал более ни слова.

Вот перед ними ещё дверцы; они отворились, и Миша очутился на улице. Что за улица! Что за городок! Мостовая вымощена перламутром; небо пёстренькое, черепаховое; по небу ходит золотое солнышко; поманишь его, оно с неба сойдёт, вкруг руки обойдёт и опять поднимается. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками, и под каждою крышкою сидит мальчик-колокольчик с золотою головкою, в серебяной юбочке, и много их, много, и все мал мала меньше.

— Нет, теперь уж меня не обманут,— сказал Миша.— Это так только мне кажется издали, а колокольчики-то все одинакие.

— Ан вот и неправда,— отвечал провожатый,— колокольчики не одинакие. Если бы все были одинакие, то и звенели бы мы все в один голос, один как другой; а ты слышишь, какие мы песни выводим. Это оттого, что кто из нас побольше, у того и голос потолще. Неужели ты и этого не знаешь? Вот видишь ли, Миша, это тебе урок: вперёд не смейся над теми, у которых поговорка дурная; иной и с поговоркою, а больше другого знает, и можно от него коечему научиться.

Миша в свою очередь закусил язычок.

Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье, звенели, прыгали, бегали.

— Весело вы живёте,— сказал им Миша,— век бы с вами остался. Целый день вы ничего

не делаете, у вас ни уроков, ни учителей, да ещё и музыка целый день.

— Динь-динь-динь!— закричали колокольчики.— Уж нашёл у нас веселье! Нет, Миша, плохое нам житьё. Правда, уроков у нас нет, да что же в том толку? Мы бы уроков не побоялися. Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела; нет у нас ни книжек, ни картинок; нет ни папеньки, ни маменьки; нечем заняться; целый день играй да играй, а ведь это, Миша, очень, очень скучно. Поверишь ли? Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко, и золотые деревья; но мы, бедные, мы насмотрелись на них вдоволь, и всё это очень нам надоело; из городка мы — ни пяди, а ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке, и даже в табакерке с музыкою.

— Да,— отвечал Миша,— вы говорите правду. Это и со мной случается: когда после ученья примешься за игрушки, то так весело; а когда в праздник целый день всё играешь да играешь, то к вечеру и сделается скучно; и за ту, и за другую игрушку примешься — всё не мило. Я долго не понимал, отчего это, а теперь понимаю.

— Да, сверх того, на нас есть другая беда, Миша: у нас есть дядьки.

— Какие же дядьки?— спросил Миша.

— Дядьки-молоточки,— отвечали колокольчики,— уж какие злые! То и дело что хо-

дят по городу да нас постукивают. Которые побольше, тем ещё реже «тук-тук» бывает, а уж маленьким куда больно достаётся.

В самом деле, Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках, с предлинными носами и шептали между собою: «тук-тук-тук! тук-тук-тук! поднимай! задевай! тук-тук-тук!» И в самом деле, дядьки-молоточки беспрестанно то по тому, то по другому колокольчику тук да тук, индо бедному Мише жалко стало. Он подошёл к этим господам, очень вежливо поклонился и с добродушием спросил, зачем они без всякого сожаления колотят бедных мальчиков. А молоточки ему в ответ:

— Прочь ступай, не мешай! Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит. Всё ворочается, прицепляется. Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!

— Какой это у вас надзиратель? — спросил Миша у колокольчиков.

— А это господин Валик, — зазвенели они, — предобрый человек, день и ночь с дивана не сходит; на него мы не можем пожаловаться.

Миша — к надзирателю. Смотрит: он в самом деле лежит на диване, в халате и с боку на бок переворачивается, только всё лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки видимо-невидимо; только что попадётся ему молоток, он его крючком сперва заце-



пит, потом спустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику.

Только что Миша к нему подошёл, как надзиратель закричал:

— Шуры-муры! кто здесь ходит? кто здесь бродит? Шуры-муры! кто прочь не идёт? кто мне спать не даёт? Шуры-муры! шуры-муры!

— Это я,— храбро отвечал Миша,— я — Миша...

— А что тебе надобно?— спросил надзиратель.

— Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков, они все такие умные, такие добрые, такие музыканты, а по вашему приказанию дядьки их беспрестанно постукивают...

— А мне какое дело, шуры-муры! Не я здесь набольший. Пусть себе дядьки стукают мальчиков! Мне что за дело! Я надзиратель добрый, всё на диване лежу и ни за кем не гляжу. Шуры-муры, шуры-муры...

«Ну, многому же я научился в этом городке!— сказал про себя Миша.— Вот ещё иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает. Экой злой!— думаю я.— Ведь он не папенька и не маменька; что ему за дело, что я шалю? Знал бы сидел в своей комнате. Нет, теперь вижу, что бывает с бедными мальчиками, когда за ними никто не смотрит».

Между тем Миша пошёл далее — и остановился. Смотрит, золотой шатёр с жемчуж-

ною бахромою; наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница, а под шатром лежит царевна-пружинка и, как змейка, то свернётся, то развернется и беспрестанно надзирателя под бок толкает. Миша этому очень удивился и сказал ей.:

— Сударыня-царевна! Зачем вы надзирателя под бок толкаете?

— Зиц-зиц-зиц,— отвечала царевна.— Глупый ты мальчик, неразумный мальчик. На всё смотришь, ничего не видишь! Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся; кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся, молоточки бы не стучали; кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели; кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было! Зиц-зиц-зиц.

Мише захотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал её пальчиком — и что же?

В одно мгновение пружинка с силою развилась, валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень, и вдруг пружинка лопнула. Всё умолкло, валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались... Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинку, испугался и... проснулся.

— Что во сне видел, Миша?— спросил папенька.

Миша долго не мог опамятоваться. Смотрит: та же папенькина комната, та же перед ним табакерка; возле него сидят папенька и маменька и смеются.

— Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна-пружинка?— спрашивал Миша.— Так это был сон?

— Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул. Расскажи же нам, по крайней мере, что тебе приснилось!

— Да, видите, папенька,— сказал Миша, протирая глазки,— мне всё хотелось узнать, отчего музыка в табакерке играет; вот я принялся на неё прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется и отчего движется; думал, думал и стал уже добираться, как вдруг, смотрю, дверка в табакерке растворилась...— Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку.

— Ну, теперь вижу,— сказал папенька,— что ты в самом деле почти понял, отчего музыка в табакерке играет; но ты это ещё лучше поймёшь, когда будешь учиться механике.

3 Зак. 301

А. Погорельский

Алексей Алексеевич Перовский (1787—1836) взял себе литературное имя — псевдоним — Антоний Погорельский по названию села Погорельцы, где он жил. Маленьким читателям Погорельский известен как автор сказки «Чёрная курица, или Подземные жители».

Всю жизнь Алексей Алексеевич о ком-нибудь заботился, его беспокоила судьба молодого Пушкина, для талантливого Карла Брюллова он превратил свою квартиру в мастерскую художника. Свои последние годы Погорельский посвятил воспитанию племянника. Дружба доброго и умного человека скрасила мальчику пребывание в пансионе, где он очень тосковал. Для племянника Погорельский и написал сказку о подземных жителях. Удивительно сочетаются в ней фантастические события и реальная жизнь. Сказочные события происходят в Подземном царстве с королями и министрами, а поведение главного героя сказки очень уж похоже на то, как ведут себя десятилетние мальчики, когда им трудно. Ну кому не хочется, чтобы уроки выучились сами собой, чтобы ты был самым умным и находчивым среди товарищей. Оказывается, без труда не выловишь и рыбку из пруда, а уважение товарищей надо заслужить. Но чтобы ещё и самому себя уважать, нужно уметь держать слово, особенно если от этого зависит жизнь твоих друзей. В 1829 году была написана эта сказка для мальчика Алеши (Алеша впоследствии стал известным поэтом и писателем Алексеем Константиновичем Толстым), а читают её до сих пор и учатся добру, справедливости и честности.

ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ

Лет сорок тому назад в С.-Петербурге [1], на Васильевском острову [2], в Первой линии [3], жил-был содержатель мужского пансиона [4], который ещё и до сих пор, вероятно, у многих остался в свежей памяти, хотя дом, где пансион тот помещался, давно уже уступил место другому, нисколько не похожему на прежний. В то время Петербург наш уже славился в целой Европе своею красотою, хотя и далеко ещё не был таким, каков теперь. Тогда на проспектах Васильевского острова не было весёлых тенистых аллей: деревянные подмостки, часто из гнилых досок сколоченные, заступали место нынешних прекрасных тротуаров. Исаакиевский мост, узкий в то время и неровный, совсем иной представлял вид, нежели как теперь; да и самая площадь Исаакиевская вовсе не такова была.

---

[1] С. Петербург (Санкт-Петербург) — старое название г. Ленинграда.

[2] На острову (*устар.*) — на острове; Васильевский остров — район в Петербурге.

[3] Линия — название каждой стороны улицы на Васильевском острове.

[4] Пансион — закрытое среднее учебное заведение, где воспитанники жили, учились и получали полное содержание.

Тогда монумент Петра Великого от Исаакиевской церкви отделён был канавою; Адмиралтейство [1] не было обсажено деревьями; манеж [2] Конногвардейский не украшал площади прекрасным нынешним фасадом [3] — одним словом, Петербург тогдашний не то был, что теперешний. Города перед людьми имеют, между прочим, то преимущество, что они иногда с летами становятся красивее... Впрочем, не о том теперь идёт дело. В другой раз и при другом случае я, может быть, поговорю с вами пространнее о переменах, происшедших в Петербурге в течение моего века,— теперь же обратимся опять к пансиону, который лет сорок тому назад находился на Васильевском острову, в Первой линии.

Дом, которого теперь — как уже вам сказывал — вы не найдёте, был о двух этажах, крытый голландскими черепицами. Крыльцо, по которому в него входили, было деревянное и выдавалось на улицу... Из сеней довольно крутая лестница вела в верхнее жильё, состоявшее из восьми или девяти комнат, в которых с одной стороны жил содержатель пансиона,

---

[1] Адмиралтейство — в царской России морское ведомство. Здание Главного Адмиралтейства было заложено в Петербурге в 1704 году.

[2] Манеж — здание, где обучали верховой езде и тренировали лошадей.

[3] Фасад — наружная, лицевая сторона здания.



а с другой были классы. Дортуары, или спальные комнаты детей, находились в нижнем этаже, по правую сторону сеней, а по левую жили две старушки, голландки, из которой каждой было более ста лет и которые собственными глазами видали Петра Великого и даже с ним разговаривали...

В числе тридцати или сорока детей, обучавшихся в том пансионе, находился один мальчик, по имени Алёша, которому тогда было не более девяти или десяти лет. Родители его, жившие далеко-далеко от Петербурга, года за два перед тем привезли его в столицу, отдали в пансион и возвратились домой, заплатив учителю условленную плату за несколько лет впе-

рёд. Алёша был мальчик умненький, миленький, учился хорошо, и все его любили и ласкали. Однако, несмотря на то, ему часто скучно бывало в пансионе, а иногда даже и грустно. Особливо сначала он никак не мог приучиться к мысли, что он разлучён с родными своими. Но потом мало-помалу он стал привыкать к своему положению, и бывали даже минуты, когда, играя с товарищами, он думал, что в пансионе гораздо веселее, нежели в родительском доме.

Вообще дни учения для него проходили скоро и приятно; но когда наставала суббота и все товарищи его спешили домой к родным, тогда Алёша горько чувствовал своё одиночество. По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и тогда единственным утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой своей библиотеки. Учитель был родом немец, а в то время в немецкой литературе господствовала мода на рыцарские романы и на волшебные повести,— и библиотека, которою пользовался наш Алёша, большею частию состояла из книг сего рода.

Итак, Алёша, будучи ещё в десятилетнем возрасте, знал уже наизусть деяния славнейших рыцарей, по крайней мере так, как они описаны в романах. Любимым его занятием в длинные зимние вечера, по воскресеньям и другим праздничным дням было мысленно переносить-

ся в старинные, давно прошедшие века... Особливо в вакантное время [1], когда он бывал разлучён надолго со своими товарищами, когда часто целые дни просиживал в уединении, юное воображение его бродило по рыцарским замкам, по страшным развалинам или тёмным, дремучим лесам.

Я забыл сказать вам, что к дому этому принадлежал довольно пространный двор, отделённый от переулка деревянным забором из барочных досок [2]. Ворота и калитка, кои вели в переулок, всегда были заперты, и потому Алёше никогда не удавалось побывать в этом переулке, который сильно возбуждал его любопытство. Всякий раз, когда позволяли ему в часы отдыха играть на дворе, первое движение его было — подбегать к забору. Тут он становился на цыпочки и пристально смотрел в круглые дырочки, которыми усеян был забор. Алёша не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, которыми прежде сколочены были барки, и ему казалось, что какая-нибудь добрая волшебница нарочно для него провертела эти дырочки. Он всё ожидал, что когда-нибудь эта волшебница явится в переулке и сквозь дыроч-

---

[1] Вакантный — незанятый, свободный; вакантное время, или вакации,— каникулы.

[2] Барочные доски — доски, из которых делают барки — деревянные баржи, несамоходные грузовые суда.

ку подаст ему игрушку, или **талисман**[1], или письмецо от папеньки или маменьки, от которых не получал он давно уже никакого известия. Но, к крайнему его сожалению, не являлся никто даже похожий на волшебницу.

Другое занятие Алёши состояло в том, чтобы кормить курочек, которые жили около забора в нарочно для них выстроенном домике и целый день играли и бегали на дворе. Алёша очень коротко с ними познакомился, всех знал по имени, разнимал их драки, а забияк наказывал тем, что иногда несколько дней сряду не давал им ничего от крошек, которые всегда после обеда и ужина он собирал со скатерти. Между курами он особенно любил одну чёрную хохлатку, названную Чернушкою. Чернушка была к нему ласковее других; она даже иногда позволяла себя гладить, и потому Алёша лучшие кусочки приносил ей. Она была нрава тихого; редко прохаживалась с другими и, казалось, любила Алёшу более, нежели подруг своих.

Однажды (это было во время зимних вакаций — день был прекрасный и необыкновенно тёплый, не более трёх или четырёх градусов морозу) Алёше позволили поиграть на дворе. В тот день учитель и жена его в больших были хлопотах. Они давали обед директору училищ, и ещё накануне, с утра до позднего вечера, вез-

---

[1] Талисман — предмет, который, по мнению суеверных людей, приносит счастье, удачу, хранит от бед.

де в доме мыли полы, вытирали пыль и вощили красного дерева столы и комоды. Сам учитель ездил закупать провизию для стола: белую архангельскую телятину, огромный окорок и киевское варенье [1]. Алёша тоже по мере сил способствовал приготовлениям: его заставили из белой бумаги вырезывать красивую сетку на окорок и украшать бумажною резьбою нарочно купленные шесть восковых свечей. В назначенный день рано поутру явился парикмахер и показал своё искусство над буклями [2], тупеем [3] и длинной косой учителя. Потом принялся за супругу его, напомадил и напудрил у ней локоны и шиньон и взгромоздил на её голове целую оранжерею разных цветов, между которыми блистали искусным образом помещённые два бриллиантовые перстня, когда-то подаренные её мужу родителями учеников. По окончании головного убора накинула она на себя старый, изношенный салоп [4] и отправилась хлопотать по хозяйству, наблюдая притом строго, чтоб как-нибудь не испортилась причёска; и для того сама она не входила в кухню, а давала приказания своей кухарке, стоя в дверях. В необходимых же случаях посылала туда му-

---

[1] Киевское варенье — плоды или ягоды, засушенные в сахаре.

[2] Букли *(устар.)* — локоны.

[3] Тупей — старинная причёска; взбитый хохол волос на голове.

[4] Салоп *(устар.)* — широкое женское пальто.

жа своего, у которого причёска не так была высока.

В продолжение всех этих забот Алёшу нашего совсем забыли, и он тем воспользовался, чтоб на просторе играть на дворе. По обыкновению своему, он подошёл сначала к дощатому забору и долго смотрел в дырочку; но и в этот день никто почти не проходил по переулку, и он со вздохом обратился к любезным своим курочкам. Не успел он присесть на бревно и только что начал манить их к себе, как вдруг увидел подле себя кухарку с большим ножом. Алёше никогда не нравилась эта кухарка — сердитая и бранчливая. Но с тех пор, как он заметил, что она-то и была причиною, что от времени до времени уменьшалось число его курочек, он ещё менее стал её любить. Когда же однажды нечаянно увидел он в кухне одного хорошенького, очень любимого им петушка, повешенного за ноги с перерезанным горлом, то возымел он к ней ужас и отвращение. Увидев её теперь с ножом, он тотчас догадался, что это значит, и, чувствуя с горестию, что он не в силах помочь своим друзьям, вскочил и побежал далеко прочь.

— Алёша, Алёша! Помоги мне поймать курицу!— кричала кухарка.

Но Алёша принялся бежать ещё пуще, спрятался у забора за курятником и сам не замечал, как слёзки одна за другою выкатывались из его глаз и упадали на землю.

Довольно долго стоял он у курятника, и сердце в нем сильно билось, между тем как кухарка бегала по двору — то манила курочек: «Цып, цып, цып!», то бранила их.

Вдруг сердце у Алёши ещё сильнее забилось: ему послышался голос любимой его Чернушки! Она кудахтала самым отчаянным образом, и ему показалось, что она кричит:

Кудах, кудах, кудуху!
Алёша, спаси Чернуху!
Кудуху, кудуху,
Чернуху, Чернуху!

Алёша никак не мог долее оставаться на своём месте. Он, громко всхлипывая, побежал к кухарке и бросился к ней на шею в ту самую минуту, как она поймала уже Чернушку за крыло.

— Любезная, милая Тринушка!— вскричал он, обливаясь слезами.— Пожалуйста, не тронь мою Чернуху!

Алёша так неожиданно бросился на шею к кухарке, что она упустила из рук Чернушку, которая, воспользовавшись этим, от страха взлетела на кровлю сарая и там продолжала кудахтать.

Но Алёше теперь слышалось, будто она дразнит кухарку и кричит:

Кудах, кудах, кудуху!
Не поймала ты Чернуху!
Кудуху, кудуху,
Чернуху, Чернуху!



Между тем кухарка вне себя была от досады и хотела бежать к учителю, но Алёша не допустил её. Он прицепился к полам её платья и так умильно стал просить, что она остановилась.

— Душенька, Тринушка! — говорил он. — Ты такая хорошенькая, чистенькая, добренькая... Пожалуйста, оставь мою Чернушку! Вот посмотри, что я тебе подарю, если ты будешь добра!

Алёша вынул из кармана империал [1], составлявший всё его имение [2], который берёг он пуще глаза своего, потому что это был подарок доброй его бабушки... Кухарка взглянула на золотую монету, окинула взором окошки дома, чтоб удостовериться, что никто их не видит, и протянула руку за империалом. Алёше очень, очень жаль было империала, но он вспомнил о Чернушке — и с твёрдостью отдал драгоценный подарок.

Таким образом Чернушка спасена была от жестокой и неминуемой смерти.

Лишь только кухарка удалилась в дом, Чернушка слетела с кровли и подбежала к Алёше. Она как будто знала, что он её избавитель: кружилась около него, хлопала крыльями и кудахтала весёлым голосом. Всё утро она ходила за ним по двору, как собачка, и казалось, будто

[1] Империал — русская золотая монета (10 рублей).

[2] Имение *(устар.)* — имущество, собственность, здесь: состояние, сбережение.

хочет что-то сказать ему, да не может. По крайней мере, он никак не мог разобрать её кудахтанья. Часа за два перед обедом начали собираться гости. Алёшу позвали наверх, надели на него рубашку с круглым воротником и батистовыми манжетами с мелкими складками, белые шароварцы и широкий шёлковый голубой кушак. Длинные русые волосы хорошенько расчесали, разделили на две ровные части и переложили наперёд по обе стороны груди.

Так наряжали тогда детей. Потом научили, каким образом он должен шаркнуть ногой, когда войдёт в комнату директор, и что должен отвечать, если будут сделаны ему какие-нибудь вопросы.

В другое время Алёша был бы очень рад приезду директора, которого давно хотелось ему видеть, потому что, судя по почтению, с каким отзывались о нём учитель и учительша, он воображал, что это должен быть какой-нибудь знаменитый рыцарь в блестящих латах и в шлеме с большими перьями. Но на этот раз любопытство это уступило место мысли, исключительно тогда его занимавшей: о чёрной курице. Ему всё представлялось, как кухарка за нею бегала с ножом и как Чернушка кудахтала разными голосами. Притом ему очень досадно было, что не мог он разобрать, что она ему сказать хотела, и его так и тянуло к курятнику... Но делать было нечего: надлежало дожидаться, пока кончится обед!

Наконец приехал директор. Приезд его возвестила учительша, давно уже сидевшая у окна, пристально смотря в ту сторону, откуда его ждали.

Всё пришло в движение: учитель стремглав бросился из дверей, чтоб встретить его внизу, у крыльца; гости встали с мест своих, и даже Алёша на минуту забыл о своей курочке и подошёл к окну, чтоб посмотреть, как рыцарь будет слезать с ретивого коня. Но ему не удалось увидеть его, ибо он успел уже войти в дом. У крыльца же вместо ретивого коня стояли обыкновенные извозчичьи сани. Алёша очень этому удивился! «Если бы я был рыцарь,— подумал он,— то никогда бы не ездил на извозчике, а всегда верхом!»

Между тем отворили настежь все двери, и учительша начала приседать [1] в ожидании столь почтенного гостя, который вскоре потом показался. Сперва нельзя было видеть его за толстою учительшею, стоявшею в самых дверях; но, когда она, окончив длинное приветствие своё, присела ниже обыкновенного, Алёша, к крайнему удивлению, из-за неё увидел... не шлем пернатый, но просто маленькую лысую головку, набело распудренную, единственным украшением которой, как после заметил Алёша, был маленький пучок! Когда вошёл он в гостиную,

[1] Начала приседать — в старое время, здороваясь и прощаясь, женщины делали реверанс — почтительный поклон с приседанием.

Алёша ещё более удивился, увидев, что, несмотря на простой серый фрак [1], бывший на директоре вместо блестящих лат, все обращались с ним необыкновенно почтительно.

Сколь, однако ж, ни казалось всё это странным Алёше, сколь в другое время он бы ни был обрадован необыкновенным убранством стола, но в этот день он не обращал большого на то внимания. У него в головке всё бродило утреннее происшествие с Чернушкою. Подали десерт: разного рода варенья, яблоки, бергамоты [2], финики, винные ягоды и грецкие орехи, но и тут он ни на одно мгновение не переставал помышлять о своей курочке. И только что встали из-за стола, как он с трепещущим от страха и надежды сердцем подошёл к учителю и спросил, можно ли идти поиграть на дворе.

— Подите,— отвечал учитель,— только не долго там будьте: уж скоро сделается темно.

Алёша поспешно надел свою красную бекешу [3] на беличьем меху и зелёную бархатную шапочку с собольим околышком и побежал к забору. Когда он туда прибыл, курочки начали уже собираться на ночлег и, сонные, не очень обрадовались принесённым крошкам. Одна Чер-

---

[1] **Фрак** — мужской парадный вечерний костюм особого покроя — короткий спереди, с длинными узкими полосами (фалдами) сзади.

[2] **Бергамоты** — сорт сочных сладких груш.

[3] **Бекеша** — тёплое пальто в талию со сборками.

нушка, казалось, не чувствовала охоты ко сну: она весело к нему подбежала, захлопала крыльями и опять начала кудахтать. Алёша долго с нею играл; наконец, когда сделалось темно и настала пора идти домой, он сам затворил курятник, удостоверившись наперёд, что любезная его курочка уселась на шесте. Когда он выходил из курятника, ему показалось, что глаза у Чернушки светятся в темноте, как звёздочки, и что она тихонько ему говорит:

— Алёша, Алёша! Останься со мною!

Алёша возвратился в дом и весь вечер просидел один в классных комнатах, между тем как на другой половине часу до одиннадцатого пробыли гости. Прежде, нежели они разъехались, Алёша пошёл в нижний этаж, в спальню, разделся, лёг в постель и потушил огонь. Долго не мог он заснуть. Наконец сон его преодолел, и он только что успел во сне разговориться с Чернушкою, как, к сожалению, пробуждён был шумом разъезжающихся гостей.

Немного погодя учитель, провожавший директора со свечкою, вошёл к нему в комнату, посмотрел, всё ли в порядке, и вышел вон, замкнув дверь ключом.

Ночь была месячная, и сквозь ставни, неплотно затворявшиеся, упадал в комнату бледный луч луны. Алёша лежал с открытыми глазами и долго слушал, как в верхнем жилье, над его головою, ходили по комнатам и приводили в порядок стулья и столы.

Наконец всё утихло... Он взглянул на стоявшую подле него кровать, немного освещённую месячным сиянием, и заметил, что белая простыня, висящая почти до полу, легко шевелилась. Он пристальнее стал всматриваться... ему послышалось, как будто что-то под кроватью царапается,— и немного погодя показалось, что кто-то тихим голосом зовёт его:

— Алёша, Алёша!

Алёша испугался... Он один был в комнате, и ему тотчас пришло на мысль, что под кроватью должен быть вор. Но потом, рассудив, что вор не называл бы его по имени, он несколько ободрился, хотя сердце в нём дрожало. Он немного приподнялся в постели и ещё яснее увидел, что простыня шевелится... ещё внятнее услышал, что кто-то говорит:

— Алёша, Алёша!

Вдруг белая простыня приподнялась, и из-под неё вышла... чёрная курица!

— Ах! это ты, Чернушка!— невольно вскричал Алёша.— Как ты зашла сюда?

Чернушка захлопала крыльями, взлетела к нему на кровать и сказала человеческим голосом:

— Это я, Алёша! Ты не боишься меня, не правда ли?

— Зачем я тебя буду бояться?— отвечал он.— Я тебя люблю; только для меня странно, что ты так хорошо говоришь: я совсем не знал, что ты говорить умеешь!

— Если ты меня не боишься,— продолжала курица,— так поди за мною. Одевайся скорее!

— Какая ты, Чернушка, смешная!— сказал Алёша.— Как мне можно одеться в темноте? Я платья своего теперь не сыщу; я и тебя насилу вижу!

— Постараюсь этому помочь,— сказала курочка.

Тут она закудахтала странным голосом, и вдруг откуда ни взялись маленькие свечки в серебряных шандалах[1], не больше как с Алёшин маленький пальчик. Шандалы эти очутились на полу, на стульях, на окнах, даже на рукомойнике, и в комнате сделалось так светло, так светло, как будто днём. Алёша начал одеваться, а курочка подавала ему платье, и таким образом он вскоре совсем был одет.

Когда Алёша был готов, Чернушка опять закудахтала, и все свечки исчезли.

— Иди за мною!— сказала она ему.

И он смело последовал за нею. Из глаз её выходили как будто лучи, которые освещали всё вокруг них, хотя не так ярко, как маленькие свечки. Они прошли через переднюю...

— Дверь заперта ключом,— сказал Алёша.

Но курочка ему не отвечала: она хлопнула крыльями, и дверь сама собою отворилась... Потом, пройдя через сени, обратились они к

[1] Шандал — подсвечник.

комнатам, где жили столетние старушки голландки. Алёша никогда у них не бывал, но слыхал, что комнаты у них убраны по-старинному, что у одной из них большой серый попугай, а у другой серая кошка, очень умная, которая умеет прыгать через обруч и подавать лапку. Ему давно хотелось всё это видеть, и потому он очень обрадовался, когда курочка опять хлопнула крыльями и дверь в покои старушек отворилась.

Алёша в первой комнате увидел всякого рода старинную мебель: резные стулья, кресла, столы и комоды. Большая лежанка была из голландских изразцов, на которых нарисованы были синей муравой [1] люди и звери. Алёша хотел было остановиться, чтоб рассмотреть мебель, а особливо фигуры на лежанке, но Чернушка ему не позволила.

Они вошли во вторую комнату — и тут-то Алёша обрадовался! В прекрасной золотой клетке сидел большой серый попугай с красным хвостом. Алёша тотчас хотел подбежать к нему. Чернушка опять его не допустила.

— Не трогай здесь ничего,— сказала она.— Берегись разбудить старушек!

Тут только Алёша заметил, что подле попугая стояла кровать с белыми кисейными зана-

---

[1] Мурава — тонкий слой жидкого цветного стекла (глазурь), которым покрывают изразцы (глиняные плитки) и глиняную посуду.

весками, сквозь которые он мог различить старушку, лежащую с закрытыми глазами: она показалась ему как будто восковая. В другом углу стояла такая же точно кровать, где спала другая старушка, а подле неё сидела серая кошка и умывалась передними лапами. Проходя мимо неё, Алёша не мог утерпеть, чтоб не попросить у ней лапки... Вдруг она громко замяукала, попугай нахохлился и начал громко кричать: «Дуррак! дуррак!» В то самое время видно было сквозь кисейные занавески, что старушки приподнялись с постели. Чернушка поспешно удалилась, Алёша побежал за нею, дверь вслед за ними сильно захлопнулась... и ещё долго слышно было, как попугай кричал: «Дуррак! дуррак!»

— Как тебе не стыдно!— сказала Чернушка, когда они удалились от комнат старушек.— Ты, верно, разбудил рыцарей...

— Каких рыцарей?— спросил Алёша.

— Ты увидишь,— отвечала курочка.— Не бойся, однако ж, ничего, иди за мною смело.

Они спустились вниз по лестнице, как будто в погреб, и долго-долго шли по разным переходам и коридорам, которых прежде Алёша никогда не видывал. Иногда коридоры эти так были низки и узки, что Алёша принуждён был нагибаться. Вдруг вошли они в залу, освещённую тремя большими хрустальными люстрами. Зала была без окошек, и по обеим сторонам висели на стенах рыцари в блестящих латах,

с большими перьями на шлемах, с копьями и щитами в железных руках.

Чернушка шла вперёд на цыпочках и Алёше велела следовать за собою тихонько-тихонько.

В конце залы была большая дверь из светлой жёлтой меди. Лишь только они подошли к ней, как соскочили со стен два рыцаря, ударили копьями об щиты и бросились на чёрную курицу.

Чернушка подняла хохол, распустила крылья... вдруг сделалась большая-большая, выше рыцарей, и начала с ними сражаться!

Рыцари сильно на неё наступали, а она защищалась крыльями и носом. Алёше сделалось страшно, сердце в нём сильно затрепетало, и он упал в обморок.

Когда пришёл он опять в себя, солнце сквозь ставни освещало комнату, и он лежал в своей постели: не видно было ни Чернушки, ни рыцарей. Алёша долго не мог опомниться. Он не понимал, что с ним было ночью: во сне ли он всё то видел или в самом деле это происходило? Он оделся и пошёл наверх, но у него не выходило из головы виденное им в прошлую ночь. С нетерпением ожидал он минуты, когда можно ему будет идти играть на двор, но весь тот день, как нарочно, шёл сильный снег, и нельзя было и подумать, чтоб выйти из дому.

За обедом учительша между прочими разговорами объявила мужу, что чёрная курица непонятно куда спряталась.

Впрочем,— прибавила она,— беда невелика, если бы она и пропала: она давно назначена была на кухню. Вообрази себе, душенька, что с тех пор, как она у нас в доме, она не снесла ни одного яичка.

Алёша чуть-чуть не заплакал, хотя и пришло ему на мысль, что лучше, чтоб её нигде не находили, нежели чтоб попала она на кухню.

После обеда Алёша остался опять один в классных комнатах. Он беспрестанно думал о том, что происходило в прошедшую ночь, и не мог никак утешиться в потере любезной Чернушки. Иногда ему казалось, что он непременно должен её увидеть в следующую ночь, несмотря на то, что она пропала из курятника. Но потом ему казалось, что это дело несбыточное, и он опять погружался в печаль.

Настало время ложиться спать, и Алёша с нетерпением разделся и лёг в постель. Не успел он взглянуть на соседнюю кровать, опять освещённую тихим лунным сиянием, как зашевелилась белая простыня — точно так, как накануне... Опять послышался ему голос, его зовущий: «Алёша, Алёша!»— и немного погодя вышла из-под кровати Чернушка и взлетела к нему на постель.

— Ах! здравствуй, Чернушка!— вскричал он вне себя от радости.— Я боялся, что никогда тебя не увижу. Здорова ли ты?

— Здорова,— отвечала курочка,— но чуть было не занемогла по твоей милости.

— Как это, Чернушка?— спросил Алёша, испугавшись,

— Ты добрый мальчик,— продолжала курочка,— но притом ты ветрен и никогда не слушаешься с первого слова, а это нехорошо! Вчера я говорила тебе, чтоб ты ничего не трогал в комнатах старушек,— несмотря на то, ты не мог утерпеть, чтоб не попросить у кошки лапку. Кошка разбудила попугая, попугай старушек, старушки рыцарей — и я насилу с ними сладила!

— Виноват, любезная Чернушка, вперёд не буду! Пожалуйста, поведи меня сегодня опять туда. Ты увидишь, что я буду послушен.

— Хорошо,— сказала курочка,— увидим!

Курочка закудахтала, как накануне, и те же маленькие свечки явились в тех же серебряных шандалах. Алёша опять оделся и пошёл за курицею. Опять вошли они в покои старушек, но в этот раз он уж ни до чего не дотрагивался.

Когда они проходили через первую комнату, то ему показалось, что люди и звери, нарисованные на лежанке, делают разные смешные гримасы и манят его к себе, но он нарочно от них отвернулся. Во второй комнате старушки голландки, так же как накануне, лежали в постелях, будто восковые. Попугай смотрел на Алёшу и хлопал глазами, серая кошка опять умывалась лапками. На убранном столе перед зеркалом Алёша увидел две фарфоровые ки-

тайские куклы, которых вчера он не заметил. Они кивали ему головою; но он помнил приказание Чернушки и прошёл не останавливаясь, однако не мог утерпеть, чтоб мимоходом им не поклониться. Куколки тотчас соскочили со стола и побежали за ним, всё кивая головою. Чуть-чуть он не остановился — такими они показались ему забавными; но Чернушка оглянулась на него с сердитым видом, и он опомнился. Куколки проводили их до дверей и, видя, что Алёша на них не смотрит, возвратились на свои места.

Опять спустились они с лестницы, ходили по переходам и коридорам и пришли в ту же залу, освещенную тремя хрустальными люстрами. Те же рыцари висели на стенах, и опять — когда приблизились они к двери из жёлтой меди — два рыцаря сошли со стены и заступили им дорогу. Казалось, однако, что они не так сердиты были, как накануне; они едва тащили ноги, как осенние мухи, и видно было, что они чрез силу держали свои копья...

Чернушка сделалась большая и нахохлилась. Но только что ударила их крыльями, как они рассыпались на части, и Алёша увидел, что то были пустые латы! Медная дверь сама собою отворилась, и они пошли далее.

Немного погодя вошли они в другую залу, пространную, но невысокую, так что Алёша мог достать рукою до потолка. Зала эта освещена была такими же маленькими свечками,

какие он видел в своей комнате, но шандалы были не серебряные, а золотые.

Тут Чернушка оставила Алёшу.

— Побудь здесь немного,— сказала она ему,— я скоро приду назад. Сегодня был ты умён, хотя неосторожно поступил, поклонясь фарфоровым куклам. Если бы ты им не поклонился, то рыцари остались бы на стене. Впрочем, ты сегодня не разбудил старушек, и оттого рыцари не имели никакой силы.— После сего Чернушка вышла из залы.

Оставшись один, Алёша со вниманием стал рассматривать залу, которая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны из мрамора, какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в пансионе. Панели и двери были из чистого золота. В конце залы, под зелёным балдахином [1], на возвышенном месте, стояли кресла из золота. Алёша очень любовался этим убранством, но странным показалось ему, что всё было в самом маленьком виде, как будто для небольших кукол.

Между тем как он с любопытством всё рассматривал, отворилась боковая дверь, прежде им не замеченная, и вошло множество маленьких людей, ростом не более как с пол-аршина [2],

---

[1] Балдахин — навес на столбах (обычно матерчатый).

[2] Пол-аршина — аршин — устаревшая мера, длиною 71 см.

в нарядных разноцветных платьях. Вид их был важен: иные по одеянию казались военными, другие — гражданскими чиновниками. На всех были круглые с перьями шляпы наподобие испанских. Они не замечали Алёши, прохаживались чинно по комнатам и громко между собою говорили, но он не мог понять, что óни говорили.

Долго смотрел он на них молча и только что хотел подойти к одному из них с вопросом, как отворилась большая дверь в конце залы... Все замолкли, стали к стенам в два ряда и сняли шляпы.

В одно мгновение комната сделалась ещё светлее, все маленькие свечки ещё ярче загорелись, и Алёша увидел двадцать маленьких рыцарей в золотых латах, с пунцовыми на шлемах перьями, которые попарно входили тихим маршем. Потом в глубоком молчании стали они по обеим сторонам кресел. Немного погодя вошёл в залу человек с величественною осанкою, с венцом на голове, блестящими драгоценными камнями. На нём была светло-зелёная мантия [1], подбитая мышьим мехом, с длинным шлейфом [2], который несли двадцать маленьких пажей [3] в пунцовых [4] платьях.

[1] Мантия — длинная широкая одежда в виде плаща, ниспадающего до земли.

[2] Шлейф — длинный, волочащийся сзади подол женского платья.

[3] Паж — мальчик из дворян, находящийся на службе при знатной особе или короле.

[4] Пунцовый — ярко-красный.

Алёша тотчас догадался, что это должен быть король. Он низко ему поклонился. Король отвечал на поклон его весьма ласково и сел в золотые кресла. Потом что-то приказал одному из стоявших подле него рыцарей, который, подойдя к Алёше, объявил ему, чтоб он приблизился к креслам. Алёша повиновался.

— Мне давно было известно,— сказал король,— что ты добрый мальчик; но третьего дня ты оказал великую услугу моему народу и за то заслуживаешь награду. Мой главный министр донёс мне, что ты спас его от неизбежной и жестокой смерти.

— Когда?— спросил Алёша с удивлением.

— Третьего дня на дворе,— отвечал король.— Вот тот, который обязан тебе жизнью.

Алёша взглянул на того, на которого указывал король и тут только заметил, что между придворными стоял маленький человек, одетый весь в чёрное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху с зубчиками, надетая немного набок; а на шее белый платок, очень накрахмаленный, отчего казался он немного синеватым. Он умильно улыбался, глядя на Алёшу, которому лицо его показалось знакомым, хотя не мог он вспомнить, где его видал.

Сколь для Алёши ни было лестно, что приписывали ему такой благородный поступок, но он любил правду и потому, сделав низкий поклон, сказал:

— Господин король! Я не могу принять на свой счёт того, чего никогда не делал. Третьего дня я имел счастье избавить от смерти не вашего министра, а чёрную нашу курицу, которую не любила кухарка за то, что не снесла она ни одного яйца...

— Что ты говоришь?— прервал его с гневом король.— Мой министр — не курица, а заслуженный чиновник!

Тут подошёл министр ближе, и Алёша увидел, что в самом деле это была его любезная Чернушка. Он очень обрадовался и попросил у короля извинения, хотя никак не мог понять, что это значит.

— Скажи мне, чего ты желаешь?— продолжал король.— Если я в силах, то непременно исполню твоё требование.

— Говори смело, Алёша!— шепнул ему на ухо министр.

Алёша задумался и не знал, чего пожелать. Если б дали ему более времени, то он, может быть, и придумал бы что-нибудь хорошенькое; но так как ему казалось неучтивым заставить дожидаться короля, то он поспешил ответом.

— Я бы желал,— сказал он,— чтобы, не учившись, я всегда знал урок свой, какой мне ни задали.

— Не думал я, что ты такой ленивец,— отвечал король, покачав головою.— Но делать нечего: я должен исполнить своё обещание.

Он махнул рукою, и паж поднёс золотое

блюдо, на котором лежало одно конопляное семечко.

— Возьми это семечко,— сказал король.— Пока оно будет у тебя, ты всегда знать будешь урок свой, какой бы тебе ни задали, с тем, однако, условием, чтоб ты ни под каким предлогом никому не сказывал ни одного слова о том, что ты здесь видел или впредь увидишь. Малейшая нескромность лишит тебя навсегда наших милостей, а нам наделает множество хлопот и неприятностей.

Алёша взял конопляное зерно, завернул в бумажку и положил в карман, обещаясь быть молчаливым и скромным. Король после того встал с кресел и тем же порядком вышел из залы, приказав прежде министру угостить Алёшу как можно лучше.

Лишь только король удалился, как окружили Алёшу все придворные и начали его всячески ласкать, изъявляя признательность свою за то, что он спас министра. Они все предлагали ему свои услуги: одни спрашивали, не хочет ли он погулять в саду или посмотреть королевский зверинец; другие приглашали его на охоту. Алёша не знал, на что решиться. Наконец министр объявил, что сам будет показывать подземные редкости дорогому гостю.

Сначала повёл он его в сад. Дорожки усеяны были крупными разноцветными камешками, отражавшими свет от бесчисленных маленьких ламп, которыми увешаны были деревья.

Этот блеск чрезвычайно понравился Алёше.

— Камни эти,— сказал министр,— у вас называются драгоценными. Это всё брильянты, яхонты, изумруды и аметисты.

— Ах, когда бы у нас этим усыпаны были дорожки!— вскричал Алёша.

— Тогда и у вас бы они так же были малоценны, как здесь,— отвечал министр.

Деревья также показались Алёше отменно красивыми, хотя притом очень странными. Они были разного цвета: красные, зелёные, коричневые, белые, голубые и лиловые. Когда посмотрел он на них со вниманием, то увидел, что это не что иное, как разного рода мох, только выше и толще обыкновенного. Министр рассказал ему, что мох этот выписан королём за большие деньги из дальних стран и из самой глубины земного шара.

Из сада пошли они в зверинец. Там показали Алёше диких зверей, которые привязаны были на золотых цепях. Всматриваясь внимательнее, он, к удивлению своему, увидел, что дикие эти звери были не что иное, как большие крысы, кроты, хорьки и подобные им звери, живущие в земле и под полами. Ему это очень показалось смешно; но он из учтивости не сказал ни слова.

Возвратившись в комнаты после прогулки, Алёша в большой зале нашёл накрытый стол, на котором расставлены были разного рода конфеты, пироги, паштеты и фрукты. Блюда все были из чистого золота, а бутылки и стаканы

выточенные из цельных брильянтов, яхонтов и изумрудов.

— Кушай что угодно,— сказал министр,— с собою же брать ничего не позволяется.

Алёша в тот день очень хорошо поужинал, и потому ему вовсе не хотелось кушать.

— Вы обещались взять меня с собою на охоту,— сказал он.

— Очень хорошо,— отвечал министр.— Я думаю, что лошади уже осёдланы.

Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах палочки, у которых набалдашники были резной работы и представляли лошадиные головы. Министр с большою ловкостью вскочил на свою лошадь; Алёше подвели палку гораздо более других.

— Берегись,— сказал министр,— чтоб лошадь тебя не сбросила: она не из самых смирных.

Алёша внутренне смеялся этому, но когда он взял палку между ног, то увидел, что совет министра был небесполезен. Палка начала под ним увёртываться, как настоящая лошадь, и он насилу мог усидеть.

Между тем затрубили в рога, и охотники пустились скакать во всю прыть по разным переходам и коридорам. Долго они так скакали, и Алёша от них отставал, хотя с трудом мог сдерживать бешеную палку свою...

Вдруг из одного бокового коридора выскочило несколько крыс, таких больших, каких



Алёша никогда не видывал. Они хотели пробежать мимо, но когда министр приказал их окружить, то они остановились и начали защищаться храбро. Несмотря, однако, на то, они были побеждены мужеством и искусством охотников. Восемь крыс легли на месте, три обратились в бегство, а одну, довольно тяжело раненную, министр велел вылечить и отвести в зверинец.

По окончании охоты Алёша так устал, что глазки его невольно закрывались. При всём том ему хотелось обо многом поговорить с Чернушкою, и он попросил позволения возвратиться в залу, из которой они выехали на охоту. Министр на то согласился.

Большою рысью поехали они назад и по прибытии в залу отдали лошадей конюхам, раскланялись с придворными и охотниками и сели друг подле друга на принесённые им стулья.

— Скажи, пожалуйста,— начал Алёша,— зачем вы убили бедных крыс, которые вас не беспокоят и живут так далеко от вашего жилища?

— Если б мы их не истребляли,— сказал министр,— то они вскоре бы нас выгнали из комнат наших и истребили бы все наши съестные припасы. К тому же мышьи и крысьи меха у нас в высокой цене по причине их лёгкости и мягкости. Одним знатным особам дозволено их у нас употреблять.

— Да расскажи мне, пожалуйста, кто вы таковы?— продолжал Алёша.

— Неужели ты никогда не слыхал, что под землёю живёт народ наш?— отвечал министр.— Правда, не многим удаётся нас видеть, однако бывали примеры, особливо в старину, что мы выходили на свет и показывались людям. Теперь это редко случается, потому что люди сделались очень нескромны. А у нас существует закон, что если тот, кому мы показались, не сохранит этого в тайне, то мы принуждены бываем немедленно оставить местопребывание наше и идти далеко-далеко в другие страны. Ты легко представить себе можешь, что королю нашему невесело было бы оставить все здешние заведения и с целым народом переселиться в неизвестные земли. И потому убедительно тебя прошу быть как можно скромнее. В противном случае ты нас всех сделаешь несчастными, а особливо меня. Из благодарности я упросил короля призвать тебя сюда; но он никогда мне не простит, если по твоей нескромности мы принуждены будем оставить этот край...

— Я даю тебе честное слово, что никогда не буду ни с кем об вас говорить,— прервал его Алёша.— Я теперь вспомнил, что читал в одной книжке о гномах, которые живут под землёю. Пишут, что в некотором городе очень разбогател один сапожник в самое короткое время, так, что никто не понимал, откуда взялось его богатство.

Наконец как-то узнали, что он шил сапоги и башмаки на гномов, плативших ему за то очень дорого.

— Быть может, что это правда,— отвечал министр.

— Но,— сказал ему Алёша,— объясни мне, любезная Чернушка, отчего ты, будучи министром, являешься в свет в виде курицы и какую связь имеете вы со старушками голландками?

Чернушка, желая удовлетворить его любопытство, начала было рассказывать ему подробно о многом, но при самом начале её рассказа глаза Алёшины закрылись, и он крепко заснул. Проснувшись на другое утро, он лежал в своей постели.

Долго не мог он опомниться и не знал, что ему делать. Чернушка и министр, король и рыцари, голландки и крысы — всё это смешалось в его голове, и он насилу мысленно привёл в порядок всё, виденное им в прошлую ночь. Вспомнив, что король ему подарил конопляное семя, он поспешно бросился к своему платью и действительно нашёл в кармане бумажку, в которой завёрнуто было конопляное семечко. «Увидим,— подумал он,— сдержит ли слово своё король! Завтра начнутся классы, а я ещё не успел выучить всех своих уроков».

Исторический урок особенно его беспокоил: ему задано было выучить наизусть несколько страниц из всемирной истории, а он не знал ещё ни одного слова!

Настал понедельник, съехались пансионеры, и начались уроки. От десяти часов до двенадцати преподавал историю сам содержатель пансиона.

У Алёши сильно билось сердце... Пока дошла до него очередь, он несколько раз ощупывал лежащую в кармане бумажку с конопляным семечком... Наконец его вызвали. С трепетом подошёл он к учителю, открыл рот, сам ещё не зная, что сказать, и безошибочно, не останавливаясь, проговорил заданное. Учитель очень его хвалил; однако Алёша не принимал его хвалу с тем удовольствием, которое прежде чувствовал он в подобных случаях. Внутренний голос ему говорил, что он не заслуживает этой похвалы, потому что урок этот не стоил ему никакого труда.

В продолжение нескольких недель учителя не могли нахвалиться Алёшею. Все уроки без исключения знал он совершенно, все переводы с одного языка на другой были без ошибок, так что не могли надивиться чрезвычайным его успехам. Алёша внутренне стыдился этих похвал: ему совестно было, что ставили его в пример товарищам, тогда как он вовсе того не заслуживал.

В течение этого времени Чернушка к нему не являлась, несмотря на то, что Алёша, особливо в первые недели после получения конопляного семечка, не пропускал почти ни одного дня без того, чтобы её не звать, когда ложил-

ся спать. Сначала он очень о том горевал, но потом успокоился мыслью, что она, вероятно, занята важными делами по своему званию. Впоследствии же похвалы, которыми все его осыпали, так его заняли, что он довольно редко о ней вспоминал.

Между тем слух о необыкновенных его способностях разнёсся вскоре по целому Петербургу. Сам директор училища приезжал несколько раз в пансион и любовался Алёшею. Учитель носил его на руках, ибо через него пансион вошёл в славу. Со всех концов города съезжались родители и приставали к нему, чтоб он детей их принял к себе, в надежде, что и они такие же будут учёные, как Алёша.

Вскоре пансион так наполнился, что не было уже места для новых пансионеров, и учитель с учительшею начали помышлять о том, чтоб нанять дом гораздо просторнее того, в котором они жили.

Алёша, как сказал я уже выше, сначала стыдился похвал, чувствуя, что вовсе их не заслуживает, но мало-помалу он стал к ним привыкать, и наконец самолюбие его дошло до того, что он принимал, не краснея, похвалы, которыми его осыпали. Он много стал о себе думать, важничал перед другими мальчиками и вообразил, что он гораздо лучше и умнее всех их. Нрав Алёшин от этого совсем испортился: из доброго, милого и скромного мальчика он сделался гордым и непослушным. Совесть часто его в том

упрекала, и внутренний голос ему говорил: «Алёша, не гордись! Не приписывай самому себе того, что не тебе принадлежит; благодари судьбу за то, что она тебе доставила выгоды против других детей, но не думай, что ты лучше их. Если ты не исправишься, то никто тебя любить не будет, и тогда ты, при всей своей учёности, будешь самое несчастное дитя!»

Иногда он и принимал намерение исправиться; но, к несчастью, самолюбие так в нём было сильно, что заглушало голос совести, и он день ото дня становился хуже, и день ото дня товарищи менее его любили.

Притом Алеша сделался страшным шалуном. Не имея нужды твердить уроки, которые ему задавали, он в то время, когда другие дети готовились к классам, занимался шалостями, и эта праздность ещё более портила его нрав.

Наконец он так надоел всем дурным своим нравом, что учитель серьёзно начал думать о средствах к исправлению такого дурного мальчика и для того задавал ему уроки вдвое и втрое больше, нежели другим; но и это нисколько не помогало. Алёша вовсе не учился, а всё-таки знал урок с начала до конца, без малейшей ошибки.

Однажды учитель, не зная, что с ним делать, задал ему выучить наизусть страниц двадцать к другому утру и надеялся, что он, по крайней мере, в этот день будет смирнее.

Куда! Наш Алёша и не думал об уроке! В

этот день он нарочно шалил более обыкновенного, и учитель тщетно грозил ему наказанием, если на другое утро не будет он знать урока. Алёша внутренне смеялся этим угрозам, будучи уверен, что конопляное семечко поможет ему непременно.

На следующий день, в назначенный час, учитель взял в руки книжку, из которой задан был урок Алёши, подозвал его к себе и велел проговорить заданное. Все дети с любопытством обратили на Алёшу внимание, и сам учитель не знал, что подумать, когда Алёша, несмотря на то что вовсе накануне не твердил урока, смело встал со скамейки и подошёл к нему. Алёша нимало не сомневался в том, что и этот раз ему удастся показать свою необыкновенную способность; он раскрыл рот... и не мог выговорить ни слова!

— Что ж вы молчите?— сказал ему учитель.— Говорите урок.

Алёша покраснел, потом побледнел, опять покраснел, начал мять свои руки, слёзы у него от страха навернулись на глазах... всё тщетно! Он не мог выговорить ни одного слова, потому что, надеясь на конопляное семечко, он даже и не заглядывал в книгу.

— Что это значит, Алёша?— закричал учитель.— Почему вы не хотите говорить?

Алёша сам не знал, чему приписать такую странность, всунул руку в карман, чтоб ощупать семечко... Но как описать его отчаяние,

когда он его не нашёл! Слёзы градом полились из глаз его... он горько плакал и всё-таки не мог сказать ни слова.

Между тем учитель терял терпение. Привыкнув к тому, что Алёша всегда отвечал безошибочно и не запинаясь, ему казалось невозможным, чтоб он не знал по крайней мере начала урока, и потому приписывал молчание его упрямству.

— Подите в спальню,— сказал он,— и оставайтесь там, пока совершенно будете знать урок.

Алёшу отвели в нижний этаж, дали ему книгу и заперли дверь ключом.

Лишь только он остался один, как начал везде искать конопляное семечко. Он долго шарил у себя в карманах, ползал по полу, смотрел под кроватью, перебирал одеяло, подушки, простыню — всё напрасно! Нигде не было и следов любезного семечка! Он старался вспомнить, где он мог его потерять, и наконец уверился, что выронил его как-нибудь накануне, играя на дворе.

Но каким образом найти его? Он заперт был в комнате, а если б и позволили выйти на двор, так и это, вероятно, ни к чему бы не послужило, ибо он знал, что курочки лакомы на коноплю, и семечко его, верно, какая-нибудь из них успела склевать! Отчаявшись отыскать его, он вздумал призвать к себе на помощь Чернушку.

— Милая Чернушка!— говорил он.— Лю-

безный министр! Пожалуйста, явись мне и дай другое зёрнышко! Я, право, вперёд буду осторожнее...

Но никто не отвечал на его просьбы, и он наконец сел на стул и опять принялся горько плакать.

Между тем настала пора обедать; дверь отворилась, и вошёл учитель.

— Знаете ли вы теперь урок?— спросил он у Алёши.

Алёша, громко всхлипывая, принуждён был сказать, что не знает.

— Ну, так оставайтесь здесь, пока выучите!— сказал учитель, велел подать ему стакан воды и кусок ржаного хлеба и оставил его опять одного.

Алёша стал твердить наизусть, но ничего не входило ему в голову. Он давно отвык от занятий, да и как вытвердить двадцать печатных страниц! Сколько он ни трудился, сколько ни напрягал свою память, но, когда настал вечер, он не знал более двух или трёх страниц, да и то плохо.

Когда пришло время другим детям ложиться спать, все товарищи его разом нагрянули в комнату, и с ними пришёл опять учитель.

— Алёша! Знаете ли вы урок?— спросил он.

И бедный Алёша сквозь слёзы отвечал:

— Знаю только две страницы.

— Так, видно, и завтра придётся вам проси-

деть здесь на хлебе и на воде,— сказал учитель, пожелал другим детям покойного сна и удалился.

Алёша остался с товарищами. Тогда, когда он был добрым и скромным, все его любили, и если, бывало, подвергался он наказанию, то все о нём жалели, и это ему служило утешением. Но теперь никто не обращал на него внимания: все с презрением на него смотрели и не говорили с ним ни слова.

Он решился сам начать разговор с одним мальчиком, с которым в прежнее время был очень дружен, но тот от него отворотился не отвечая. Алёша обратился к другому, но и тот говорить с ним не хотел и даже оттолкнул его от себя, когда он опять с ним заговорил. Тут несчастный Алёша почувствовал, что он заслуживает такое с ним обхождение товарищей. Обливаясь слезами, лёг он в свою постель, но никак не мог заснуть. Долго лежал он таким образом и с горечью вспоминал о минувших счастливых днях. Все дети уже наслаждались сладким сном, один только он заснуть не мог. «И Чернушка меня оставила»,— подумал Алёша, и слёзы вновь полились у него из глаз.

Вдруг... простыня у соседней кровати зашевелилась, подобно как в первый тот день, когда к нему явилась чёрная курица. Сердце в нем стало биться сильнее... он желал, чтоб Чернушка вышла опять из-под кровати, но не смел надеяться, что желание его исполнится.

— Чернушка, Чернушка!— сказал он наконец вполголоса.

Простыня приподнялась, и к нему на постель взлетела чёрная курица.

— Ах, Чернушка!— сказал Алёша вне себя от радости.— Я не смел надеяться, что с тобою увижусь! Ты меня не забыла?

— Нет,— отвечала она,— я не могу забывать оказанной тобою услуги, хотя тот Алёша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на того, которого теперь перед собою вижу. Ты тогда был добрый мальчик, скромный и учтивый, и все тебя любили, а теперь... я не узнаю тебя!

Алёша горько заплакал, а Чернушка продолжала давать ему наставления. Долго она с ним разговаривала и со слезами упрашивала его исправиться. Наконец, когда уже начинал показываться дневной свет, курочка ему сказала:

— Теперь я должна тебя оставить, Алёша! Вот конопляное семечко, которое выронил ты на дворе. Напрасно ты думал, что потерял его невозвратно. Король наш слишком великодушен, чтоб лишить тебя этого дара за твою неосторожность. Помни, однако, что ты дал честное слово сохранять в тайне всё, что тебе о нас известно... Алёша, к теперешним худым свойствам твоим не прибавь ещё худшего — неблагодарности!

Алёша с восхищением взял любезное своё

семечко из лапок курицы и обещался употребить все силы свои, чтоб исправиться.

— Ты увидишь, милая Чернушка,— сказал он,— что я сегодня же совсем другой буду.

— Не полагай,— отвечала Чернушка,— что так легко исправиться от пороков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щёлочку, и потому если хочешь исправиться, то должен беспрестанно и строго смотреть за собою. Но прощай, пора нам расстаться!

Алёша, оставшись один, начал рассматривать своё семечко и не мог им налюбоваться. Теперь-то он совершенно спокоен был насчёт урока, и вчерашнее горе не оставило в нём никаких следов. Он с радостью думал о том, как будут все удивляться, когда он безошибочно проговорит двадцать страниц, и мысль, что он опять возьмёт верх над товарищами, которые не хотели с ним говорить, ласкала его самолюбие. Об исправлении самого себя он хотя и не забыл, но думал, что это не может быть так трудно, как говорила Чернушка. «Будто не от меня зависит исправиться!— мыслил он.— Стоит только захотеть, и все опять меня любить будут...»

Увы! Бедный Алёша не знал, что для исправления самого себя необходимо начать тем, чтоб откинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность.

Когда поутру собрались дети в классы, Алё-

шу позвали наверх. Он вошёл с весёлым и торжествующим видом.

— Знаете ли вы урок ваш?— спросил учитель, взглянув на него строго.

— Знаю,— отвечал Алёша смело.

Он начал говорить и проговорил все двадцать страниц без малейшей ошибки и остановки. Учитель был вне себя от удивления, а Алёша гордо посматривал на своих товарищей.

От глаз учителя не скрылся гордый вид Алёши.

— Вы знаете урок свой,— сказал он ему,— это правда, но зачем вы вчера не хотели его сказать?

— Вчера я не знал его,— отвечал Алёша.

— Быть не может!— прервал его учитель.— Вчера вверху вы мне сказали, что знаете только две страницы, да и то плохо, а теперь без ошибки проговорили все двадцать! Когда же вы его выучили?

Алёша замолчал. Наконец дрожащим голосом сказал он:

— Я выучил его сегодня поутру!

Но тут вдруг все дети, огорчённые его надменностью, закричали в один голос:

— Он неправду говорит, он и книги в руки не брал сегодня поутру!

Алёша вздрогнул, потупил глаза в землю и не сказал ни слова.

— Отвечайте же!— продолжал учитель.— Когда выучили вы урок?

Но Алёша не прерывал молчания: он так поражён был этим неожиданным вопросом и недоброжелательством, которое оказывали ему все его товарищи, что не мог опомниться.

Между тем учитель, полагая, что он накануне не хотел отвечать урока из упрямства, счёл за нужное строго наказать его.

— Чем более вы от природы имеете способности и дарований,— сказал он Алёше,— тем скромнее и послушнее вы должны быть. Не для того дан вам ум, чтоб вы во зло его употребляли. Вы заслуживаете наказания за вчерашнее упрямство, а сегодня вы ещё увеличили вину вашу тем, что солгали. Господа!— продолжал учитель, обратясь к пансионерам.— Запрещаю всем вам говорить с Алёшею до тех пор, пока он совершенно исправится. А так как, вероятно, для него это небольшое наказание, то велите подать розги [1].

Принесли розги... Алёша был в отчаянии! В первый ещё раз с тех пор, как существовал пансион, наказывали розгами, и кого же — Алёшу, который так много о себе думал, который считал себя лучше и умнее всех! Какой стыд!..

Он, рыдая, бросился к учителю и обещался совершенно исправиться.

---

[1] Розга — срезанная тонкая ветка; розги — наказание ударами таких веток.

— Надо было думать об этом прежде,— был ему ответ.

Слёзы и раскаяние Алёши тронули товарищей, и они начали просить за него. А Алёша, чувствуя, что не заслужил их сострадания, ещё горше стал плакать.

Наконец учитель сжалился.

— Хорошо!— сказал он.— Я прощу вас ради просьбы товарищей ваших, но с тем, чтобы вы пред всеми признались в вашей вине и объявили, когда вы выучили заданный урок.

Алёша совершенно потерял голову... он забыл обещание, данное подземному королю и его министру, и начал рассказывать о чёрной курице, о рыцарях, о маленьких людях...

Учитель не дал ему договорить...

— Как!— вскричал он с гневом.— Вместо того чтобы раскаяться в дурном поведении вашем, вы меня ещё вздумали дурачить, рассказывая сказку о чёрной курице?.. Этого слишком уже много. Нет, дети, вы видите сами, что его нельзя не наказать!

И бедного Алёшу высекли!

С поникшею головою, с растерзанным сердцем Алёша пошёл в нижний этаж, в спальные комнаты. Он был как убитый... Стыд и раскаяние наполняли его душу. Когда чрез несколько часов он немного успокоился и положил руку в карман... конопляного семечка в нём не было! Алёша горько заплакал, чувствуя, что потерял его невозвратно!

Ввечеру, когда другие дети пришли спать, он тоже лёг в постель; но заснуть никак не мог. Как раскаивался он в дурном поведении своём! Он решительно принял намерение исправиться, хотя чувствовал, что конопляное зёрнышко возвратить невозможно!

Около полуночи пошевелилась опять простыня у соседней кровати... Алёша, который накануне этому радовался, теперь закрыл глаза: он боялся увидеть Чернушку! Совесть его мучила. Он вспомнил, что ещё вчера так уверительно говорил Чернушке; что непременно исправится,— и вместо того... Что он ей теперь скажет? Несколько времени лежал он с закрытыми глазами. Ему слышался шорох от поднимающейся простыни... Кто-то подошёл к его кровати, и голос, знакомый голос, назвал его по имени:

— Алёша, Алёша!

Но он стыдился открыть глаза, а между тем слёзы из них катились и текли по его щекам... Вдруг кто-то дёрнул за одеяло. Алёша невольно взглянул: перед ним стояла Чернушка — не в виде курицы, а в чёрном платье, в малиновой шапочке с зубчиками и в белом накрахмаленном шейном платке, точно как он видел её в подземной зале.

— Алёша! — сказал министр.— Я вижу, что ты не спишь... Прощай! Я пришёл с тобою проститься, более мы не увидимся!..

Алёша громко зарыдал.

— Прощай! — воскликнул он.— Прощай! И,

если можешь, прости меня! Я знаю, что виноват перед тобою, но я жестоко за то наказан!

— Алёша! — сказал сквозь слёзы министр.— Я тебя прощаю; не могу забыть, что ты спас жизнь мою, и всё тебя люблю, хотя ты сделал меня несчастным, может быть, навеки!.. Прощай! Мне позволено видеться с тобою на самое короткое время. Ещё в течение нынешней ночи король с целым народом своим должен переселиться далеко-далеко от здешних мест! Все в отчаянии, все проливают слёзы. Мы несколько столетий жили здесь так счастливо, так покойно!..

Алёша бросился целовать маленькие ручки министра. Схватив его за руку, он увидел на ней что-то блестящее, и в то же самое время какой-то необыкновенный звук поразил его слух...

— Что это такое? — спросил он с изумлением.

Министр поднял обе руки кверху, и Алёша увидел, что они были скованы золотою цепью... Он ужаснулся!..

— Твоя нескромность причиною, что я осуждён носить эти цепи,— сказал министр с глубоким вздохом,— но не плачь, Алёша! Твои слёзы помочь мне не могут. Одним только ты можешь меня утешить в моём несчастии: старайся исправиться и будь опять таким же добрым мальчиком, как был прежде. Прощай

в последний раз! — Министр пожал Алёше руку и скрылся под соседнюю кровать.

— Чернушка, Чернушка! — кричал ему вслед Алёша, но Чернушка не отвечала.

Во всю ночь не мог он сомкнуть глаз ни на минуту. За час перед рассветом послышалось ему, что под полом что-то шумит. Он встал с постели, приложил к полу ухо и долго слышал стук маленьких колёс и шум, как будто внизу проходило множество маленьких людей. Между шумом этим слышен был также плач женщин и детей и голос министра Чернушки, который кричал ему:

— Прощай, Алёша! Прощай навеки!..

На другой день поутру дети, проснувшись, увидели Алёшу, лежащего на полу без памяти. Его подняли, положили в постель и послали за доктором, который объявил, что у него сильная горячка.

Недель через шесть Алёша выздоровел, и всё происходившее с ним перед болезнью казалось ему тяжёлым сном. Ни учитель, ни товарищи не напоминали ему ни слова ни о чёрной курице, ни о наказании, которому он подвергся. Алёша же сам стыдился об этом говорить и старался быть послушным, добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили и стали ласкать, и он сделался примером для своих товарищей, хотя уже и не мог выучить наизусть двадцать печатных страниц вдруг, которых, впрочем, ему и не задавали.

В. И. Даль

Мудрый и бережливый собиратель редких русских слов Владимир Иванович Даль (1801—1872) был по профессии врачом. Но изучение русского языка стало главным делом его жизни. Первое незнакомое слово он записал, когда ему было восемнадцать лет. В поисках новых слов он объездил всю Россию, был на Украине, в Прибалтике, Казахстане. Вместе с А. С. Пушкиным Владимир Иванович побывал в Оренбургском крае — изучал историю пугачёвской войны, записывал побывальщины тех времен. Всю жизнь Даль неутомимо собирал и записывал памятники народного творчества: песни, сказки, пословицы и поговорки. В результате этой большой работы появился новый «Толковый словарь», который был больше предыдущего в два раза: 60 тысяч слов собрал Даль во всех уголках нашей страны.

Даль очень много работал над книгами для народа, над детскими учебниками. Владимир Иванович умел «дельно, просто и незатейливо» рассказать о растениях и животных, о событиях русской истории, о быте людей разных сословий и народностей. Но встреча ребёнка с книгой, считал он, должна начинаться со знакомства с песнями и сказками родного народа.

До сих пор живут и будут жить долго «Толковый словарь» Даля и сказки, им собранные и обработанные.

МЕДВЕДЬ-ПОЛОВИНЩИК

Жил-был мужичок в крайней избе на селе, что стояла подле самого леса. А в лесу жил медведь и, что ни осень, заготовлял себе жильё, берлогу, и залегал в неё с осени на всю зиму; лежал да лапу сосал. Мужичок же весну, лето и осень работал, а зимой щи и кашу ел да квасом запивал.

Вот и позавидовал ему медведь; пришёл к нему и говорит:

— Соседушка, давай задружимся!

— Как с вашим братом дружиться: ты, Мишка, как раз искалечишь! — отвечал мужичок.

— Нет,— сказал медведь,— не искалечу. Слово моё крепко — ведь я не волк, не лиса: что сказал, то и сдержу! Давай-ка станем вместе работать!

— Ну ладно, давай! — сказал мужик.

Ударили по рукам.

Вот пришла весна, стал мужик соху да борону ладить, а медведь ему из лесу вязки выламывает да таскает. Справив дело, уставив соху, мужик и говорит:

— Ну, Мишенька, впрягайся, надо пашню подымать.

Медведь впрягся в соху, выехали в поле. Мужик, взявшись за рукоять, пошёл за сохой, а Мишка идёт впереди, соху на себе тащит.

Прошёл борозду, прошёл другую, прошёл третью, а на четвёртой говорит:

— Не полно ли пахать?

— Куда тебе,— отвечает мужик,— ещё надо дать концов десятка с два!

Измучился Мишка на работе. Как покончил, так тут же на пашне и растянулся.

Мужик стал обедать, накормил товарища да и говорит:

— Теперь, Мишенька, соснём, а отдохнувши, надо вдругорядь перепахать.

И в другой раз перепахали.

— Ладно,— говорит мужик,— завтра приходи, станем боронить и сеять репу. Только уговор лучше денег. Давай наперёд положим, коли пашня уродит, что кому брать: всё ли поровну, всё ли пополам или кому вершки, а кому корешки?

— Мне вершки,— сказал медведь.

— Ну ладно,— повторил мужик,— твои вершки, а мои корешки.

Как сказано, так сделано: пашню на другой день заборонили, посеяли репу и сызнова заборонили.

Пришла осень, настала пора репу собирать. Снарядились наши товарищи, пришли на поле, повытаскали, повыбрали репу: видимо-невидимо её.

Стал мужик Мишкину долю — ботву срезывать, вороха навалил с гору, а свою репу на возу домой свёз. И медведь пошёл ботву



в лес таскать, всю перетаскал к своей берлоге. Присел, попробовал, да, видно, не по вкусу пришлась!..

Пошёл к мужику, поглядел в окно; а мужичок напарил сладкой репы полон горшок, ест да причмокивает.

«Ладно,— подумал медведь,— вперёд умнее буду!»

Медведь пошёл в лес, залёг в берлогу, пососал-пососал лапу да с голодухи заснул и проспал всю зиму.

Пришла весна, поднялся медведь, худой, тощий, голодный, и пошёл опять набиваться к соседу в работники — пшеницу сеять.

Справили соху с бороной. Впрягся медведь и пошёл таскать соху по пашне! Умаялся, упарился и стал в тень.

Мужичок сам поел, медведя накормил, и легли оба соснуть. Выспавшись, мужик стал Мишку будить: пора-де вдругорядь перепахивать.

Нечего делать, принялся Мишка за дело! Как кончили пашню, медведь и говорит:

— Ну, мужичок, уговор лучше денег. Давай условимся теперь: на этот раз вершки твои, а корешки мои. Ладно, что ли?

— Ладно! — сказал мужик.— Твои корешки, мои вершки!

Ударили по рукам. На другой день пашню заборонили, посеяли пшеницу, прошли по ниве бороной и ещё раз тут же помянули, что теперь-де медведю корешки, а мужичку вершки.

Настала пора пшеницу убирать; мужик жнёт не покладаючи рук, сжал, обмолотил и на мельницу свёз. Принялся и Мишка за свой пай: надёргал соломы с корнями целые вороха и пошёл таскать в лес к своей берлоге. Всю солому переволок, сел на пенёк отдохнуть да своего труда отведать. Пожевал соломки — нехорошо! Пожевал корешков — не лучше того! Пошёл Мишка к мужику, заглянул в окно, а мужичок сидит за столом, пшеничные лепёшки ест, бражкой запивает да бороду утирает.

«Видно, уж моя такая доля,— подумал

медведь,— что из моей работы проку нет: возьму вершки — вершки не годятся; возьму корешки — корешки не едятся!»

Тут Мишка с горя залёг в берлогу и проспал всю зиму да уж с той поры не ходил к мужику в работу. Коли голодать, так лучше на боку лежать...

ЛИСА И МЕДВЕДЬ

Жила-была кума Лиса; надоело Лисе на старости самой о себе промышлять, вот и пришла она к Медведю и стала проситься в жилички:

— Впусти меня, Михайло Потапыч, я лиса старая, учёная, места займу немного, не объем, не обопью, разве только после тебя поживлюсь, косточки огложу.

Медведь, долго не думав, согласился. Перешла Лиса на житьё к Медведю и стала осматривать да обнюхивать, где что у него лежит; Мишенька жил с запасом, сам досыта наедался и Лисоньку хорошо кормил. Вот заприметила она в сенцах на полочке кадочку с мёдом, а Лиса, что Медведь, любит сладко поесть; лежит она ночью да и думает, как бы ей уйти да медку полизать; лежит, хвостиком постукивает да Медведя спрашивает:

— Мишенька, никак кто-то к нам стучится?

Прислушался Медведь.

— И то,— говорит,— стучат.

— Это, знать, за мной, за старой лекаркой пришли.

— Ну что ж,— сказал Медведь,— иди.

— Ох, куманёк, что-то не хочется вставать!

— Ну-ну, ступай,— понукал Мишка,— я и дверей за тобой не стану запирать.

Лиса заохала, слезла с печи, а как за дверь вышла, откуда и прыть взялась! Вскарабкалась на полку и ну починать кадочку; ела-ела, всю верхушку съела, досыта наелась; закрыла кадочку ветошкой, прикрыла кружком, заложила камешком, всё прибрала, как у Медведя было, и воротилась в избу как ни в чём не бывало.

Медведь её спрашивает:

— Что, кума, далеко ль ходила?

— Близёхонько, куманёк; звали соседки, ребёнок у них захворал.

— Что ж, полегчало?

— Полегчало.

— А как зовут ребёнка?

— Верхушечкой, куманёк.

— Не слыхал такого имени,— сказал Медведь.

— И-и, куманёк, мало ли чудных имён на свете живёт!

Медведь уснул, и Лиса уснула.



Понравился Лисе медок, вот и на другую ночку лежит, хвостом об лавку постукивает:

— Мишенька, никак опять кто-то к нам стучится?

Прислушался Медведь и говорит:

— И то, кума, стучат!

— Это, знать, за мной пришли!

— Ну что же, кумушка, иди,— сказал Медведь.

— Ох, куманёк, что-то не хочется вставать, старые косточки ломать!

— Ну-ну, ступай,— понукал Медведь,— я и дверей за тобой не стану запирать.

Лиса заохала, слезла с печи, поплелась к дверям, а как за дверь вышла, откуда и прыть взялась! Вскарабкалась на полку, добралась до мёду, ела-ела, всю серёдку съела; наевшись досыта, закрыла кадочку тряпочкой, прикрыла кружком, заложила камешком, всё как надо убрала и вернулась в избу.

А Медведь её спрашивает:

— Далеко ль, кума, ходила?

— Близёхонько, куманёк. Соседи звали, у них ребёнок захворал.

— Что ж, полегчало?

— Полегчало.

— А как зовут ребёнка?

— Серёдочкой, куманёк.

— Не слыхал такого имени,— сказал Медведь.

— И-и, куманёк, мало ли чудных имён на свете живёт! — отвечала Лиса.

С тем оба и заснули.

Понравился Лисе медок: вот и на третью ночь лежит, хвостиком постукивает да сама Медведя спрашивает:

— Мишенька, никак опять к нам кто-то стучится?

Послушал Медведь и говорит:

— И то, кума, стучат.

— Это, знать, за мной пришли.

— Что же, кума, иди, коли зовут,— сказал Медведь.

— Ох, куманёк, что-то не хочется вставать, старые косточки ломать! Сам видишь: ни одной ночки соснуть не дают!

— Ну-ну, вставай,— понукал Медведь,— я и дверей за тобой не стану запирать.

Лиса заохала, закряхтела, слезла с печи и поплелась к дверям, а как за дверь вышла, откуда и прыть взялась! Вскарабкалась на полку и принялась за кадочку; ела-ела, все последки съела; наевшись досыта, закрыла кадочку тряпочкой, прикрыла кружком, пригнела камешком и всё, как надо быть, убрала. Вернувшись в избу, она залезла на печь и свернулась калачиком.

А Медведь стал Лису спрашивать:

— Далеко ль, кума, ходила?

— Близёхонько, куманёк. Звали соседи ребёнка полечить.

— Что ж, полегчало?

— Полегчало.

— А как зовут ребёнка?

— Последышком, куманёк. Последышком, Потапович!

— Не слыхал такого имени,— сказал Медведь.

— И-и, куманёк, мало ли чудных имён на свете живёт!

Медведь заснул, и Лиса уснула.

Вдолге ли, вкоротке ли, захотелось опять Лисе мёду — ведь Лиса сластёна,— вот и прикинулась она больной: кахи да кахи, покою не даёт Медведю, всю ночь прокашляла.

— Кумушка,— говорит Мишка,— хоть бы чем ни на есть полечилась.

— Ох, куманёк, есть у меня снадобьице, только бы медку в него подбавить, и всё как есть рукой сымет.

Встал Мишка с полатей и вышел в сени, снял кадку — ан кадка пуста!

— Куда девался мёд? — заревел Медведь.— Кума, это твоих рук дело?

Лиса так закашлялась, что и ответа не дала.

— Кума, кто съел мёд?

— Какой мёд?

— Да мой, что в кадочке был!

— Коли твой был, так, значит, ты и съел,— отвечала Лиса.

— Нет,— сказал Медведь,— я его не ел, всё про случай берёг; это, знать, ты, кума, сшалила?

— Ах ты, обидчик этакий! Зазвал меня, бедную сироту, к себе да и хочешь со свету сжить! Нет, друг, не на такую напал! Я, Лиса, мигом виноватого узнаю, разведаю, кто мёд съел.

Вот Медведь обрадовался и говорит:

— Пожалуйста, кумушка, разведай!

— Ну что ж, ляжем против солнца — у кого мёд из живота вытопится, тот его и съел.

Вот легли, солнышко их пригрело. Медведь захрапел, а Лисонька — скорее домой; соскребла последний медок из кадки, вымазала им Медведя, а сама, умыв лапки, ну Мишеньку будить.

— Вставай, вора нашла! Я вора нашла! — кричит в ухо Медведю Лиса.

— Где? — заревел Мишка.

— Да вот где,— сказала Лиса и показала Мишке, что у него всё брюхо в меду.

Мишка сел, протёр глаза, провёл лапой по животу — лапа так и льнёт, а Лиса его корит:

— Вот видишь, Михайло Потапович, солнышко-то мёд из тебя вытопило! Вперёд, куманёк, своей вины на другого не сваливай!

Сказав это, Лиска махнула хвостом, только Медведь и видел её.

ЛИСА-ЛАПОТНИЦА

Зимней ночью шла голодная кума по дорожке; на небе тучи нависли, по полю снежком порошит.

«Хоть бы на один зуб чего перекусить»,— думает лисонька. Вот идёт она путём-дорогой; лежит ошмёток. «Что же,— думает лиса,— ину пору и лапоток пригодится». Взяла лапоть в зубы и пошла далее. Приходит в деревню и у первой избы постучалась.

— Кто там? — спросил мужик, открывая оконце.

— Это я, добрый человек, лисичка-сестричка. Пусти переночевать!

— У нас и без тебя тесно! — сказал старик и хотел было задвинуть окошечко.

— Что мне, много ли надо? — просилась лиса.— Сама лягу на лавку, а хвостик под лавку — и вся тут.

Сжалился старик, пустил лису, а она ему и говорит:

— Мужичок, мужичок, спрячь мой лапоток!

Мужик взял лапоть и кинул его под печку.

Вот ночью все заснули, лисичка слезла тихонько с лавки, подкралась к лаптю, вытащила его и закинула далеко в печь, а сама вернулась как ни в чём не бывало, легла на лавочку и хвостик спустила под лавочку.

Стало светать. Люди проснулись; старуха

затопила печь, а старик стал снаряжаться в лес по дрова.

Проснулась и лисица, побежала за лапотком — глядь, а лаптя как не бывало. Взвыла лиса:

— Обидел старик, поживился моим добром, а я за свой лапоток и курочки не возьму!

Посмотрел мужик под печь: нет лаптя! Что делать? А ведь сам клал! Пошёл, взял курицу и отдал лисе. А лиса ещё ломаться стала, курицы не берёт и на всю деревню воет, орёт о том, как разобидел её старик.

Хозяин с хозяйкой стали ублажать лису: налили в чашку молока, покрошили хлеба, сделали яичницу и стали лису просить не побрезгать хлебом-солью. А лисе только того и хотелось. Вскочила на лавку, поела хлеб, вылакала молочка, уплела яичницу, взяла курицу, положила в мешок, простилась с хозяевами и пошла своим путём-дорогой.

Идёт да песенку попевает:

Лисичка-сестричка
Тёмной ноченькой
Шла голодная;
Она шла да шла,
Ошмёток нашла —
В люди снесла,
Добрым людям сбыла,
Курочку взяла.

Вот подходит она к вечеру к другой деревне. Стук, тук, тук — стучит лиса в избу.

— Кто там? — спросил мужик.

— Это я, лисичка-сестричка. Пусти, дядюшка, переночевать!

— У нас и без тебя тесно, ступай дальше,— сказал мужик, захлопнув окно.

— Я вас не потесню,— говорила лиса.— Сама лягу на лавку, а хвост под лавку — и вся тут!

Пустили лису. Вот поклонилась она хозяину и отдала ему на сбережение свою курочку, сама же смирнёхонько улеглась в уголок на лавку, а хвостик подвернула под лавку.

Хозяин взял курочку и пустил её к уткам за решётку. Лисица всё это видела и, как заснули хозяева, слезла тихонько с лавки, подкралась к решётке, вытащила свою курочку, ощипала, съела, а пёрышки с косточками зарыла под печью; сама же, как добрая, вскочила на лавку, свернулась клубочком и уснула.

Стало светать; баба принялась за печь, а мужик пошёл скотинке корму задать.

Проснулась и лиса, начала собираться в путь; поблагодарила хозяев за тепло, за угрев и стала у мужика спрашивать свою курочку.

Мужик полез за курицей — глядь, а курочки как не бывало! Оттуда — сюда, перебрал всех уток: что за диво — курицы нет как нет!

А лиса стоит да голосом и причитает:

— Курочка моя, чернушка моя, заклевали тебя пёстрые утки, забили тебя сизые селезни! Не возьму я за тебя любой утицы!

Сжалилась баба над лисой и говорит мужу:

— Отдадим ей уточку да покормим её на дорогу!

Вот напоили, накормили лису, отдали ей уточку и проводили за ворота.

Идёт кума-лиса, облизываясь, да песенку свою попевает:

Лисичка-сестричка
Тёмной ноченькой
Шла голодная;
Она шла да шла,
Ошмёток нашла —
В люди снесла,
Добрым людям сбыла:
За ошмёток — курочку,
За курочку — уточку.

Шла лиса близко ли, далёко ли, долго ли, коротко ли — стало смеркаться. Завидела она в стороне жильё и свернула туда; приходит: тук, тук, тук в дверь!

— Кто там? — спрашивает хозяин.

— Я, лисичка-сестричка, сбилась с дороги, вся перезябла и ноженьки отбила, бежавши! Пусти меня, добрый человек, отдохнуть да обогреться!

— И рад бы пустить, кумушка, да некуда!

— И-и, куманёк, я непривередлива: сама лягу на лавку, а хвост подверну под лавку — и вся тут!

Подумал, подумал старик да и пустил лису. А лиса и рада. Поклонилась хозяевам да и

просит их сберечь до утра её уточку-плосконосочку.

Приняли уточку-плосконосочку на сбережение и пустили её к гусям. А лисичка легла на лавку, хвост подвернула под лавку и захрапела.

— Видно, сердечная, умаялась,— сказала баба, влезая на печку.

Невдолге заснули и хозяева, а лиса только того и ждала: слезла тихонько с лавки, подкралась к гусям, схватила свою уточку-плосконосочку, закусила, ощипала дочиста, съела, а косточки и пёрышки зарыла под печью; сама же как ни в чём не бывало легла спать и спала до бела дня. Проснулась, потянулась, огляделась: видит — одна хозяйка в избе.

— Хозяюшка, а где хозяин? — спрашивает лиса.— Мне бы надо с ним проститься, поклониться за тепло, за угрев.

— Вона, хватилась хозяина! — сказала старуха.— Да уж он теперь, чай, давно на базаре.

— Так счастливо оставаться, хозяюшка,— сказала, кланяясь, лиса.— Моя плосконосочка уже, чай, проснулась. Давай её, бабушка, скорее, пора и нам с нею пуститься в дорогу.

Старуха бросилась за уткой — глядь-поглядь, а утки нет! Что будешь делать, где взять? А отдать надо! Позади старухи стоит лиса, глаза куксит, голосом причитает: была у неё уточка, невиданная, неслыханная, пёстрая в прозолоть, за уточку ту она бы и гуська не взяла.

Испугалась хозяйка да и ну клониться лисе:

— Возьми же, матушка Лиса Патрикеевна, возьми любого гуська! А уж я тебя напою, накормлю, ни маслица, ни яичек не пожалею.

Пошла лиса на мировую, напилась, наелась, выбрала что ни есть жирного гуся, положила в мешок, поклонилась хозяйке и отправилась в путь-дороженьку; идёт да и припевает про себя песенку:

Лисичка-сестричка
Тёмной ноченькой
Шла голодная;
Она шла да шла,
Ошмёток нашла —
Добрым людям сбыла:
За ошмёток — курочку,
За курочку — уточку.
За уточку — гусёночка!

Шла лиса и приумаялась. Тяжело ей стало гуся в мешке нести: вот она то привстанет, то присядет, то опять побежит. Пришла ночь, и стала лиса ночлег промышлять; где в какую дверь ни постучит, везде отказ. Вот подошла она к последней избе да тихонько, несмело таково стала постукивать: тук, тук, тук, тук!

— Чего надо? — отозвался хозяин.

— Обогрей, родимый, пусти ночевать!

— Негде, и без тебя тесно!

— Я никого не потесню,— отвечала лиса,— сама лягу на лавочку, а хвостик под лавочку,— и вся тут.

Сжалился хозяин, пустил лису, а она суёт

ему на сбережение гуся; хозяин посадил его за решётку к индюшкам. Но сюда уже дошли с базару слухи про лису.

Вот хозяин и думает: «Уж не та ли это лиса, про которую народ бает?» — и стал за нею присматривать. А она, как добрая, улеглась на лавочку и хвост спустила под лавочку; сама же слушает, когда заснут хозяева. Старуха захрапела, а старик притворился, что спит. Вот лиска прыг к решётке, схватила своего гуся, закусила, ощипала и принялась есть. Ест, поест да и отдохнёт — вдруг гуся не одолеешь! Ела она, ела, а старик всё приглядывает и видит, что лиса, собрав косточки и пёрышки, снесла их под печку, а сама улеглась опять и заснула.

Проспала лиса ещё дольше прежнего — уж хозяин её будить стал:

— Каково-де, лисонька, спала-почивала?

А лисонька только потягивается да глаза протирает.

— Пора тебе, лисонька, и честь знать. Пора в путь собираться,— сказал хозяин, отворяя ей двери настежь.

А лиска ему в ответ:

— Не почто избу студить, и сама пойду, да наперёд своё добро заберу. Давай-ка моего гуся!

— Какого? — спросил хозяин.

— Да того, что я тебе вечор отдала на сбережение; ведь ты у меня его принимал?

— Принимал,— отвечал хозяин.

— А принимал, так и подай,— пристала лиса.

— Гуся твоего за решёткой нет; поди хоть сама присмотри — одни индюшки сидят.

Услыхав это, хитрая лиса грянулась об пол и ну убиваться, ну причитать, что за своего-де гуська она бы и индюшки не взяла!

Мужик смекнул лисьи хитрости. «Постой,— думает он,— будешь ты помнить гуся!»

— Что делать,— говорит он.— Знать, надо идти с тобой на мировую.

И обещал ей за гуся отдать индюшку. А вместо индюшки тихонько подложил ей в мешок собаку. Лисонька не догадалась, взяла мешок, простилась с хозяином и пошла.

Шла она, шла, и захотелось ей спеть песенку про себя да про лапоток. Вот села она, положила мешок на землю и только было принялась петь, как вдруг выскочила из мешка хозяйская собака — да на неё, а она от собаки, а собака за нею, не отставая ни на шаг.

Вот забежали обе вместе в лес; лиска по пенькам да по кустам, а собака — за нею.

На лисонькино счастье, случилась нора; лиса вскочила в неё, а собака не пролезла в нору и стала над нею дожидаться, не выйдет ли лиса...

А лиса с испуга дышит не отдышится, а как поотдохнула, то стала сама с собой разговаривать, стала себя спрашивать:

— Ушки мои, ушки, что вы делали?

— А мы слушали да слушали, чтоб собака лисоньку не скушала.

— Глазки мои, глазки, вы что делали?

— А мы глядели да глядели, чтобы собака лисоньку не съела!

— Ножки мои, ножки, вы что делали?

— А мы бежали да бежали, чтоб собака лисоньку не поймала.

— Хвостик, хвостик, ты что делал?

— А я не давал тебе ходу, за все пеньки да сучки цеплялся.

— А, так ты не давал мне бежать! Постой, вот я тебя! — сказала лиса и, высунув хвост из норы, закричала собаке: — На вот, съешь его!

Собака схватила лису за хвост и вытащила из норы.

ВОЙНА ГРИБОВ С ЯГОДАМИ

Красным летом всего в лесу много — и грибов всяких, и всяких ягод: земляники с черникой, и малины с ежевикой, и чёрной смородины. Ходят девки по лесу, ягоды собирают, песенки распевают, а гриб-боровик, под дубочком сидючи, и пыжится, дуется, из земли прёт, на ягоды гневается. «Вишь, что их уродилось! Бывало, и мы в чести, в почёте, а ныне никто на нас и не посмотрит! Постой же,— думает

боровик, всем грибам голова,— нас, грибов, сила великая,— пригнетём, задушим её, сладкую ягоду!»

Задумал-загадал боровик войну, под дубом сидючи, на все грибы глядючи, и стал он грибы сзывать, стал помочь скликать:

— Идите вы, волнушки, выступайте на войну!

Отказалися волну́шки:

— Мы все старые старушки, не повинны на войну.

— Идите вы, опёнки!

Отказалися опёнки:

— У нас ноги больно тонки, не пойдём на войну.

— Эй, вы, сморчки! — крикнул гриб-боровик.— Снаряжайтесь на войну!

Отказалися сморчки, говорят:

— Мы старички, уж куда нам на войну!

Рассердился гриб, прогневался боровик, и крикнул он громким голосом:

— Грузди, вы — ребята дружны, идите со мной воевать, кичливую ягоду избивать!

Откликнулись грузди с подгруздками:

— Мы — грузди, братья дружны, мы идём с тобой на войну, на лесную и полевую ягоду, мы её шапками закидаем, пятой затопчем!

Сказав это, грузди полезли дружно из земли, сухой лист над головами их вздымается, грозная рать подымается.

«Ну, быть беде»,— думает зелёная травка.



А на ту пору пришла с коробом в лес тётка Варвара — широкие карманы. Увидав великую груздевую силу, ахнула, присела и ну грибы сподряд брать да в кузов класть. Набрала его полным-полнёшенько, насилу до дому донесла, а дома разобрала грибки по родам да по званию: волнушки — в кадушки, опёнки — в бочонки, сморчки — в бурачки, груздки — в кузовки, а наибольший гриб-боровик попал в вязку; его пронизали, высушили да и продали.

С той поры перестал гриб с ягодою воевать.

ДЕВОЧКА СНЕГУРОЧКА

Жили-были старик со старухой, у них не было ни детей, ни внучат. Вот вышли они за ворота в праздник, посмотреть на чужих ребят, как они из снегу комочки катают, в снежки играют. Старик поднял комочек да и говорит:

— А что, старуха, кабы у нас с тобой была дочка, да такая беленькая, да такая кругленькая!

Старуха на комочек посмотрела, головой покачала да и говорит:

— Что ж будешь делать — нет, так и взять негде.

Однако старик принёс комочек снегу в избу, положил в горшочек, накрыл ветошкой и поставил на окошко. Взошло солнышко, пригрело горшочек, и снег стал таять. Вот и слышат старики — пищит что-то в горшочке под ветошкой; они к окну — глядь, а в горшочке лежит девочка, беленькая, как снежок, и кругленькая, как комок, и говорит им:

— Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком пригрета и нарумянена.

Вот старики обрадовались, вынули ее, да ну старуха скорее шить да кроить, а старик, завернув Снегурочку в полотенечко, стал её нянчить и пестовать:

Спи, наша Снегурочка,
Сдобная кокурочка[1],
Из вешнего снегу скатана,
Вешним солнышком пригретая!
Мы тебя станем поить,
Мы тебя станем кормить,
В цветно платье рядить,
Уму-разуму учить!

Вот и растёт Снегурочка на радость старикам, да такая-то умная, такая-то разумная, что такие только в сказках живут, а взаправду не бывают.

Всё шло у стариков как по маслу: и в избе хорошо, и на дворе неплохо, скотинка зиму перезимовала, птицу выпустили на двор. Вот как перевели птицу из избы в хлев, тут и случилась беда: пришла к стариковой Жучке лиса, прикинулась больной и ну Жучку умаливать, тоненьким голосом упрашивать:

— Жученька, Жучок, беленькие ножки, шёлковый хвостик, пусти в хлевушок погреться!

Жучка, весь день за стариком в лесу пробегавши, не знала, что старуха птицу в хлев загнала, сжалилась над больной лисой и пустила её туда. А лиска двух кур задушила да домой утащила. Как узнал про это старик, так Жучку прибил и со двора согнал.

— Иди,— говорит,— куда хочешь, а мне ты в сторожа не годишься!

[1] Кокурочка (кокурка) — булочка.

Вот и пошла Жучка, плача, со старикова двора, а пожалели о Жучке только старушка да девочка Снегурочка.

Пришло лето, стали ягоды поспевать, вот и зовут подружки Снегурочку в лес по ягодки. Старики и слышать не хотят, не пускают. Стали девочки обещать, что Снегурочку они из рук не выпустят, да и Снегурочка сама просится ягодок побрать да на лес посмотреть. Отпустили её старики, дали кузовок да пирожка кусок.

Вот и побежали девчонки со Снегурочкой под ручки, а как в лес пришли да увидали ягоды, так все про всё позабыли, разбежались по сторонам, ягодки берут да аукаются, в лесу друг дружке голос подают.

Ягод понабрали, а Снегурочку в лесу потеряли.

Стала Снегурочка голос подавать — никто ей не откликается. Заплакала бедняжка, пошла дорогу искать, хуже того заплуталась; вот и влезла на дерево и кричит: «Ау! ау!»

Идёт медведь, хворост трещит, кусты гнутся:

— О чем, девица, о чём, красная?

— Ау-ау! Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнцем подрумянена, выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки, в лес завели и покинули!

— Слезай,— сказал медведь,— я тебя домой доведу!

— Нет, медведь,— отвечала девочка Снегу-

рочка,— я не пойду с тобой, я боюсь тебя — ты съешь меня!

Медведь ушёл. Бежит серый волк:

— Что, девица, плачешь, что, красная, рыдаешь?

— Ау-ау! Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянена, выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки в лес по ягоды, а в лес завели да и покинули!

— Слезай,— сказал волк,— я доведу тебя до дому!

— Нет, волк, я не пойду с тобой, я боюсь тебя — ты съешь меня!

Волк ушёл. Идёт лиса Патрикеевна:

— Что, девица, плачешь, что, красная, рыдаешь?

— Ау-ау! Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянена, выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки в лес по ягоды, а в лес завели да и покинули!

— Ах, красавица! Ах, умница! Ах, горемычная моя! Слезай скорёхонько, я тебя до дому доведу!

— Нет, лиса, льстивы слова, я боюся тебя — ты меня к волку заведёшь, ты медведю отдашь... Не пойду я с тобой!

Стала лиса вокруг дерева обхаживать, на девочку Снегурочку поглядывать, с дерева её сманивать, а девочка не идёт.

— Гам, гам, гам! — залаяла собака в лесу.

А девочка Снегурочка закричала:

— Ау-ау, Жученька! Ау-ау, милая! Я здесь — девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянена, выпросили меня подруженьки у дедушки, у бабушки в лес по ягодки, в лес завели да и покинули. Хотел меня медведь унести, я не пошла с ним; хотел волк увести, я отказала ему; хотела лиса сманить, я в обман не далась; а с тобой, Жучка, пойду!

Вот как услыхала лиса собачий лай, так махнула пушняком своим и была такова!

Снегурочка с дерева слезла, Жучка подбежала, её лобызала, всё личико облизала и повела домой.

Стоит медведь за пнём, волк на прогалине, лиса по кустам шныряет.

Жучка лает, заливается, все её боятся, никто не приступается.

Пришли они домой, старики с радости заплакали. Снегурочку напоили, накормили, спать уложили, одеяльцем накрыли:

Спи, наша Снегурочка,
Сдобная кокурочка,
Из вешнего снегу скатана,
Вешним солнышком пригретая!
Мы тебя станем поить,
Мы тебя станем кормить,
В цветно платьице рядить,
Уму-разуму учить!

Жучку простили, молоком напоили, приняли милость, на старое место приставили, стеречь двор заставили.

ПРИВЕРЕДНИЦА

Жили-были муж да жена. Детей у них было всего двое — дочка Малашечка да сынок Ивашечка.

Малашечке было годков десяток или поболе, а Ивашечке всего пошёл третий.

Отец и мать в детях души не чаяли и так уж избаловали! Коли дочери что наказать надо, то они не приказывают, а просят. А потом ублажать начнут:

— Мы-де тебе и того дадим, и другого добудем!

А уж как Малашечка исприведреднилась, так такой другой не то что на селе, а, чай, и в городе не было! Ты подай ей хлебца не то что пшеничного, а сдобненького,— на ржаной Малашечка и смотреть не хочет!

А испечёт мать пирог-ягодник, так Малашечка говорит: «Кисел, давай медку!» Нечего делать, зачерпнёт мать на ложку мёду и весь на дочернин кусок ухнет. Сама же с мужем ест пирог без мёду: хоть они и с достатком были, а сами так сладко есть не могли.

Вот раз понадобилось им в город ехать,

они и стали Малашечку ублажать, чтобы не шалила, за братом смотрела, а пуще всего чтобы его из избы не пускала.

— А мы-де тебе за это пряников купим, да орехов калёных, да платочек на голову, да сарафанчик с дутыми пуговками.— Это мать говорила, а отец поддакивал.

Дочка же речи их в одно ухо впускала, а в другое выпускала.

Вот отец с матерью уехали. Пришли к ней подруги и стали звать посидеть на травке-муравке. Вспомнила было девочка родительский наказ, да подумала: «Не велика беда, коли выйдем на улицу!» А их изба была крайняя к лесу.

Подруги заманили её в лес с ребёнком — она села и стала брату веночки плесть. Подруги поманили её в коршуны поиграть, она пошла на минутку да и заигралась целый час.

Вернулась к брату. Ой, брата нет, и местечко, где сидел, остыло, только травка помята.

Что делать? Бросилась к подругам — та не знает, другая не видела. Взвыла Малашечка, побежала куда глаза глядят брата отыскивать; бежала, бежала, бежала, набежала в поле на печь.

— Печь-печурка! Не видала ли ты моего братца Ивашечку?

А печка ей говорит:

— Девочка-привередница, поешь моего ржаного хлеба, поешь, так скажу!

— Вот, стану я ржаной хлеб есть! Я у матушки да у батюшки и на пшеничный не гляжу!

— Эй, Малашечка, ешь хлеб, а пироги впереди! — сказала ей печь.

Малашечка рассердилась и побежала далее. Бежала-бежала, устала — села под дикую яблоню и спрашивает кудрявую:

— Не видала ли, куда братец Ивашечка делся?

А яблоня в ответ:

— Девочка-привередница, поешь моего дикого, кислого яблочка — может статься, тогда и скажу!

— Вот, стану я кислицу есть! У моих батюшки да матушки садовых много — и то ем по выбору!

Покачала на неё яблоня кудрявой вершиной да и говорит:

— Давали голодной Маланье оладьи, а она говорит: «Испечены неладно!»

Малаша побежала далее. Вот бежала она, бежала, набежала на молочную реку, на кисельные берега и стала речку спрашивать:

— Речка-река! Не видала ли ты братца моего Ивашечку?

А речка ей в ответ:

— А ну-ка, девочка-привередница, поешь наперёд моего овсяного киселька с молочком, тогда, может быть, дам весточку о брате.

— Стану я есть твой кисель с молоком!

У моих у батюшки и у матушки и сливочки не в диво!

— Эх,— погрозилась на неё река,— не брезгай пить из ковша!

Побежала привередница дальше. И долго бежала она, ища Ивашечку; наткнулась на ежа, хотела его оттолкнуть, да побоялась наколоться, вот и вздумала с ним заговорить:

— Ёжик, ёжик, не видал ли ты моего братца?

А ёжик ей в ответ:

— Видел я, девочка, стаю серых гусей, пронесли они в лес на себе малого ребёнка в красной рубашечке.

— Ах, это-то и есть мой братец Ивашечка! — завопила девочка-привередница.— Ёжик, голубчик, скажи мне, куда они его пронесли?

Вот и стал ёж ей сказывать: что-де в этом дремучем лесу живёт Яга-Баба, в избушке на курьих ножках; в послугу наняла она себе серых гусей, и что она им прикажет, то гуси и делают.

И ну Малашечка ежа просить, ежа ласкать:

— Ёжик ты мой рябенький, ёжик игольчатый! Доведи меня до избушки на курьих ножках!

— Ладно,— сказал он и повёл Малашечку в самую чащу, а в чаще той все съедобные травы растут: кислица да борщовник, по деревьям седая ежевика вьётся, переплетается, за кусты цепляется, крупные ягодки на солнышке дозревают.

«Вот бы поесть!» — думает Малашечка, да уж до еды ли ей! Махнула на сизые плетенницы и побежала за ежом. Он привёл её к старой избушке на курьих ножках.

Малашечка заглянула в отворенную дверь и видит: в углу на лавке Баба Яга спит, а на прилавке Ивашечка сидит, цветочками играет.

Схватила она брата на руки да и вон из избы!

А гуси-наёмники чутки. Сторожевой гусь вытянул шею, гагакнул, взмахнул крыльями, взлетел выше дремучего леса, глянул вокруг и видит, что Малашечка с братом бежит. Закричал, загоготал серый гусь, поднял всё стадо гусиное, а сам полетел к Бабе Яге докладывать. Баба Яга Костяная Нога так спит, что с неё пар валит, от храпа оконницы дрожат. Уж гусь ей в то ухо и в другое кричит — не слышит! Рассердился щипун, щипнул Ягу в самый нос. Вскочила Баба Яга, схватилась за нос, а серый гусь стал ей докладывать:

— Баба Яга Костяная Нога! У нас дома неладно что-то сделалось. Ивашечку Малашечка домой несёт!

Тут Баба Яга как расходилась!

— Ах вы трутни, дармоеды, из чего я вас пою, кормлю! Вынь да положь, подайте мне брата с сестрой!

Полетели гуси вдогонку. Летят да друг с дружкою перекликаются. Заслышала Малашечка гусиный крик, подбежала к молочной реке,

кисельным берегам, низенько ей поклонилась и говорит:

— Матушка река! Скрой, схорони ты меня от диких гусей!

А река ей в ответ:

— Девочка-привередница, поешь наперёд моего овсяного киселя с молоком.

Устала голодная Малашечка, в охотку поела мужицкого киселя, припала к реке и всласть напилась молока. Вот река и говорит ей:

— Так-то вас, привередниц, голодом учить надо! Ну, теперь садись под бережок, я закрою тебя.

Малашечка села, река прикрыла её зелёным тростником; гуси налетели, покрутились над рекой, поискали брата с сестрой да с тем и домой полетели.

Рассердилась Яга пуще прежнего и прогнала их опять за детьми. Вот гуси летят вдогонку, летят да меж собой перекликаются, а Малашечка, заслыша их, прытче прежнего побежала.

Вот подбежала к дикой яблоне и просит её:

— Матушка зелёная яблонька! Схорони, укрой меня от беды неминуемой, от злых гусей!

А яблоня ей в ответ:

— А поешь моего самородного кислого яблочка, так, может статься, и спрячу тебя!

Нечего делать, принялась девочка-привередница дикое яблоко есть, и показался дичок голодной Малаше слаще наливного садового яблочка.



А кудрявая яблонька стоит да посмеивается:

— Вот так-то вас, причудниц, учить надо! Давеча не хотела и в рот взять, а теперь ешь над горсточкой!

Взяла яблонька, обняла ветвями брата с сестрой и посадила их в серёдочку, в самую густую листву.

Прилетели гуси, осмотрели яблоню — нет никого! Полетели ещё туда-сюда да с тем к Бабе Яге и вернулись.

Как завидела она их порожнём, закричала, затопала, завопила на весь лес:

— Вот я вас, трутней! Вот я вас, дармоедов! Все пёрышки ощиплю, на ветер пущу, самих живьём проглочу!

Испугались гуси, полетели назад за Ивашечкой и Малашечкой.

Летят да жалобно друг с дружкой, передний с задним, перекликаются:

— Ту-та, ту-та? Ту-та не-ту!

Стемнело в поле, ничего не видать, негде и спрятаться, а дикие гуси всё ближе и ближе; а у девочки-привередницы ножки, ручки устали — еле плетётся.

Вот видит она: в поле та печь стоит, что её ржаным хлебом потчевала.

Она к печи:

— Матушка печь, укрой меня с братом от Бабы Яги!

— То-то, девочка, слушаться бы тебе отца-

матери, в лес не ходить, брата не брать, сидеть дома да есть, что отец с матерью едят! А то «варёного не ем, печёного не хочу, а жареного и на дух не надо!».

Вот Малашечка стала печку упрашивать, умаливать: вперёд-де таково́ не буду!

— Ну, посмотрю я. Пока поешь моего ржаного хлебца!

С радостью схватила его Малашечка и ну есть да братца кормить!

— Такого-то хлеба я отроду не видала — словно пряник-коврижка!

А печка, смеючись, говорит:

— Голодному и ржаной хлеб за пряник идёт, а сытому и коврижка вяземская не сладка! Ну, полезай теперь в устье,— сказала печь,— да заслонись заслоном.

Вот Малашечка скоренько села в печь, затворилась заслоном, сидит и слушает, как гуси всё ближе подлетают, жалобно друг дружку спрашивают:

— Ту-та, ту-та? Ту-та не-ту!

Вот полетали они вокруг печки. Не нашед Малашечки, опустились на землю и стали промеж себя говорить: что им теперь делать? Домой ворочаться нельзя: хозяйка их живьём съест. Здесь остаться также не можно: она велит их всех перестрелять.

— Разве вот что, братья,— сказал передовой вожак.— Вернёмся домой, в тёплые земли,— туда Бабе Яге доступа нет!

Гуси согласились, снялись с земли и полетели далеко-далеко, за синие моря.

Отдохнувши, Малашечка схватила братца и побежала домой, а дома отец с матерью всё село исходили, каждого встречного и поперечного о детях спрашивали; никто ничего не знает, лишь только пастух сказывал, что ребята в лесу играли.

Побрели отец с матерью в лес да подле села на Малашечку с Ивашечкой и наткнулись.

Тут Малашечка во всём отцу с матерью повинилась, про всё рассказала и обещала впредь слушаться, не перечить, не привередничать, а есть, что другие едят.

Как сказала, так и сделала, а затем и сказке конец.

К. Д. Ушинский

Более ста лет назад педагог Константин Дмитриевич Ушинский (1824—1871) разработал систему воспитания и образования детей. По его рассказам и сказкам дети многих поколений учились читать, узнавали, как богат и разнообразен мир, что окружает их каждый день; как растут деревья, куда улетают птицы поздней осенью, как пчёлы собирают мёд, как образуются реки.

В книги для детского чтения («Детский мир», «Хрестоматия», «Родное слово») К. Д. Ушинский включил и рассказы об уважении к великому труженику крестьянину, чьим трудом кормится «не одна его семья, а весь мир...». Обращаясь к маленькому читателю, Ушинский говорит, что «только тому приятно отдохнуть и поиграть, кто поработал и сделал всё, что обязан был сделать».

ДЕТИ В РОЩЕ

Двое детей, брат и сестра, отправились в школу. Они должны были проходить мимо прекрасной тенистой рощи. На дороге было жарко и пыльно, а в роще прохладно и весело.

— Знаешь ли что? — сказал брат сестре.— В школу мы ещё успеем. В школе теперь и душно и скучно, а в роще, должно быть, очень весело. Послушай, как кричат там птички! А белок-то, белок сколько прыгает по веткам! Не пойти ли нам туда, сестра?

Сестре понравилось предложение брата. Дети бросили азбуки в траву, взялись за руки и скрылись между зелёными кустами, под кудрявыми берёзками. В роще, точно, было весело и шумно. Птички перепархивали беспрестанно, пели и кричали; белки прыгали по веткам; насекомые суетились в траве.

Прежде всего дети увидели золотого жучка.

— Поиграй-ка с нами,— сказали дети жуку.

— С удовольствием бы,— отвечал жук,— но у меня нет времени: я должен добыть себе обед.

— Поиграй с нами,— сказали дети жёлтой мохнатой пчеле.

— Некогда мне играть с вами,— отвечала пчёлка,— мне нужно собирать мёд.

— А ты не поиграешь ли с нами? — спросили дети у муравья.

Но муравью некогда было их слушать: он тащил соломинку втрое больше себя и спешил строить своё хитрое жильё.

Дети обратились было к белке, предлагая ей также поиграть с ними; но белка махнула пушистым хвостом и отвечала, что она должна запастись орехами на зиму.

Голубь сказал:

— Строю гнездо для своих маленьких деток.

Серенький зайчик бежал к ручью умыть свою мордочку. Белому цветку земляники также некогда было заниматься детьми. Он пользовался

прекрасной погодой и спешил приготовить к сроку свою сочную вкусную ягоду.

Детям стало скучно, что все заняты своим делом и никто не хочет играть с ними. Они подбежали к ручью. Журча по камням, пробегал ручей через рощу.

— Тебе уж, верно, нечего делать? — сказали ему дети.— Поиграй же с нами!

— Как! Мне нечего делать? — прожурчал сердито ручей.— Ах вы, ленивые дети! Посмотрите на меня: я работаю днём и ночью и не знаю ни минуты покоя. Разве не я пою людей и животных? Кто же, кроме меня, моет бельё, вертит мельничные колёса, носит лодки и тушит пожары? О, у меня столько работы, что голова идёт кругом! — прибавил ручей и принялся журчать по камням.

Детям стало ещё скучнее, и они подумали, что им лучше было бы пойти сначала в школу, а потом уж, идучи из школы, зайти в рощу. Но в это самое время мальчик приметил на зелёной ветке крошечную красивую малиновку. Она сидела, казалось, очень спокойно и от нечего делать насвистывала превесёлую песенку.

— Эй, ты, весёлый запевала! — закричал малиновке мальчик.— Тебе-то уж, кажется, ровно нечего делать; поиграй же с нами!

— Как,— просвистала обиженная малиновка,— мне нечего делать? Да разве я целый день не ловила мошек, чтобы накормить моих малюток? Я так устала, что не могу поднять



крыльев; да и теперь убаюкиваю песенкой моих милых деток. А вы что делали сегодня, маленькие ленивцы? В школу не пошли, ничего не выучили, бегаете по роще, да ещё мешаете другим дело делать. Идите-ка лучше, куда вас послали, и помните, что только тому приятно отдохнуть и поиграть, кто поработал и сделал всё, что обязан был сделать.

Детям стало стыдно: они пошли в школу и хотя пришли поздно, но учились прилежно.

ТРУСЛИВЫЙ ВАНЯ

Замесила мать Вани тесто в квашне и поставила на печь киснуть, а сама ушла к соседке.

В сумерках пришёл Ваня домой, окликнул — никого в избе нет. Вот и хотел он огонька вздуть, как слышит: кто-то на печи пыхтит. Ванюша затрясся от страху, выпустил из рук лучину — да бежать. Впотьмах наступил Ваня на кочергу, а она ему по лбу.

— Ай-ай, батюшки, помогите! Помогите! — завопил Ваня и хотел было вон из избы.

На ту беду разулся у него лапоть, и Ванюша прихлопнул дверью оборку от лаптя; растянулся в сенях и вопит благим матом:

— Ах, батюшки! Ай, соседушки! Помогите! Отымите! Держит меня кто-то!

Прибежали соседи, подняли Ванюшу ни жива ни мертва, а как узнали, в чём дело, то и стали над ним смеяться.

Долго потом все дразнили Ванюшу и расспрашивали его: как это он испугался теста в квашне, кочерги в углу, лаптя на своей ноге?

ЛАСТОЧКА

Мальчик осенью хотел разорить прилепленное под крышей гнездо ласточки, в котором хозяев уже не было: почуяв приближение холодов, они улетели.

— Не разоряй гнезда,— сказал мальчику отец,— весной ласточка опять прилетит, и ей будет приятно найти свой прежний домик.

Мальчик послушался отца.

Прошла зима, и в конце апреля пара острокрылых красивеньких птичек, весёлых, щебечущих, прилетела и стала носиться вокруг старого гнёздышка.

Работа закипела; ласточки таскали в носиках глину и ил из ближнего ручья, и скоро гнёздышко, немного попортившееся за зиму, было отделано заново. Потом ласточки стали таскать в гнездо то пух, то пёрышко, то стебелёк мха.

Прошло ещё несколько дней, и мальчик заметил, что уже только одна ласточка вылетает из гнезда, а другая остаётся в нём постоянно.

«Видно, она наносила яичек и сидит теперь на них»,— подумал мальчик.

В самом деле, недели через три из гнезда стали выглядывать крошечные головки. Как рад был теперь мальчик, что не разорил гнёздышка!

Сидя на крылечке, он по целым часам смотрел, как заботливые птички носились по воздуху и ловили мух, комаров и мошек. Как быстро



сновали они взад и впрёд, как неутомимо добывали пищу своим деткам!

Мальчик дивился, как это ласточки не устают летать целый день, не приседая почти ни на одну минуту, и выразил своё удивление отцу. Отец достал чучело ласточки и показал сыну:

— Посмотри, какие у ласточки длинные, большие крылья и хвост в сравнении с маленьким, лёгким туловищем и такими крошечными ножками, что ей почти не на чем сидеть; вот почему она может летать так быстро и долго. Если бы ласточка умела говорить, то такие бы диковинки рассказала она тебе — о

южнорусских степях, о Крымских горах, покрытых виноградом, о бурном Чёрном море, которое ей нужно было пролететь, не присевши ни разу, о Малой Азии, где всё цвело и зеленело, когда у нас выпадал уже снег, о голубом Средиземном море, где пришлось ей раз или два отдохнуть на островах, об Африке, где она ловила мошек, когда у нас стояли лютые морозы.

— Я не думал, что ласточки улетают так далеко,— сказал мальчик.

— Да и не одни ласточки,— продолжал отец,— жаворонки, перепела, дрозды, кукушки, дикие утки, гуси и множество других птиц, которых называют перелётными, также улетают от нас на зиму в тёплые страны. Для одних довольно и такого тепла, какое бывает зимою в южной Германии и Франции; другим нужно перелететь высокие снежные горы, чтобы приютиться на зиму в цветущих лимонных и померанцевых рощах Италии и Греции; третьим надобно лететь ещё дальше, перелететь всё Средиземное море.

— Отчего же они не остаются в тёплых странах целый год,— спросил мальчик,— если там так хорошо?

— Видно, им недостаёт корма для детей, или, может быть, уж слишком жарко. Но ты вот чему подивись: как ласточки, пролетая тысячи четыре вёрст, находят дорогу в тот самый дом, где у них построено гнездо?

ПЧЕЛА И МУХИ

Позднею осенью выдался славный денёк, какие и весною на редкость: свинцовые тучи рассеялись, ветер улёгся, солнце выглянуло и смотрело так ласково, как будто прощалось с поблёкшими растениями. Вызванные из улья светом и теплом, мохнатые пчёлки, весело жужжа, перелетали с травки на травку, не за мёдом (его уже негде было взять), а так себе, чтобы повеселиться и порасправить свои крылышки.

— Как вы глупы со своим весельем! — сказала им муха, которая тут же сидела на травке, пригорюнясь и опустив нос.— Разве вы не знаете, что это солнышко только на минуту и что, наверное, сегодня же начнётся ветер, дождь, холод и нам всем придётся пропасть.

— Зум-зум-зум! Зачем же пропадать? — отвечали мухе весёлые пчёлки.— Мы повеселимся, пока светит солнышко, а как наступит непогода, спрячемся в свой тёплый улей, где у нас за лето много припасено мёду.

ЛЕС И РУЧЕЙ

Пробегая во влажной лесной темноте, посреди болот и мхов, ручей жалобно роптал, что лес закрывает от него и ясное небо, и да-

лёкую окрестность, не пропускает к нему ни ясных лучей солнца, ни шаловливого ветерка.

— Хоть бы пришли люди и вырубили этот несносный лес! — журчал ручей.

— Дитя моё! — кротко отвечал ему лес.— Ты ещё мал и не понимаешь, что моя тень хранит тебя от иссушающего действия солнца и ветра и что без моей защиты быстро высохли бы твои ещё слабые струи. Погоди, наберись прежде силы под моей тенью, и тогда ты выбежишь на открытую равнину, но уже не слабым ручейком, а могучей рекою. Тогда без вреда для себя будешь отражать ты в своих струях блестящее солнце и ясное небо, будешь безопасно играть с могучим ветром.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЯБЛОНЬКИ

1

Росла в лесу дикая яблоня; осенью упало с неё кислое яблоко. Птицы склевали яблоко, поклевали и зёрнышки. Одно только зёрнышко спряталось в землю и осталось.

Зиму пролежало зёрнышко под снегом, а весной, когда солнышко пригрело мокрую землю, зерно стало прорастать: пустило вниз корешок,



а кверху выгнало два первых листика. Изпромеж листочков выбежал стебелёк с почкой, а из почки, наверху, вышли зелёные листики. Почка за почкой, листик за листиком, веточка за веточкой — и лет через пять хорошенькая яблонька стояла на том месте, где упало зёрнышко.

Пришёл в лес садовник с заступом, увидал яблоньку и говорит:

— Вот хорошее деревцо, оно мне пригодится.

Задрожала яблонька, когда садовник стал её выкапывать, и думает:

«Пропала я совсем!»

Но садовник выкопал яблоньку осторожно,

корешков не повредил, перенёс её в сад и посадил в хорошую землю.

2

Загордилась яблонька в саду. «Должно быть, я редкое дерево,— думает она,— когда меня из лесу в сад перенесли»,— и свысока посматривает вокруг на некрасивые пеньки, завязанные тряпочками; не знала она, что попала в школу.

На другой год пришёл садовник с кривым ножом и стал яблоньку резать. Задрожала яблонька и думает: «Ну, теперь-то я совсем пропала».

Срезал садовник всю зелёную верхушку деревца, оставил один пенёк, да и тот ещё расщепил сверху; в трещину воткнул садовник молодой побег от хорошей яблони, закрыл рану замазкой, обвязал тряпочкой, обставил новую прищепу колышками и ушёл.

3

Прихворнула яблонька; но была она молода и сильна, скоро поправилась и срослась с чужой веточкой. Пьёт веточка соки сильной яблоньки и растёт быстро: выкидывает почку за почкой, листок за листком, выгоняет побег за побегом, веточку за веточкой — и года через три зацвело деревцо бело-розовыми душистыми цветами.

Опали бело-розовые лепестки, и на их месте появилась зелёная завязь, а к осени из завязи сделались яблоки, да уж не дикие кислицы, а большие, румяные, сладкие, рассыпчатые. И такая-то хорошенькая удалась яблонька, что из других садов приходили брать от неё побеги для прищеп.

ЧУЖОЕ ЯИЧКО

Рано утром встала старушка Дарья, выбрала тёмное, укромное местечко в курятнике, поставила туда корзинку, где на мягком сене были разложены тринадцать яиц, и усадила на них хохлатку.

Чуть светало, и старуха не рассмотрела, что тринадцатое яичко было зеленоватое и побольше прочих. Сидит курица прилежно, греет яички, сбегает поклевать зёрнышек, попить водицы — и опять на место; даже вылиняла, бедняжка. И какая стала сердитая: шипит, клохчет, даже петушку не даёт подойти, а тому очень хотелось заглянуть, что там в тёмном уголке делается. Просидела курочка недели с три, и стали из яичек цыплята выклёвываться один за другим: проклюнет скорлупку носом, выскочит, отряхнётся и станет бегать, ножками пыль разгребать, червячков искать.

Позже всех проклюнулся цыплёнок из зеле-



новатого яичка. И какой же странный он вышел: кругленький, пушистый, жёлтый, с коротенькими ножками, с широким носиком. «Странный у меня вышел цыплёнок,— думает курица,— и клюёт, и ходит-то он не по-нашему; носик широкий, ноги коротенькие, какой-то косолапый, с ноги на ногу переваливается». Подивилась курица своему цыплёнку, однако же какой ни на есть, а всё сын. И любит, и бережёт его курица, как и прочих, а если завидит ястреба, то, распушивши перья и широко раздвинув круглые крылья, прячет под себя своих цыплят, не разбирая, какие у кого ноги.

Стала курочка деток учить, как из земли

червячков выкапывать, и повела всю семью на берег пруда: там-де червей больше и земля мягче. Как только коротконогий цыплёнок завидел воду, так прямо и кинулся в неё. Курица кричит, крыльями машет, к воде кидается; цыплята тоже перетревожились: бегают, суетятся, пищат; и один петушок с испугу даже вскочил на камешек, вытянул шейку и в первый ещё раз в своей жизни заорал сиплым голоском: «Ку-ку-ре-ку!» Помогите, мол, добрые люди! Братец тонет! Но братец не утонул, а превесело и легко, как клок хлопчатой бумаги, плавал себе по воде, загребая воду своими широкими перепончатыми лапами. На крик курицы выбежала из избы старая Дарья, увидела, что делается, и закричала: «Ахти, грех какой! Видно, это я сослепу подложила утиное яйцо под курицу».

А курица так и рвалась к пруду; насилу могли отогнать, бедную.

В. М. Гаршин

Недолгой и непростой была жизнь Всеволода Михайловича Гаршина (1855—1888). Сын участника Крымской войны, он, не очень крепкий и здоровый человек, пошёл добровольцем в действующую армию, был ранен. О поведении русских солдат на полях сражений Гаршин рассказал в нескольких произведениях.

С детства писатель был впечатлительным, близко к сердцу принимал зло, которое видел в окружающей жизни. Современники называли его «печальником за человечество». Гаршин писал рассказы, очерки, сказки. Может быть, самой светлой, оптимистичной в его творчестве оказалась сказка, любимая и детьми, и взрослыми, «Лягушка-путешественница». Каждый прочитывает её по-своему. Одним жаль лягушку — никто не верит ей, никто её не слушает. Другие посмеются над хвастунишкой и фантазёркой. А кто-то, наверное, задумается о том, что, может быть, не так уж смешна лягушка, которой хотелось вырваться из скучного болота и увидеть новое, неизведанное.

ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА

Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров да мошку, весною громко квакала вместе со своими подругами. И весь век она прожила бы благополучно — конечно, в том случае, если бы не съел её аист.

Но случилось одно происшествие.

Однажды она сидела на сучке высунувшейся из воды коряги и наслаждалась тёплым мелким дождиком.

«Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода! — думала она.— Какое это наслаждение — жить на свете!»

Дождик моросил по её пёстренькой лакированной спинке; капли его подтекали ей под брюшко и за лапки, и это было восхитительно приятно, так приятно, что она чуть-чуть не заквакала, но, к счастью, вспомнила, что была уже осень и что осенью лягушки не квакают — на это есть весна,— и что, заквакав, она может уронить своё лягушечье достоинство. Поэтому она промолчала и продолжала нежиться.

Вдруг тонкий свистящий прерывистый звук раздался в воздухе. Есть такая порода уток: когда они летят, то их крылья, рассекая воздух, точно поют или, лучше сказать, посвистывают. «Фью-фью-фью-фью» — раздаётся в воздухе, когда летит высоко над вами стадо таких уток, а их самих даже и не видно, так они высоко летят.

На этот раз утки, описав огромный полукруг, спустились и сели как раз в то самое болото, где жила лягушка.

— Кря, кря! — сказала одна из них.— Лететь ещё далеко, надо покушать.

И лягушка сейчас же спряталась. Хотя она и знала, что утки не станут есть её, большую



и толстую квакушку, но всё-таки на всякий случай она нырнула под корягу. Однако, подумав, она решилась высунуть из воды свою лупоглазую голову: ей было очень интересно узнать, куда летят утки.

— Кря, кря! — сказала другая утка.— Уже холодно становится! Скорей на юг! Скорей на юг!

И все утки стали громко крякать в знак одобрения.

— Госпожи утки! — осмелилась сказать лягушка.— Что такое юг, на который вы летите? Прошу извинения за беспокойство.

И утки окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть её, но каждая из них подумала, что лягушка слишком велика и не пролезет в горло.

Тогда все они начали кричать, хлопая крыльями:

— Хорошо на юге! Теперь там тепло! Там есть такие славные тёплые болота! Какие там червяки! Хорошо на юге!

Они так кричали, что почти оглушили лягушку. Едва-едва она убедила их замолчать и попросила одну из них, которая казалась ей толще и умнее всех, объяснить ей, что такое юг. И когда та рассказала ей о юге, то лягушка пришла в восторг, но в конце всё-таки спросила, потому что была осторожна:

— А много ли там мошек и комаров?

— О! целые тучи! — отвечала утка.

— Ква! — сказала лягушка и тут же обернулась посмотреть, нет ли здесь подруг, которые могли бы услышать её и осудить за кваканье осенью. Она уж никак не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть разик.— Возьмите меня с собой!

— Это мне удивительно! — воскликнула утка.— Как мы тебя возьмём? У тебя нет крыльев.

— Когда вы летите? — спросила лягушка.

— Скоро, скоро! — закричали все утки.— Кря, кря! Кря, кря! Тут холодно! На юг! На юг!

— Позвольте мне подумать только пять минут,— сказала лягушка,— я сейчас вернусь, я, наверно, придумаю что-нибудь хорошее.

И она шлёпнулась с сучка, на который было снова влезла, в воду, нырнула в тину и совершенно зарылась в ней, чтобы посторонние предметы не мешали ей размышлять. Пять минут прошло, утки совсем было собрались лететь, как вдруг из воды около сучка, на котором она сидела, показалась её морда, и выражение этой морды было самое сияющее, на какое только способна лягушка.

— Я придумала! Я нашла! — сказала она.— Пусть две из вас возьмут в свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала, и всё будет превосходно.

Хотя молчать и тащить хотя бы и лёгкую лягушку три тысячи вёрст[1] не бог знает какое удовольствие, но её ум привёл уток в такой восторг, что они единодушно согласились нести её. Решили переменяться каждые два часа, и так как уток было, как говорится в загадке, столько, да ещё столько, да полстолька, да четверть столька, а лягушка была одна, то нести её приходилось не особенно часто. Нашли хороший прочный прутик, две утки взяли его в клювы, лягушка прицепилась ртом за середину, и всё стадо поднялось на воздух. У лягушки захватило дух от страшной высоты, на которую её подняли; кроме того, утки летели неровно и дёргали прутик; бедная квакушка болталась в воздухе как бумажный паяц и изо всей мочи стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться и не шлёпнуться на землю. Однако она скоро привыкла к своему положению и даже начала осматриваться. Под нею быстро проносились поля, луга, реки и горы, которые ей, впрочем, было очень трудно рассматривать, потому что, вися на прутике, она смотрела назад и немного вверх, но кое-что всё-таки видела и радовалась и гордилась.

«Вот как я превосходно придумала»,— думала она про себя.

А утки летели вслед за нёсшей её передней парой, кричали и хвалили её.

---

[1] Верста — мера длины, равная 1,06 км.

— Удивительно умная голова наша лягушка,— говорили они,— даже между утками мало таких найдётся.

Она едва удержалась, чтобы не поблагодарить их, но, вспомнив, что, открыв рот, она свалится со страшной высоты, ещё крепче стиснула челюсти и решилась терпеть. Она болталась таким образом целый день; нёсшие её утки переменялись на лету, ловко подхватывая прутик; это было очень страшно: не раз лягушка чуть было не квакала от страха, но нужно было иметь присутствие духа, и она его имела. Вечером вся компания остановилась в каком-то болоте; с зарёю утки с лягушкой снова пустились в путь, но на этот раз путешественница, чтобы лучше видеть, что делается на пути, прицепилась спинкой и головой вперёд, а брюшком назад. Утки летели над сжатыми полями, над пожелтевшими лесами и над деревнями, полными хлеба в скирдах; оттуда доносились людской говор и стук цепов, которыми молотили рожь.

Люди смотрели на стаю уток и, замечая в ней что-то странное, показывали на неё руками. И лягушке ужасно захотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что о ней говорят. На следующем отдыхе она сказала:

— Нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мне вдруг сделается дурно.

И добрые утки обещали ей лететь пониже. На следующий день они летели так низко, что слышали голоса:

— Смотрите, смотрите! — кричали дети в одной деревне.— Утки лягушку несут!

Лягушка слышала это, и у неё прыгало сердце.

— Смотрите, смотрите! — кричали в другой деревне взрослые.— Вот чудо-то!

«Знают ли они, что это придумала я, а не утки?» — подумала квакушка.

— Смотрите, смотрите! — кричали в третьей деревне.— Экое чудо! И кто это придумал такую хитрую штуку?

Тут лягушка уж не выдержала и, забыв всякую осторожность, закричала изо всей мочи:

— Это я! Я!

И с этим криком она полетела вверх тормашками на землю. Утки громко закричали; одна из них хотела подхватить бедную спутницу на лету, но промахнулась. Лягушка, дрыгая всеми четырьмя лапками, быстро падала на землю; но так как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то место, над которым закричала и где была твёрдая дорога, а гораздо дальше, что было для неё большим счастьем, потому что она бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни.

Она скоро вынырнула из воды и тотчас же опять сгоряча закричала во всё горло:



— Это я! Это я придумала!

Но вокруг неё никого не было. Испуганные неожиданным плеском, местные лягушки все попрятались в воду. Когда они начали показываться из неё, то с удивлением смотрели на новую.

И она рассказала им чудную историю о том, как она думала всю жизнь и наконец изобрела новый, необыкновенный способ путешествия на утках; как у неё были свои собственные утки, которые носили её, куда ей было угодно; как она побывала на прекрасном юге, где так хорошо, где такие прекрасные тёплые болота и

так много мошек и всяких других съедобных насекомых.

— Я заехала к вам посмотреть, как вы живёте,— сказала она.— Я пробуду у вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила.

Но утки уже никогда не вернулись. Они думали, что квакушка разбилась о землю, и очень жалели её.

Л. Н. Толстой

Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой (1828—1910) известен всему миру. Он написал много больших, серьёзных произведений.

В Ясной Поляне Толстой создал школу для крестьянских детей, таких школ в то время было совсем мало. Здесь ребят никогда не наказывали, но и ученики никогда не ленились и не грубили, как это случалось в других школах. Толстой держал себя с детьми так же просто и серьёзно, как со взрослыми. А чтобы детям было легче учиться, рассказывал им обо всём, что видел и знал, старался, чтобы ребятам было интересно учиться. Толстой составил для детей учебник арифметики, Азбуку, писал книги для чтения.

«Пишу я эти последние годы Азбуку и теперь печатаю... Гордые мечты мои об этой Азбуке вот какие: по этой Азбуке только будут учиться два поколения русских всех детей, от царских до мужицких... написав эту Азбуку, мне можно будет спокойно умереть». Вот каким важным для себя делом считал Лев Николаевич Толстой просвещение детей.

Для детских книг он написал, пересказал, перевёл около семисот рассказов, статей, очерков и старался сделать это «коротко, просто и, главное, ясно».

ФИЛИПОК

Был мальчик, звали его Филипп. Пошли раз все ребята в школу. Филипп взял шапку и хотел тоже идти. Но мать сказала ему:

— Куда ты, Филипок, собрался?

— В школу.

— Ты ещё мал, не ходи.— И мать оставила его дома.

Ребята ушли в школу. Отец ещё с утра уехал в лес, мать ушла на подённую работу. Остались в избе Филипок да бабушка на печке.

Стало Филипку скучно одному, бабушка заснула, и он стал искать шапку. Своей не нашёл, взял старую отцовскую и пошёл в школу.

Школа была за селом, у церкви. Когда Филипп шёл по своей слободе, собаки не трогали его — они его знали. Но когда он вышел к чужим дворам, выскочила Жучка, залаяла, а за Жучкой — большая собака Волчок. Филипок бросился бежать, собаки — за ним. Филипок стал кричать, споткнулся и упал. Вышел мужик, отогнал собак и сказал:

— Куда ты, пострелёнок, один бежишь?

Филипок ничего не сказал, подобрал полы и пустился бежать во весь дух. Прибежал он к школе. На крыльце никого нет, а в школе, слышно, гудят голоса ребят. На Филипка нашёл страх: «Что, как учитель меня прогонит?» И стал думать, что ему делать. Назад идти — опять собака заест, в школу идти — учителя боится.

Шла мимо школы баба с ведром и говорит:

— Все учатся, а ты что тут стоишь?



Филипок и пошёл в школу.

В сенцах снял шапку и отворил дверь. Школа вся была полна ребят.

Все кричали своё, и учитель в красном шарфе ходил посередине.

— Ты что? — закричал он на Филипка.

Филипок ухватился за шапку и ничего не говорил.

— Да ты кто?

Филипок молчал.

— Или ты немой?

Филипок так напугался, что говорить не мог.

— Ну так иди домой, коли говорить не хочешь.

А Филипок и рад бы что сказать, да в горле у него от страха пересохло. Он посмотрел на учителя и заплакал. Тогда учителю жалко его стало. Он погладил его по голове и спросил у ребят, кто этот мальчик.

— Это Филипок, Костюшкин брат, он давно просится в школу, да мать не пускает его, и он украдкой пришёл в школу.

— Ну, садись на лавку возле брата, а я твою мать попрошу, чтобы пускала тебя в школу.

Учитель стал показывать Филипку буквы, а Филипок их уж знал и немножко читать умел.

— Ну-ка, сложи своё имя.

Филипок сказал:

— Хве-и — хви, ле-и — ли, пе-ок — пок.

Все засмеялись.

— Молодец! — сказал учитель.— Кто же тебя учил читать?

Филипок осмелился и сказал:

— Костюшка! Я бедовый, я сразу всё понял. Я страсть какой ловкий!

Учитель засмеялся и сказал:

— Ты погоди хвалиться, а поучись.

С тех пор Филипок стал ходить с ребятами в школу.

ДЕВОЧКА И ГРИБЫ

Две девочки шли домой с грибами.

Им надо было переходить через железную дорогу.

Они думали, что машина далеко, взлезли на насыпь и пошли через рельсы.

Вдруг зашумела машина. Старшая девочка побежала назад, а меньшая перебежала через дорогу.

Старшая девочка закричала сестре:

— Не ходи назад!

Но машина была так близко и так громко шумела, что меньшая девочка не расслышала: она подумала, что ей велят бежать назад. Она побежала назад через рельсы, споткнулась, выронила грибы и стала подбирать их.

Машина уже была близко, и машинист свистел что было силы.

Старшая девочка кричала: «Брось грибы!», а маленькая девочка думала, что ей велят собрать грибы, и ползала по дороге.

Машинист не мог удержать машины. Она свистела изо всех сил и наехала на девочку.

Старшая девочка кричала и плакала. Все проезжающие смотрели из окон вагонов, а кондуктор побежал на конец поезда, чтобы видеть, что сделалось с девочкой.

Когда поезд прошёл, все увидали, что девочка лежит между рельсами головой вниз и не шевелится.

Потом, когда поезд уже отъехал далеко, девочка подняла голову, вскочила на коленки, собрала грибы и побежала к сестре.

ТРИ МЕДВЕДЯ

Одна девочка ушла из дому в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику.

Дверь была отворена; она посмотрела в дверь, видит: в домике никого нет,— и вошла. В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец, звали его Михаил Иваныч. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали её Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома, они ушли гулять по лесу.

В домике было две комнаты: одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлёбкой. Первая чашка, очень большая, была Михайлы Иванычева. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровнина, третья — синенькая чашечка была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка: большая, средняя и маленькая.

Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки; потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки; потом взяла маленькую ложечку и по-



хлебала из синенькой чашечки, и Мишуткина похлёбка ей показалась лучше всех.

Девочка захотела сесть и видит у стола три стула: один большой — Михайлы Иванычев, другой поменьше — Настасьи Петровнин и третий маленький, с синенькой подушечкой,— Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала, потом села на средний стул, на нём было неловко, потом села на маленький стульчик и засмеялась — так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колена и стала есть. Поела всю похлёбку и стала качаться на стуле.

Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую

горницу. Там стояли три кровати: одна большая — Михайлы Иванычева, другая средняя — Настасьи Петровнина, третья маленькая — Мишенькина.

Девочка легла в большую — ей было слишком просторно; легла в среднюю — было слишком высоко; легла в маленькую — кроватка пришлась ей как раз впору, и она заснула.

А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом:

— КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ?

Настасья Петровна посмотрела свою чашку и зарычала не так громко:

— КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ?

А Мишутка увидал свою пустую чашечку и запищал тонким голосом:

— КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ И ВСЁ ВЫХЛЕБАЛ?

Михайло Иваныч взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом:

— КТО СИДЕЛ НА МОЁМ СТУЛЕ И СДВИНУЛ ЕГО С МЕСТА?

Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко:

— КТО СИДЕЛ НА МОЁМ СТУЛЕ И СДВИНУЛ ЕГО С МЕСТА?

Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал:

— КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СЛОМАЛ ЕГО?

Медведи пришли в другую горницу.

— КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ

И СМЯЛ ЕЁ? — заревел Михайло Иваныч страшным голосом.

— КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ И СМЯЛ ЕЁ? — зарычала Настасья Петровна не так громко.

А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тонким голосом:

— КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ?

И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут:

— ВОТ ОНА! ДЕРЖИ! ДЕРЖИ! ВОТ ОНА! ВОТ ОНА! АЙ-ЯЙ-ЯЙ! ДЕРЖИ!

Он хотел её укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Окно было открыто, она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали её.

ДВА ТОВАРИЩА

Шли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь. Один бросился бежать, влез на дерево и спрятался, а другой остался на дороге. Делать ему было нечего — он упал наземь и притворился мёртвым.

Медведь подошёл к нему и стал нюхать — он и дышать перестал.

Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мёртвый, и отошёл.

Когда медведь ушёл, тот слез с дерева и смеётся.

— Ну что,— говорит,— медведь тебе на ухо говорил?

— А он сказал мне, что плохие люди те, которые в опасности от товарищей убегают.

КОСТОЧКА

Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на тарелке. Ваня никогда не ел слив и всё нюхал их. И очень они ему нравились. Очень хотелось съесть. Он всё ходил мимо слив. Когда никого не было в горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел.

Перед обедом мать сочла сливы и видит: одной нет. Она сказала отцу.

За обедом отец и говорит: «А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу?» Все сказали: «Нет». Ваня покраснел как рак и сказал тоже: «Нет, я не ел».

Тогда отец сказал: «Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в том беда. Беда в том, что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, то через день умрёт. Я этого боюсь».

Ваня побледнел и сказал: «Нет, я косточку бросил за окошко».

И все засмеялись, а Ваня заплакал.

ТЕТЕРЕВ И ЛИСА

Тетерев сидел на дереве. Лисица подошла к нему и говорит:

— Здравствуй, тетеревочек, мой дружочек, как услышала твой голосочек, так и пришла тебя проведать.

— Спасибо на добром слове,— сказал тетерев.

Лисица притворилась, что не расслышит, и говорит:

— Что говоришь? Не слышу. Ты бы, тетеревочек, мой дружочек, сошёл на травушку погулять, поговорить со мной, а то я с дерева не расслышу.

Тетерев сказал:

— Боюсь я сходить на траву. Нам, птицам, опасно ходить по земле.

— Или ты меня боишься? — сказала лисица.

— Не тебя, так других зверей боюсь,— сказал тетерев.— Всякие звери бывают.

— Нет, тетеревочек, мой дружочек, нынче указ объявлен, чтобы по всей земле мир был. Нынче уж звери друг друга не трогают.

— Вот это хорошо,— сказал тетерев,— а то вот собаки бегут; кабы по-старому, тебе бы уходить надо, а теперь тебе бояться нечего.

Лисица услыхала про собак, навострила уши и хотела бежать.



— Куда же ты? — сказал тетерев.— Ведь нынче указ, собаки не тронут.

— А кто их знает! — сказала лисица.— Может, они указа не слыхали.

И убежала.

СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ

Басня

Мышка вышла гулять. Ходила по двору и пришла опять к матери.

— Ну, матушка, я двух зверей видела. Один страшный, а другой добрый.



Мать сказала:

— Скажи, какие это звери?

Мышка сказала:

— Один, страшный, ходит по двору вот этак: ноги у него чёрные, хохол красный, глаза навыкате, а нос крючком. Когда я мимо шла, он открыл пасть, ногу поднял и стал кричать так громко, что я от страха не знала, куда уйти.

— Это петух,— сказала старая мышь.— Он зла никому не делает, его не бойся. Ну, а другой зверь?

— Другой лежал на солнышке и грелся. Шейка у него белая, ножки серые, гладкие,

сам лижет свою белую грудку и хвостиком чуть движет, на меня глядит.

Старая мышь сказала:

— Дура ты, дура. Ведь это сам кот.

СОБАКА ЯКОВА

У одного караульщика были жена и двое детей: мальчик и девочка. Мальчику было семь лет, а девочке было пять лет. У них была лохматая собака с белой мордой и большими глазами.

Один раз караульщик пошёл в лес и велел жене не пускать детей из дома, потому что волки всю ночь ходили около дома и бросались на собаку. Жена сказала:

— Дети, не ходите в лес,— а сама села работать.

Когда мать села работать, мальчик сказал своей сестре:

— Пойдём в лес, я вчера видел яблоню, и на ней поспели яблоки.

Девочка сказала:

— Пойдём.

И они побежали в лес. Когда мать кончила работать, она позвала детей, но их не было. Она вышла на крыльцо и стала кликать их. Детей не было. Муж пришёл домой и спросил:

— Где дети?



Жена сказала, что она не знает. Тогда караульщик рассердился на жену и побежал искать детей.

Вдруг он услыхал, что визжит собака. Он побежал туда и увидал, что дети сидят под кустом и плачут, а волк сцепился с собакой и грызёт ее. Караульщик схватил топор и убил волка. Потом взял детей на руки и побежал с ними домой.

Когда они пришли домой, мать заперла дверь и они сели обедать. Вдруг они услыхали, что собака визжит у двери. Они вышли на двор и хотели впустить собаку в дом, но собака была вся в крови и не могла ходить. Дети

принесли ей воды и хлеба. Но она не хотела ни пить, ни есть и только лизала им руки. Потом она легла на бок и перестала визжать. Дети думали, что собака заснула, а она умерла.

КОТЁНОК

Были брат и сестра — Вася и Катя, и у них была кошка. Весной кошка пропала. Дети искали её везде, но не могли найти. Один раз они играли подле амбара и услыхали: над головой кто-то мяучит тонкими голосами. Вася влез по лестнице под крышу амбара. А Катя стояла внизу и всё спрашивала: «Нашёл? Нашёл?»

Но Вася не отвечал ей. Наконец Вася закричал ей:

— Нашёл! наша кошка... и у неё котята, какие чудесные; иди сюда скорее!

Катя побежала домой, достала молока и принесла кошке.

Котят было пять. Когда они выросли немножко и стали вылезать из-под угла, где вывелись, дети выбрали себе одного котёнка, серого с белыми лапками, и принесли в дом. Мать раздала всех остальных котят, а этого оставила детям. Дети кормили его, играли с ним и клали с собой спать.

Один раз дети пошли играть на дорогу и взяли с собой котёнка.

Ветер шевелил солому по дороге, а котёнок



играл с соломой, и дети радовались на него. Потом они нашли подле дороги щавель, пошли собирать его и забыли про котёнка.

Вдруг они услыхали, что кто-то громко кричит: «Назад, назад!», и увидали, что скачет охотник, а впереди его две собаки — увидали котёнка и хотят схватить его. А котёнок, глупый, вместо того чтобы бежать, присел к земле, сгорбил спину и смотрит на собак. Катя испугалась собак, закричала и побежала прочь от них. А Вася что было духу пустился к котёнку и в одно время с собаками подбежал к нему. Собаки хотели схватить котёнка, но Вася упал животом на котёнка и закрыл его от собак.

Охотник подскакал и отогнал собак, а Вася принёс домой котёнка и уж больше не брал его с собой в поле.

ЛИПУНЮШКА

Жил старик со старухою. У них не было детей. Старик поехал в поле пахать, а старуха осталась дома блины печь. Старуха напекла блинов и говорит:

— Если бы был у нас сын, он бы отцу блинов отнёс; а теперь с кем я пошлю?

Вдруг из хлопка вылез маленький сыночек и говорит:

— Здравствуй, матушка!

А старуха и говорит:

— Откуда ты, сыночек, взялся и как тебя звать?

А сыночек и говорит:

— Ты, матушка, отпряла хлопочек и положила в столбочек, я там и вывелся. А звать меня Липунюшкой. Дай, матушка, я отнесу блинов батюшке.

Старуха и говорит:

— Ты донесёшь ли, Липунюшка?

— Донесу, матушка...

Старуха завязала блины в узелок и дала сыночку. Липунюшка взял узел и побежал в поле.



В поле попалась ему на дороге кочка, он и кричит:

— Батюшка, батюшка, пересади меня через кочку! Я тебе блинов принёс.

Старик услыхал с поля: кто-то его зовёт,— пошёл к сыну навстречу, пересадил его через кочку и говорит:

— Откуда ты, сынок?

А мальчик говорит:

— Я, батюшка, в хлопочке вывелся,— и подал отцу блинов.

Старик сел завтракать, а мальчик говорит:

— Дай, батюшка, я буду пахать.

А старик говорит:

— У тебя силы недостанет пахать.

А Липунюшка взялся за соху и стал пахать. Сам пашет, и сам песни поёт.

Ехал мимо этого поля барин и увидал, что старик сидит завтракает, а лошадь одна пашет. Барин вышел из кареты и говорит старику:

— Как это у тебя, старик, лошадь одна пашет?

А старик говорит:

— У меня там мальчик пашет, он и песни поёт.

Барин подошёл ближе, услыхал песни и увидал Липунюшку.

Барин и говорит:

— Старик! Продай мне мальчика.

А старик говорит:

— Нет, мне нельзя продать, у меня один только и есть.

А Липунюшка говорит старику:

— Продай, батюшка, я убегу от него.

Мужик и продал мальчика за сто рублей. Барин отдал деньги, взял мальчика, завернул его в платочек и положил в карман. Барин приехал домой и говорит жене:

— Я тебе радость привёз.

А жена говорит:

— Покажи, что такое?

Барин достал платочек из кармана, развернул его, а в платочке ничего нету. Липунюшка уж давно к отцу убежал.

СЛОН

У одного индейца был слон. Хозяин дурно кормил его и заставлял много работать. Один раз слон рассердился и наступил ногою на своего хозяина. Индеец умер.

Тогда жена индейца заплакала, принесла своих детей к слону и бросила их слону под ноги. Она сказала:

— Слон! Ты убил отца, убей и их.

Слон посмотрел на детей, взял хоботом старшего, потихоньку поднял и посадил его к себе на шею. И слон стал слушаться этого мальчика и работать для него.

ПОЖАРНЫЕ СОБАКИ

Бывает часто, что в городах на пожарах остаются дети в домах и их нельзя вытащить, потому что они от испуга спрячутся и молчат, а от дыма нельзя их рассмотреть. Для этого в Лондоне[1] приучены собаки. Собаки эти живут с пожарными, и когда загорится дом, то пожарные посылают собак вытаскивать детей. Одна такая собака в Лондоне спасла двенадцать детей, её звали Боб.

[1] Лондон — главный город Англии.



Один раз загорелся дом. И когда пожарные приехали к дому, к ним выбежала женщина. Она плакала и говорила, что в доме осталась двухлетняя девочка. Пожарные послали Боба. Боб побежал по лестнице и скрылся в дыму. Через пять минут он выбежал из дома и в зубах за рубашку нёс девочку. Мать бросилась к дочери и плакала от радости, что дочь была жива. Пожарные ласкали собаку и осматривали её — не обгорела ли она; но Боб рвался опять в дом. Пожарные подумали, что в доме ещё есть что-нибудь живое, и пустили его. Собака побежала в дом и скоро выбежала с чем-

то в зубах. Когда народ рассмотрел то, что она несла, то все расхохотались: она несла большую куклу.

КАК МЕДВЕДЯ ПОЙМАЛИ

В Нижегородской губернии[1] много медведей. Мужики ловят маленьких медвежат, выкармливают их и учат плясать. Потом они водят медведей показывать. Один водит его, а другой наряжается в козу, пляшет и бьёт в барабан. Один мужик привёл медведя на ярмарку. С ним вместе ходил его племянник с козой и барабаном. На ярмарке было много народа, и все смотрели на медведя и давали мужику деньги. Вечером мужик подвёл своего медведя к кабаку. И заставил его плясать. Мужику дали ещё денег и дали вина. Он выпил вина и дал выпить своему товарищу. И медведю дал выпить целый стакан вина. Когда пришла ночь, мужик с племянником и медведем пошли ночевать в поле, потому что все боялись пустить к себе на двор медведя. Мужик с племянником и медведем вышли за деревню и легли спать под дерево. Мужик привязал цепь медведя себе за пояс и лёг. Он был немного пьян и скоро заснул. Племянник его тоже заснул. И они спали так

[1] Ныне — Горьковская область.

крепко, что до утра ни разу не проснулись. Утром мужик проснулся и увидал, что медведя подле него не было. Он разбудил племянника и побежал с ним отыскивать медведя. Трава была высокая. И по траве виден был след медведя. Он через поле прошёл в лес. Мужики побежали за ним. Лес был частый, так что трудно было идти через него. Племянник сказал:

— Дядя, мы не найдём медведя. А и найдём, не поймаем его. Вернёмся назад.

Но мужик не согласился. Он сказал:

— Медведь нас кормит, и, если мы не найдём его, мы пойдём по миру. Я не вернусь назад, а из последних сил буду искать его.

Они пошли дальше и к вечеру пришли на поляну. Стало смеркаться. Мужики устали и сели отдохнуть. Вдруг они услыхали, что близко от них что-то гремит цепью. Мужик вскочил и потихоньку сказал:

— Это он. Надо подкрасться и поймать его.

Он пошёл к той стороне, где гремела цепь, и увидал медведя. Медведь лапами тянул за цепь и хотел скинуть с себя привязку. Когда он увидал мужика, он страшно заревел и оскалил зубы. Племянник испугался и хотел бежать, но мужик схватил его за руку, с ним вместе пошли к медведю.

Медведь зарычал ещё громче и побежал в лес. Мужик видел, что он не поймает его. Тогда



он велел племяннику надеть козу, и плясать, и бить в барабан, а сам стал кричать на медведя таким голосом, каким он кричал, когда показывал его. Медведь вдруг остановился в кустах, прислушался к голосу хозяина, поднялся на задние лапы и стал кружиться. Мужик ещё ближе подошёл к нему и всё кричал. А племянник всё плясал и бил в барабан. Когда мужик уже близко подошёл к медведю, он вдруг бросился к нему и схватил его за цепь. Тогда медведь зарычал и бросился бежать, но мужик уже не пустил его и опять стал водить его и показывать.

ЛЕВ И СОБАЧКА

В Лондоне показывали диких зверей и за смотрение брали деньгами или собаками и кошками: на корм диким зверям.

Одному человеку захотелось поглядеть зверей; он ухватил на улице собачонку и принёс её в зверинец. Его впустили смотреть, а собачонку взяли и бросили в клетку к льву на съедение.

Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошёл к ней и понюхал её.

Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком.

Лев тронул её лапой и перевернул.

Собачка вскочила и стала перед львом на задние лапки.

Лев смотрел на собачку, поворачивал голову со стороны на сторону и не трогал её.

Когда хозяин бросил льву мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке.

Вечером, когда лев лёг спать, собачка легла подле него и положила свою голову ему на лапу.

С тех пор собачка жила в одной клетке со львом. Лев не трогал её, ел корм, спал с ней вместе, а иногда играл с ней.

Один раз барин пришёл в зверинец и узнал свою собачку; он сказал, что собачка его собственная, и попросил хозяина зверинца отдать ему. Хозяин хотел отдать, но, как только стали



звать собачку, чтобы взять её из клетки, лев ощетинился и зарычал.

Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке.

Через год собачка заболела и издохла.

Лев перестал есть, а всё нюхал, лизал собачку и трогал её лапой.

Когда он понял, что она умерла, он вдруг вспрыгнул, ощетинился, стал хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть засовы и пол.

Целый день он бился, метался по клетке и ревел, потом лёг подле мёртвой собачки и

затих. Хозяин хотел унести мёртвую собачку, но лев никого не подпускал к ней.

Хозяин думал, что лев забудет своё горе, если ему дать другую собачку, и пустил к нему в клетку живую собачку; но лев тотчас разорвал её на куски. Потом он обнял своими лапами мёртвую собачку и так лежал пять дней.

На шестой день лев умер.

ЛГУН

Мальчик стерёг овец и, будто увидав волка, стал звать: «Помогите, волк! волк!» Мужики прибежали и видят: неправда. Как сделал он так и два, и три раза, случилось — и вправду набежал волк. Мальчик стал кричать: «Сюда, сюда, скорей, волк!» Мужики подумали, что опять по-всегдашнему обманывает,— не послушали его. Волк видит, бояться нечего: на просторе перерезал всё стадо.

ПТИЧКА

Был Серёжа именинник, и много ему разных подарили подарков: и волчки, и кони, и картинки. Но дороже всех подарков подарил дядя Серёже сетку, чтоб птиц ловить. Сетка сделана так, что на рамке приделана дощечка

и сетка откинута. Насыпать семя на дощечку и выставить на двор. Прилетит птичка, сядет на дощечку, дощечка подвернётся, и сетка сама захлопнется. Обрадовался Серёжа, прибежал к матери показать сетку. Мать говорит:

— Нехороша игрушка. На что тебе птички? Зачем ты их мучить будешь?

— Я их в клетки посажу. Они будут петь, я их буду кормить!

Достал Серёжа семя, насыпал на дощечку и выставил сетку в сад. И всё стоял, ждал, что птички прилетят. Но птицы его боялись и не летели на сетку. Пошёл Серёжа обедать и сетку оставил. Поглядел после обеда — сетка захлопнулась и под сеткой бьётся птичка. Серёжа обрадовался, поймал птичку и понёс домой.

— Мама! посмотрите, я птичку поймал, это, верно, соловей! И как у него сердце бьётся!

Мать сказала:

— Это чиж. Смотри же, не мучай его, а лучше пусти.

— Нет, я его кормить и поить буду.

Посадил Серёжа чижа в клетку и два дня сыпал ему семя, и ставил воду, и чистил клетку. На третий день он забыл про чижа и не переменил ему воду. Мать ему и говорит:

— Вот видишь, ты забыл про свою птичку, лучше пусти её.

— Нет, я не забуду, я сейчас поставлю воды и вычищу клетку.



Засунул Серёжа руку в клетку, стал чистить, а чижик испугался, бьётся об клетку. Серёжа вычистил клетку и пошёл за водой. Мать увидала, что он забыл закрыть клетку, и кричит ему:

— Серёжа, закрой клетку, а то вылетит и убьётся твоя птичка!

Не успела она сказать, чижик нашёл дверку, обрадовался, распустил крылышки и полетел через горницу к окошку, да не видал стекла, ударился о стекло и упал на подоконник.

Прибежал Серёжа, взял птичку, понёс её в клетку. Чижик был ещё жив, но лежал на груди,

распустивши крылышки, и тяжело дышал. Серёжа смотрел-смотрел и начал плакать.

— Мама! что мне теперь делать?

— Теперь ничего не сделаешь.

Серёжа целый день не отходил от клетки и всё смотрел на чижика, а чижик всё так же лежал на грудке и тяжело и скоро дышал. Когда Серёжа пошёл спать, чижик ещё был жив. Серёжа долго не мог заснуть: всякий раз, как закрывал глаза, ему представлялся чижик, как он лежит и дышит.

Утром, когда Серёжа подошёл к клетке, он увидел, что чиж уже лежит на спинке, поджал лапки и закостенел. С тех пор Серёжа никогда не ловил птиц.

ДВА БРАТА

Два брата пошли вместе путешествовать. В полдень они легли отдохнуть в лесу. Когда они проснулись, то увидали: подле них лежит камень и на камне что-то написано. Они стали разбирать и прочли:

«Кто найдёт этот камень, тот пускай идёт прямо в лес, на восход солнца. В лесу придёт река: пускай плывёт через эту реку на другую сторону. Увидишь медведицу с медвежатами; отними медвежат у медведицы и беги без оглядки прямо в гору. На горе увидишь дом и в доме том найдёшь счастие».



Братья прочли, что было написано, и меньшой сказал:

— Давай пойдём вместе. Может быть, мы переплывём эту реку, донесём медвежат до дому и вместе найдём счастие.

Тогда старший сказал:

— Я не пойду в лес за медвежатами и тебе не советую. Первое дело: никто не знает — правда ли написана на этом камне; может быть, всё это написано на смех. Да может быть, мы и не так разобрали. Второе: если и правда написана — пойдём мы в лес, придёт ночь, мы не попадём на реку и заблудимся. Да если и найдём реку, как мы переплывём её? Может

быть, она быстра и широка? Третье: если и переплывём реку — разве лёгкое дело отнять у медведицы медвежат; она нас задерёт, и мы вместо счастия пропадём ни за что. Четвёртое дело: если нам и удастся унести медвежат, мы не добежим без отдыха в гору. Главное же дело, не сказано: какое счастие мы найдём в этом доме? Может быть, нас там ждёт такое счастье, какого нам вовсе не нужно.

А меньшой сказал:

— По-моему, не так. Напрасно этого писать на камне не стали бы. И всё написано ясно. Первое дело: нам беды не будет, если и попытаемся. Второе дело: если мы не пойдём, кто-нибудь другой прочтёт надпись на камне и найдёт счастие, а мы останемся ни при чём. Третье дело: не потрудиться да не поработать — ничто в свете не радует. Четвёртое: не хочу я, чтоб подумали, что я чего-нибудь да побоялся.

Тогда старший сказал:

— И пословица говорит: искать большого счастия — малое потерять; да ещё: не сули журавля в небе, а дай синицу в руки.

А меньшой сказал:

— А я слыхал: волков бояться — в лес не ходить; да ещё: под лежачий камень вода не потечёт. По мне, надо идти.

Меньшой брат пошёл, а старший остался.

Как только меньшой брат вошёл в лес, он напал на реку, переплыл её и тут же на берегу

увидал медведицу. Она спала. Он ухватил медвежат и побежал без оглядки на гору. Только что добежал доверху, выходит ему навстречу народ, подвезли ему карету, повезли в город и сделали царём.

Он царствовал пять лет. На шестой год пришёл на него войной другой царь, сильнее его; завоевал город и прогнал его. Тогда меньшой брат пошёл опять странствовать и пришёл к старшему брату.

Старший брат жил в деревне ни богато ни бедно. Братья обрадовались друг другу и стали рассказывать про свою жизнь. Старший брат и говорит:

— Вот и вышла моя правда: я всё время жил тихо и хорошо, а ты хошь и был царём, зато много горя видел.

А меньшой сказал:

— Я не тужу, что пошёл тогда в лес на гору; хоть мне и плохо теперь, зато есть чем помянуть мою жизнь, а тебе и помянуть-то нечем.

ОРЁЛ

Орёл свил себе гнездо на большой дороге, вдали от моря, и вывел детей.

Один раз подле дерева работал народ, а орёл подлетал к гнезду с большой рыбой в когтях. Люди увидали рыбу, окружили дерево, стали кричать и бросать в орла каменьями.



Орёл выронил рыбу, а люди подняли её и ушли.

Орёл сел на край гнезда, а орлята подняли свои головы и стали пищать: они просили корма.

Орёл устал и не мог лететь опять на море; он спустился в гнездо, прикрыл орлят крыльями, ласкал их, оправлял им пёрышки и как будто просил их, чтобы они подождали немного. Но чем больше он их ласкал, тем громче они пищали. Тогда орёл отлетел от них и сел на верхний сук дерева.

Орлята засвистали и запищали ещё жалобнее.

Тогда орёл вдруг сам громко закричал, расправил крылья и тяжело полетел к морю.

Он вернулся только поздно вечером; он летел тихо и низко над землёю, в когтях у него опять была большая рыба.

Когда он подлетал к дереву, он оглянулся — нет ли опять вблизи людей, быстро сложил крылья и сел на край гнезда.

Орлята подняли головы и разинули рты, а орёл разорвал рыбу и накормил детей.

АКУЛА

Наш корабль стоял на якоре у берега Африки. День был прекрасный; с моря дул свежий ветер; но к вечеру погода изменилась: стало душно, и точно из топленой печки несло на нас горячим воздухом с пустыни Сахары. Перед закатом солнца капитан вышел на палубу, крикнул: «Купаться!», и в одну минуту матросы попрыгали в воду, спустили в воду парус, привязали его и в парусе устроили купальню.

На корабле с нами было два мальчика. Мальчики первые попрыгали в воду, но им тесно было в парусе, и они вздумали плавать наперегонки в открытом море.

Оба как ящерицы вытягивались в воде и что было силы поплыли к тому месту, где был бочонок над якорем.



Один мальчик сначала перегнал товарища, но потом стал отставать. Отец мальчика, старый артиллерист, стоял на палубе и любовался на своего сынишку. Когда сын стал отставать, отец крикнул ему:

— Не выдавай! Понатужься!

Вдруг с палубы кто-то крикнул: «Акула!», и все мы увидали в воде спину морского чудовища.

Акула плыла прямо на мальчиков.

— Назад! Назад! Вернитесь! Акула! — закричал артиллерист.

Но ребята не слыхали его, плыли дальше, смеялись и кричали ещё веселее и громче преж-

него. Артиллерист, бледный как полотно, не шевелясь смотрел на детей.

Матросы спустили лодку, бросились в неё и, сгибая вёсла, понеслись что было силы к мальчикам, но они были ещё далеко от них, когда акула уже была не дальше двадцати шагов.

Мальчики сначала не слыхали того, что им кричали, и не видали акулы; но потом один из них оглянулся, и мы все услыхали пронзительный визг, и мальчики поплыли в разные стороны. Визг этот как будто разбудил артиллериста. Он сорвался с места и побежал к пушкам. Он повернул хобот, прилёг к пушке, прицелился и взял фитиль.

Мы все, сколько нас ни было на корабле, замерли от страха и ждали, что будет.

Раздался выстрел, и мы увидали, что артиллерист упал подле пушки и закрыл лицо руками. Что сделалось с акулой и с мальчиками, мы не видали, потому что на минуту дым застлал нам глаза. Но когда дым разошёлся над водою, со всех сторон послышался сначала тихий ропот, потом ропот этот стал сильнее, и, наконец, со всех сторон раздался громкий радостный крик.

Старый артиллерист открыл лицо, поднялся и посмотрел на море.

По волнам колыхалось жёлтое брюхо мёртвой акулы. В несколько минут лодка подплыла к мальчикам и привезла их на корабль.

ПРЫЖОК

Один корабль обошёл вокруг света и возвращался домой. Была тихая погода, весь народ был на палубе. Посреди народа вертелась большая обезьяна и забавляла всех. Обезьяна эта корчилась, прыгала, делала смешные рожи, передразнивала людей, и видно было, она знала, что ею забавляются, и оттого ещё больше расходилась.

Она подпрыгнула к двенадцатилетнему мальчику, сыну капитана корабля, сорвала с его головы шляпу, надела и живо взобралась на мачту. Все засмеялись, а мальчик остался без шляпы и сам не знал, смеяться ли ему или плакать.

Обезьяна села на первой перекладине мачты, сняла шляпу и стала зубами и лапами рвать её. Она как будто дразнила мальчика, показывала на него и делала ему рожи. Мальчик погрозил ей и крикнул на неё, но она ещё злее рвала шляпу. Матросы громче стали смеяться, а мальчик покраснел, скинул куртку и бросился за обезьяной на мачту. В одну минуту он взобрался по верёвке на первую перекладину; но обезьяна ещё ловчее и быстрее его в ту самую минуту, как он думал схватить шляпу, взобралась ещё выше.

— Так не уйдёшь же ты от меня! — закричал мальчик и полез выше.

Обезьяна опять подманила его, полезла ещё



выше, но мальчика уже разобрал задор, и он не отставал. Так обезьяна и мальчик в одну минуту добрались до самого верха. На самом верху обезьяна вытянулась во всю длину и, зацепившись задней рукой [1] за верёвку, повесила шляпу на край последней перекладины, а сама взобралась на макушку мачты и оттуда корчилась, показывала зубы и радовалась. От мачты до конца перекладины, где висела шляпа, было аршина два, так что достать её нельзя было иначе, как выпустить из рук верёвку и мачту.

[1] Обезьяны могут брать предметы и задней конечностью, поэтому их часто называют четверорукими.

Но мальчик очень раззадорился. Он бросил мачту и ступил на перекладину.

На палубе все смотрели и смеялись тому, что выделывали обезьяна и капитанский сын; но, как увидали, что он пустил верёвку и ступил на перекладину, покачивая руками, все замерли от страха.

Стоило ему только оступиться — и он бы вдребезги разбился об палубу. Да если б даже он и не оступился, а дошёл до края перекладины и взял шляпу, то трудно было ему повернуться и дойти назад до мачты.

Все молча смотрели на него и ждали, что будет.

Вдруг в народе кто-то ахнул от страха.

Мальчик от этого крика опомнился, глянул вниз и зашатался.

В это время капитан корабля, отец мальчика, вышел из каюты. Он нёс ружьё, чтобы стрелять чаек. Он увидал сына на мачте и тотчас же прицелился в сына и закричал:

— В воду! Прыгай сейчас в воду! Застрелю!

Мальчик шатался, но не понимал.

— Прыгай, или застрелю!.. Раз, два...

И как только отец крикнул «три» — мальчик размахнулся головой вниз и прыгнул.

Точно пушечное ядро шлёпнуло тело мальчика в море, и не успели волны закрыть его, как уже двадцать молодцов матросов спрыгнули с корабля в море. Секунд через сорок — они долги показались всем — вынырнуло тело маль-

чика. Его схватили и вытащили на корабль. Через несколько минут у него изо рта и из носа полилась вода, и он стал дышать.

Когда капитан увидал это, он вдруг закричал, как будто его что-то душило, и убежал к себе в каюту, чтоб никто не видал, как он плачет.

КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК

Быль

I

Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин.

Пришло ему раз письмо из дома. Пишет ему старуха мать:

«Стара я уж стала, и хочется перед смертью повидать любимого сынка. Приезжай со мной проститься, похорони, а там и с богом поезжай опять на службу. А я тебе и невесту приискала: и умная, и хорошая, и именье есть. Полюбится тебе — может, и женишься, и совсем останешься».

Жилин и раздумался: «И в самом деле, плоха уж старуха стала, может, и не придётся увидать. Поехать; а если невеста хороша — и жениться можно».

Пошёл он к полковнику, выправил отпуск,

простился с товарищами, поставил своим солдатам четыре ведра водки на прощанье и собрался ехать.

На Кавказе тогда война была. По дорогам ни днём ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отъедет или отойдёт от крепости, татары [1] или убьют, или уведут в горы. И было заведено, что два раза в неделю из крепости в крепость ходили провожатые солдаты. Спереди и сзади идут солдаты, а в середине едет народ.

Дело было летом. Собрались на зорьке обозы за крепость, вышли провожатые солдаты, и тронулись по дороге. Жилин ехал верхом, и телега его с вещами шла в обозе.

Ехать было двадцать пять вёрст. Обоз шёл тихо: то солдаты остановятся, то в обозе колесо у кого соскочит или лошадь станет, и все стоят — дожидаются.

Солнце уже и за полдни перешло, а обоз только половину дороги прошёл. Пыль, жара, солнце так и печёт, и укрыться негде. Голая степь: ни деревца, ни кустика по дороге.

Выехал Жилин вперёд, остановился и ждёт, пока подойдёт к нему обоз. Слышит, сзади на рожке заиграли — опять стоять. Жилин и подумал: «А не уехать ли одному, без солдат?

---

[1] Татарами в те времена называли горцев Северного Кавказа, которые подчинялись законам мусульманской веры (религии).

Лошадь подо мной добрая, если и нападусь на татар — ускачу. Или не ездить?..»

Остановился, раздумывает. И подъезжает к нему на лошади другой офицер — Костылин, с ружьём, и говорит:

— Поедем, Жилин, одни. Мочи нет, есть хочется, да и жара. На мне рубаху хоть выжми.— А Костылин — мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льёт. Подумал Жилин и говорит:

— А ружьё заряжено?

— Заряжено.

— Ну так поедем. Только уговор — не разъезжаться...

И поехали они вперёд по дороге. Едут степью, разговаривают да поглядывают по сторонам. Кругом далеко видно.

Только кончилась степь, вошла дорога промеж двух гор в ущелье. Жилин и говорит:

— Надо выехать на гору поглядеть, а то тут, пожалуй, выскочат из горы — и не увидишь.

А Костылин говорит:

— Что смотреть? Поедем вперёд.

Жилин не послушал его.

— Нет,— говорит,— ты подожди внизу, а я только взгляну.— И пустил лошадь налево, на гору. Лошадь под Жилиным была охотницкая (он за неё сто рублей заплатил в табуне жеребёнком и сам выездил), как на крыльях взнесла

его на кручь. Только выскакал — глядь, а перед самым им, на десятину[1] места, стоят татары верхами. Человек тридцать. Он увидал, стал назад поворачивать; и татары его увидали, пустились к нему, сами на скаку выхватывают ружья из чехлов. Припустил Жилин под кручь во все лошадиные ноги, кричит Костылину:

— Вынимай ружьё! — а сам думает на лошадь свою: «Матушка, вынеси, не зацепись ногой; спотыкнёшься — пропал. Доберусь до ружья, я и сам не дамся».

А Костылин, заместо того чтобы подождать, только увидал татар, закатился что есть духу к крепости. Плетью ожаривает лошадь то с того бока, то с другого. Только в пыли видно, как лошадь хвостом вертит.

Жилин видит — дело плохо. Ружьё уехало, с одной шашкой ничего не сделаешь. Пустил он лошадь назад, к солдатам, думал уйти. Видит — ему наперерез катят шестеро. Под ним лошадь добрая, а под теми ещё добрее, да и наперерез скачут.

Стал он окорачивать, хотел назад поворотить, да уже разнеслась лошадь — не удержит, прямо на них летит. Видит — близится к нему с красной бородой татарин на сером коне. Визжит, зубы оскалил, ружьё наготове.

«Ну,— думает Жилин,— знаю вас, чертей:

[1] Десятина — мера земли, немного более гектара.



если живого возьмут, посадят в яму, будут плетью пороть. Не дамся же живой...»

А Жилин хоть не велик ростом, а удал был. Выхватил шашку, пустил лошадь прямо на красного татарина, думает: «Либо лошадью сомну, либо срублю шашкой».

На лошадь места не доскакал Жилин — выстрелили по нём сзади из ружей и попали в лошадь. Ударилась лошадь оземь со всего маху — навалилась Жилину на ногу.

Хотел он подняться, а уж на нём два татарина вонючие сидят, крутят ему назад руки. Рванулся он, скинул с себя татар, да ещё соскакали с коней трое на него, начали бить прикладами по голове. Помутилось у него в глазах, и зашатался. Схватили его татары, сняли с сёдел подпруги запасные, закрутили ему руки за спину, завязали татарским узлом, поволокли к седлу. Шапку у него сбили, сапоги стащили, всё обшарили — деньги, часы вынули, платье всё изорвали. Оглянулся Жилин на свою лошадь. Она, сердечная, как упала на бок, так и лежит, только бьётся ногами — до земли не достаёт; в голове дыра, а из дыры так и свищет кровь чёрная — на аршин кругом пыль смочила.

Один татарин подошёл к лошади, стал седло снимать — она всё бьётся; он вынул кинжал, прорезал ей глотку. Засвистело из горла, трепенулась — и пар вон.

Сняли татары седло, сбрую. Сел татарин

с красной бородой на лошадь, а другие подсадили Жилина к нему на седло, а чтобы не упал, притянули его ремнём за пояс к татарину и повезли в горы.

Сидит Жилин за татарином, покачивается, тычется лицом в вонючую татарскую спину. Только и видит перед собой здоровенную татарскую спину, да шею жилистую, да бритый затылок из-под шапки синеется. Голова у Жилина разбита, кровь запеклась под глазами. И нельзя ему ни поправиться на лошади, ни кровь обтереть. Руки так закручены, что в ключице ломит.

Ехали они долго на гору, переехали вброд реку, выехали на дорогу и поехали лощиной.

Хотел Жилин примечать дорогу, куда его везут, да глаза замазаны кровью, а повернуться нельзя.

Стало смеркаться; переехали ещё речку, стали подниматься по каменной горе, запахло дымом, забрехали собаки. Приехали в аул [1]. Послезли с лошадей татары, собрались ребята татарские, окружили Жилина, пищат, радуются, стали камнями пулять в него.

Татарин отогнал ребят, снял Жилина с лошади и кликнул работника. Пришёл ногаец [2], скуластый, в одной рубахе. Рубаха оборванная, вся грудь голая. Приказал что-то ему та-

[1] Аул — татарская деревня (прим. Л. Н. Толстого).
[2] Ногаец — горец, житель Дагестана.

тарин. Принёс работник колодку: два чурбака дубовых на железные кольца насажены, и в одном кольце пробойчик и замок.

Развязали Жилину руки, надели колодку и повели в сарай; толкнули его туда и заперли дверь. Жилин упал на навоз. Полежал, ощупал в темноте, где помягче, и лёг.

II

Почти всю ночь не спал Жилин. Ночи короткие были. Видит — в щёлке светиться стало. Встал Жилин, раскопал щёлку побольше, стал смотреть.

Видна ему из щёлки дорога — под гору идёт, направо сакля [1] татарская, два дерева подле ней. Собака чёрная лежит на пороге, коза с козлятами ходит — хвостиками подёргивают. Видит — из-под горы идёт татарка молоденькая, в рубахе цветной, распояской, в штанах и сапогах, голова кафтаном покрыта, а на голове большой кувшин жестяной с водой. Идёт, в спине подрагивает, перегибается, а за руку татарчонка ведёт бритого, в одной рубашонке. Прошла татарка в саклю с водой, вышел татарин вчерашний с красной бородой, в бешмете [2] в шелковом, на ремне кинжал серебряный, в башмаках на босу ногу. На го-

---

[1] Сакля — жилище кавказских горцев.
[2] Бешмет — верхняя одежда.

лове шапка высокая, баранья, чёрная, назад заломлена. Вышел, потягивается, бородку красную сам поглаживает. Постоял, велел что-то работнику и пошёл куда-то.

Проехали потом на лошадях двое ребят к водопою. У лошадей храп[1] мокрый. Выбежали ещё мальчишки бритые в одних рубашках, без порток, собрались кучкой, подошли к сараю, взяли хворостину и суют в щелку. Жилин как ухнет на них: завизжали ребята, закатились бежать прочь — только коленки голые блестят.

А Жилину пить хочется, в горле пересохло. Думает: «Хоть бы пришли проведать». Слышит — отпирают сарай. Пришёл красный татарин, а с ним другой, поменьше ростом, черноватенький. Глаза чёрные, светлые, румяный, бородка маленькая, подстрижена; лицо весёлое, всё смеётся. Одет черноватый ещё лучше: бешмет шёлковый, синий, галуночком[2] обшит. Кинжал на поясе большой, серебряный; башмачки красные, сафьянные, тоже серебром обшиты. А на тонких башмачках другие, толстые башмаки. Шапка высокая, белого барашка.

Красный татарин вошёл, проговорил что-то, точно ругается, и стал, облокотился на притолку, кинжалом пошевеливает, как волк исподлобья косится на Жилина. А черноватый —

---

[1] Храп — здесь: нижняя часть морды у лошади.
[2] Галунчик, галун — тесьма, нашивка золотого или серебряного цвета.

быстрый, живой, так весь на пружинах и ходит — подошёл прямо к Жилину, сел на корточки, оскаливается, потрепал его по плечу, что-то начал часто-часто по-своему лопотать, глазами подмигивает, языком прищёлкивает. Всё приговаривает:

— Корошо урус! корошо урус!

Ничего не понял Жилин и говорит:

— Пить, воды пить дайте.

Чёрный смеётся.

— Корош урус,— всё по-своему лопочет.

Жилин губами и руками показал, чтоб пить ему дали.

Чёрный понял, засмеялся, выглянул в дверь, кликнул кого-то:

— Дина!

Прибежала девочка, тоненькая, худенькая, лет тринадцати и лицом на чёрного похожа. Видно, что дочь. Тоже глаза чёрные, светлые, и лицом красивая. Одета в рубаху длинную, синюю, с широкими рукавами и без пояса. На полах, на груди и на рукавах оторочено красным. На ногах штаны и башмачки, а на башмачках — другие, с высокими каблуками, на шее монисто[1], всё из русских полтинников. Голова непокрытая, коса чёрная, и в косе лента, а на ленте привешаны бляхи и рубль серебряный.

---

[1] Монисто — ожерелье из бус, монет или цветных камней.

Велел ей что-то отец. Убежала и опять пришла, принесла кувшинчик жестяной. Подала воду, сама села на корточки, вся изогнулась так, что плечи ниже колен ушли. Сидит, глаза раскрыла, глядит на Жилина, как он пьёт,— как на зверя какого.

Подал ей Жилин назад кувшин. Как она прыгнет прочь, как коза дикая. Даже отец засмеялся. Послал её ещё куда-то. Она взяла кувшин, побежала, принесла хлеба пресного на дощечке круглой и опять села, изогнулась, глаз не спускает, смотрит.

Ушли татары, заперли опять двери. Погодя немного приходит к Жилину ногаец и говорит:

— Айда, хозяин, айда!

Тоже не знает по-русски. Только понял Жилин, что велит идти куда-то.

Пошёл Жилин с колодкой, хромает, ступить нельзя, так и воротит ногу в сторону. Вышел Жилин за ногайцем. Видит — деревня татарская, домов десять, и церковь ихняя, с башенкой. У одного дома стоят три лошади в сёдлах. Мальчишки держат в поводу. Выскочил из этого дома черноватый татарин, замахал рукой, чтоб к нему шёл Жилин. Сам смеётся, всё говорит что-то по-своему и ушёл в дверь. Пришёл Жилин в дом. Горница хорошая, стены глиной гладко вымазаны. В передней стене пуховики пёстрые уложены, по бокам висят ковры дорогие; на коврах ружья, пистолеты, шашки — всё в серебре. В одной стене печка маленькая

вровень с полом. Пол земляной, чистый как ток, и весь передний угол устлан войлоками; на войлоках ковры, а на коврах пуховые подушки. И на коврах в одних башмаках сидят татары: чёрный, красный и трое гостей. За спинами у всех пуховые подушки подложены, а перед ними на круглой дощечке блины просяные, и масло коровье распущено в чашке, и пиво татарское — буза — в кувшинчике. Едят руками, и руки все в масле.

Вскочил чёрный, велел посадить Жилина в сторонке, не на ковёр, а на голый пол; залез опять на ковёр, угощает гостей блинами и бузой. Посадил работник Жилина на место, сам снял верхние башмаки, поставил у двери рядком, где и другие башмаки стояли, и сел на войлок поближе к хозяевам, смотрит, как они едят, слюни утирает.

Поели татары блины, пришла татарка в рубахе такой же, как и девка, и в штанах; голова платком покрыта. Унесла масло, блины, подала лоханку хорошую и кувшин с узким носком. Стали мыть руки татары, потом сложили руки, сели на коленки, подули во все стороны и молитвы прочли. Поговорили по-своему. Потом один из гостей татар повернулся к Жилину, стал говорить по-русски.

— Тебя,— говорит,— взял Кази-Мугамет,— сам показывает на красного татарина,— и отдал тебя Абдул-Мурату,— показывает на черноватого.— Абдул-Мурат теперь твой хозяин.

Жилин молчит. Заговорил Абдул-Мурат и всё показывает на Жилина, и смеётся, и приговаривает:

— Солдат урус, корошо урус.

Переводчик говорит:

— Он тебе велит домой письмо писать, чтобы за тебя выкуп прислали. Как пришлют деньги, он тебя пустит.

Жилин подумал и говорит:

— А много ли он хочет выкупа?

Поговорили татары; переводчик и говорит:

— Три тысячи монет.

— Нет,— говорит Жилин,— я этого заплатить не могу.

Вскочил Абдул, начал руками махать, что-то говорит Жилину — всё думает, что он поймёт. Перевёл переводчик, говорит:

— Сколько же ты дашь?

Жилин подумал и говорит:

— Пятьсот рублей.

Тут татары заговорили часто, все вдруг. Начал Абдул кричать на красного, залопотал так, что слюни изо рта брызжут.

А красный только хмурится да языком пощёлкивает.

Замолчали они, переводчик говорит:

— Хозяину выкупа мало пятьсот рублей. Он сам за тебя двести рублей заплатил. Ему Кази-Мугамет был должен. Он тебя за долг взял. Три тысячи рублей, меньше нельзя пус-

тить. А не напишешь, в яму посадят, наказывать будут плетью.

«Эх,— думает Жилин,— с ними что робеть, то хуже».

Вскочил на ноги и говорит:

— А ты ему, собаке, скажи, что если он меня пугать хочет, так ни копейки ж не дам да и писать не стану. Не боялся да и не буду бояться вас, собак.

Пересказал переводчик, опять заговорили все вдруг.

Долго лопотали, вскочил чёрный, подошёл к Жилину.

— Урус,— говорит,— джигит, джигит урус!

Джигит по-ихнему значит «молодец». И сам смеётся; сказал что-то переводчику, а переводчик говорит:

— Тысячу рублей дай.

Жилин стал на своём:

— Больше пятисот рублей не дам. А убьёте — ничего не возьмёте.

Поговорили татары, послали куда-то работника, а сами то на Жилина, то на дверь поглядывают. Пришёл работник, и идёт за ним человек какой-то, высокий, толстый, босиком и ободранный; на ноге тоже колодка.

Так и ахнул Жилин — узнал Костылина. И его поймали. Посадили их рядом; стали они рассказывать друг другу, а татары молчат, смотрят. Рассказал Жилин, как с ним дело было; Костылин рассказал, что лошадь под ним

стала и ружьё осеклось и что этот самый Абдул нагнал его и взял.

Вскочил Абдул, показывает на Костылина, что-то говорит. Перевёл переводчик, что они теперь оба одного хозяина и кто прежде деньги даст, того прежде отпустят.

— Вот,— говорит Жилину,— ты всё серчаешь, а товарищ твой смирный; он написал письмо домой, пять тысяч монет пришлют. Вот его и кормить будут хорошо, и обижать не будут.

Жилин и говорит:

— Товарищ как хочет, он, может, богат, а я не богат. Я,— говорит,— как сказал, так и будет. Хотите — убивайте, пользы вам не будет, а больше пятисот рублей не напишу.

Помолчали. Вдруг как вскочит Абдул, достал сундучок, вынул перо, бумаги лоскут и чернила, сунул Жилину, хлопнул по плечу, показывает: «Пиши». Согласился на пятьсот рублей.

— Погоди ещё,— говорит Жилин переводчику,— скажи ты ему, чтоб он нас кормил хорошо, одел, обул как следует, чтоб держал вместе, нам веселее будет, и чтобы колодку снял.

Сам смотрит на хозяина и смеётся. Смеётся и хозяин. Выслушал и говорит:

— Одёжу самую лучшую дам: и черкеску и сапоги, хоть жениться. Кормить буду как князей. А коли хотят жить вместе, пускай жи-

вут в сарае. А колодку нельзя снять — уйдут. На ночь только снимать буду.— Подскочил, треплет по плечу: — Твоя хорош, моя хорош!

Написал Жилин письмо, а на письме не так написал, чтобы не дошло. Сам думает: «Я уйду».

Отвели Жилина с Костылиным в сарай, принесли им туда соломы кукурузной, воды в кувшине, хлеба, две черкески старые и сапоги истрёпанные солдатские. Видно, с убитых солдат стащили. На ночь сняли с них колодки и заперли в сарай.

III

Жил так Жилин с товарищем месяц целый. Хозяин всё смеётся. «Твоя, Иван, хорош — моя, Абдул, хорош». А кормил плохо — только и давал, что хлеб пресный из просяной муки, лепёшками печёный, а то и вовсе тесто непечёное.

Костылин ещё раз писал домой, всё ждал присылки денег и скучал. По целым дням сидит в сарае и считает дни, когда письмо придёт, или спит. А Жилин знал, что его письмо не дойдёт, а другого не писал.

«Где,— думает,— матери столько денег взять за меня заплатить. И то она тем больше жила, что я посылал ей. Если ей пятьсот рублей собрать, надо разориться вконец; бог даст — и сам выберусь».

А сам всё высматривает, выпытывает, как ему бежать.

Ходит по аулу, насвистывает, а то сидит, что-нибудь рукодельничает — или из глины кукол лепит, или плетёт плетёнки из прутьев. А Жилин на всякое рукоделье мастер был.

Слепил он раз куклу, с носом, с руками, с ногами и в татарской рубахе, и поставил куклу на крышу.

Пошли татарки за водой. Хозяйская дочь Дина увидала куклу, позвала татарок. Составили кувшины, смотрят, смеются. Жилин снял куклу, подаёт им. Они смеются, а не смеют взять. Оставил он куклу, ушёл в сарай и смотрит: что будет?

Подбежала Дина, оглянулась, схватила куклу и убежала.

Наутро смотрит: на зорьке Дина вышла на порог с куклой. А куклу уж лоскутками красными убрала и качает как ребёнка, сама по-своему прибаюкивает. Вышла старуха, забранилась на неё, выхватила куклу, разбила её, услала куда-то Дину на работу.

Сделал Жилин другую куклу, ещё лучше, отдал Дине. Принесла раз Дина кувшинчик, поставила, села и смотрит на него, сама смеётся, показывает на кувшин.

«Чего она радуется?» — думает Жилин.— Взял кувшин, стал пить. Думал — вода, а там молоко. Выпил он молоко.

— Хорошо,— говорит.

Как взрадуется Дина!

— Хорошо, Иван, хорошо! — и вскочила, забила в ладоши, вырвала кувшинчик и убежала.

И с тех пор стала она ему каждый день крадучи молоко носить. А то делают татары из козьего молока лепёшки сырные и сушат их на крышах. Так она эти лепёшки ему тайком принашивала. А то раз резал хозяин барана, так она ему кусок баранины принесла в рукаве. Бросит и убежит.

Была раз гроза сильная, и дождь час целый как из ведра лил. И помутились все речки. Где брод был, там на три аршина вода пошла, камни ворочает. Повсюду ручьи текут, гул стоит по горам. Вот как прошла гроза, везде по деревне ручьи бегут. Жилин выпросил у хозяина ножик, вырезал валик, дощечки, колесо оперил, а к колесу на двух концах кукол приделал.

Принесли ему девчонки лоскутков, одел он кукол: одна — мужик, другая — баба; утвердил их, поставил колесо на ручей. Колесо вертится, а куколки прыгают.

Собралась вся деревня: мальчишки, девчонки, бабы; и татары пришли, языком щёлкают:

— Ай, урус! Ай, Иван!

Были у Абдулы часы русские сломанные. Позвал он Жилина, показывает, языком щёлкает. Жилин говорит:

— Давай починю.

Взял, разобрал ножичком, разложил; опять сладил, отдал. Идут часы.

Обрадовался хозяин, принёс ему бешмет свой старый, весь в лохмотьях, подарил. Нечего делать — взял: и то годится покрыться ночью.

С тех пор прошла про Жилина слава, что он мастер. Стали к нему из дальних деревень приезжать; кто замок на ружье или пистолет починить принесёт, кто часы. Привёз ему хозяин снасть: и щипчики, и буравчики, и подпилочек.

Заболел раз татарин, пришли к Жилину:

— Поди полечи.

Жилин ничего не знает, как лечить. Пошёл, посмотрел, думает: «Авось поздоровеет сам». Ушёл в сарай, взял воды, песку, помешал. При татарах нашёптывал на воду, дал выпить. Выздоровел, на его счастье, татарин. Стал Жилин немножко понимать по-ихнему. И которые татары привыкли к нему, когда нужно, кличут: «Иван, Иван», а которые всё как на зверя косятся.

Красный татарин не любил Жилина. Как увидит, нахмурится и прочь отвернётся либо обругает. Был ещё у них старик. Жил он не в ауле, а приходил из-под горы. Видал его Жилин, только когда он в мечеть[1] проходил богу молиться. Он был ростом маленький, на шапке

[1] Мечеть — мусульманский храм, церковь.

у него белое полотенце обмотано [1]. Бородка и усы подстрижены, белые как пух, а лицо сморщенное и красное как кирпич; нос крючком, как у ястреба, а глаза серые, злые, и зубов нет — только два клыка. Идёт, бывало, в чалме своей, костылём подпирается, как волк озирается. Как увидит Жилина, так захрапит и отвернётся.

Пошёл раз Жилин под гору посмотреть, где живёт старик. Сошёл по дорожке, видит — садик, ограда каменная, из-за ограды черешни, шепталы и избушка с плоской крышкой. Подошёл он поближе, видит — ульи стоят, плетённые из соломы, и пчёлы летают, гудят. И старик стоит на коленочках, что-то хлопочет у улья. Поднялся Жилин повыше посмотреть и загремел колодкой. Старик оглянулся — как визгнет, выхватил из-за пояса пистолет, в Жилина выпалил. Чуть успел он за камень притулиться.

Пришёл старик к хозяину жаловаться. Позвал хозяин Жилина, сам смеётся и спрашивает:

— Зачем ты к старику ходил?

— Я,— говорит,— ему худого не сделал. Я хотел посмотреть, как он живёт.

Передал хозяин. А старик злится, шипит, что-то лопочет, клыки свои выставил, махает

[1] Обмотанная белым полотенцем или куском ткани шапка — почётный головной убор, чалма — у мусульман.

руками на Жилина. Жилин не понял всего, но понял, что старик велит хозяину убить русских, а не держать их в ауле. Ушёл старик.

Стал Жилин спрашивать хозяина: что это за старик? Хозяин и говорит:

— Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили деревню и семь сыновей убили. Один сын остался и передался русским. Старик поехал и сам передался русским. Пожил у них три месяца, нашёл там своего сына, сам убил его и бежал. С тех пор он бросил воевать, пошёл в Мекку [1] богу молиться; от этого у него чалма. Кто в Мекке был, тот называется Хаджи и чалму надевает. Не любит он вашего брата. Он велит тебя убить; да мне нельзя убить — я за тебя деньги заплатил; да я тебя, Иван, полюбил; я тебя не то что убить, я бы тебя и выпускать не стал, кабы слова не дал.— Смеётся, сам приговаривает по-русски: — Твоя, Иван, хорош — моя, Абдул, хорош!

IV

Прожил так Жилин месяц. Днём ходит по аулу или рукодельничает, а как ночь придёт, затихнет в ауле, так он у себя в сарае копает.

---

[1] Мекка — священный город у мусульман.

Трудно было копать от камней, да он подпилком камни тёр, и прокопал он под стеной дыру, что впору пролезть. «Только бы,— думает,— мне место хорошенько узнать, в какую сторону идти. Да не сказывают никто татары».

Вот он выбрал время, как хозяин уехал; пошёл после обеда за аул, на гору,— хотел оттуда место посмотреть. А когда хозяин уезжал, он приказывал малому за Жилиным ходить, с глаз его не спускать. Бежит малый за Жилиным, кричит:

— Не ходи! Отец не велел. Сейчас народ позову!

Стал его Жилин уговаривать.

— Я,— говорит,— далеко не уйду — только на ту гору поднимусь, мне траву нужно найти — ваш народ лечить. Пойдём со мной; я с колодкой не убегу. А тебе завтра лук сделаю и стрелы.

Уговорил малого, пошли. Смотреть на гору — недалеко, а с колодкой трудно, шёл-шёл, насилу взобрался. Сел Жилин, стал место разглядывать. На полдни [1] за сарай — лощина, табун ходит, и аул другой в низочке виден. От аула другая гора, ещё круче; а за той горой ещё гора. Промеж гор лес синеется, а там ещё горы — всё выше и выше поднимаются. А выше всех белые как сахар горы стоят под

[1] На полдни — на юг; на восход — на восток; на закат — на запад.



снегом. И одна снеговая гора выше других шапкой стоит. На восход и на закат всё такие же горы, кое-где аулы дымятся в ущельях. «Ну,— думает,— это всё ихняя сторона». Стал смотреть в русскую сторону: под ногами речка, аул свой, садики кругом. На речке — как куклы маленькие, видно, бабы сидят, полоскают. За аулом пониже гора, и через неё ещё две горы, по ним лес; а промеж двух гор синеется ровное место, и на ровном месте далеко-далеко дым стелется. Стал Жилин вспоминать, когда он в крепости дома жил, где солнце всходило и где заходило. Видит — там точно, в этой долине, должна быть наша крепость. Туда, промеж этих двух гор, и бежать надо.

Стало солнышко закатываться. Стали снеговые горы из белых — алые; в чёрных горах потемнело; из лощин пар поднялся, и самая та долина, где крепость наша должна быть, как в огне загорелась от заката. Стал Жилин вглядываться — маячит что-то в долине, точно дым из труб. И так и думается ему, что это самое — крепость русская.

Уже поздно стало. Слышно — мулла прокричал [1]. Стадо гонят — коровы ревут. Малый всё зовёт: «Пойдём», а Жилину и уходить не хочется.

---

[1] Мулла прокричал — утром, в полдень и вечером мулла — мусульманский священник — громкими возгласами призывает к молитве всех мусульман.

Вернулись они домой. «Ну,— думает Жилин,— теперь место знаю, надо бежать». Хотел он бежать в ту же ночь. Ночи были тёмные — ущерб месяца. На беду, к вечеру вернулись татары. Бывало, приезжают они — гонят с собой скотину и приезжают весёлые. А на этот раз ничего не пригнали и привезли на седле своего убитого татарина, брата рыжего. Приехали сердитые, собрались все хоронить. Вышел и Жилин посмотреть. Завернули мёртвого в полотно, без гроба, вынесли под чинары за деревню, сложили на траву. Пришёл мулла, собрались старики, полотенцами повязали шапки, разулись, сели рядком на пятки перед мёртвым.

Спереди мулла, сзади три старика в чалмах рядком, а сзади их ещё татары. Сели, потупились и молчат. Долго молчали. Поднял голову мулла и говорит:

— Алла! (значит бог).— Сказал это одно слово, и опять потупились и долго молчали; сидят, не шевелятся.

Опять поднял голову мулла:

— Алла! — и все проговорили: «Алла» — и опять замолчали. Мёртвый лежит на траве — не шелохнётся, и они сидят как мёртвые. Не шевельнётся ни один. Только слышно, на чинаре листочки от ветерка поворачиваются. Потом прочёл мулла молитву, все встали, подняли мёртвого на руки, понесли. Принесли к яме; яма вырыта не простая, а подкопана под землю, как подвал. Взяли мёртвого под мышки

да под лытки [1], перегнули, спустили полегонечку, подсунули сидьмя под землю, заправили ему руки на живот.

Притащил ногаец камышу зелёного, заклали камышом яму, живо засыпали землёй, сровняли, а в головы к мертвецу камень стоймя поставили. Утоптали землю, сели опять рядком перед могилкой. Долго молчали.

— Алла! Алла! Алла! — Вздохнули и встали.

Ро́здал рыжий денег старикам, потом встал, взял плеть, ударил себя три раза по лбу и пошёл домой.

Наутро видит Жилин — ведёт красный кобылу за деревню и за ним трое татар идут. Вышли за деревню, снял рыжий бешмет, засучил рукава — ручищи здоровые,— вынул кинжал, поточил на бруске. Задрали татары кобыле голову кверху, подошёл рыжий, перерезал глотку, повалил кобылу и начал свежевать, кулачищами шкуру подпарывает. Пришли бабы, девки, стали мыть кишки и нутро. Разрубили потом кобылу, стащили в избу. И вся деревня собралась к рыжему поминать покойника.

Три дня ели кобылу, бузу пили — покойника поминали. Все татары дома были. На четвёртый день, видит Жилин, в обед куда-то собираются. Привели лошадей, убрались и поехали человек десять, и красный поехал; только

[1] Под лытки — под коленки.

Абдул дома остался. Месяц только народился — ночи ещё тёмные были.

«Ну,— думает Жилин,— нынче бежать надо»,— и говорит Костылину. А Костылин заробел:

— Да как же бежать, мы и дороги не знаем.

— Я знаю дорогу.

— Да и не дойдём в ночь.

— А не дойдём — в лесу переднюем. Я вот лепёшек набрал. Что ж ты будешь сидеть? Хорошо — пришлют денег, а то ведь и не соберут. А татары теперь злые за то, что ихнего русские убили. Поговаривают — нас убить хотят.

Подумал-подумал Костылин:

— Ну, пойдём!

V

Полез Жилин в дыру, раскопал пошире, чтоб и Костылину пролезть; и сидят они — ждут, чтобы затихло в ауле.

Только затих народ в ауле, Жилин полез под стену, выбрался. Шепчет Костылину:

— Полезай.

Полез и Костылин, да зацепил камень ногой, загремел. А у хозяина сторожка была — пёстрая собака. И злая-презлая; звали её Уляшин. Жилин уже наперёд прикормил её. Услыхал Уляшин, забрехал и кинулся, а за ним другие собаки. Жилин чуть свистнул, ки-

нул лепёшки кусок — Уляшин узнал, замахал хвостом и перестал брехать.

Хозяин услыхал, загайкал из сакли:

— Гайть! Гайть, Уляшин!

А Жилин за ушами почёсывает Уляшина. Молчит собака, трётся ему об ноги, хвостом махает.

Посидели они за углом. Затихло всё, только слышно — овца перхает в закутке да низом вода по камушкам шумит. Темно, звёзды высоко стоят на небе; над горой молодой месяц закраснелся, кверху рожками заходит. В лощинах туман как молоко белеется.

Поднялся Жилин, говорит товарищу:

— Ну, брат, айда!

Тронулись, только отошли, слышат — запел мулла на крыше: «Алла! Бесмилла! Ильрахман!» Значит, пойдёт народ в мечеть. Сели опять, притаившись под стенкой. Долго сидели, дожидались, пока народ пройдёт. Опять затихло.

— Ну, с богом! — Перекрестились, пошли. Пошли через двор под кручь к речке, перешли речку, пошли лощиной. Туман густой да низом стоит, а над головой звёзды виднёшеньки. Жилин по звёздам примечает, в какую сторону идти. В тумане свежо, идти легко, только сапоги неловки, стоптались. Жилин снял свои, бросил, пошёл босиком. Попрыгивает с камушка на камушек да на звёзды поглядывает. Стал Костылин отставать.

— Тише,— говорит,— иди; сапоги проклятые — все ноги стёрли.

— Да ты сними, легче будет.

Пошёл Костылин босиком — ещё того хуже: изрезал все ноги по камням и всё отстаёт. Жилин ему говорит:

— Ноги обдерёшь — заживут, а догонят — убьют, хуже.

Костылин ничего не говорит, идёт, покряхтывает. Шли они низом долго. Слышат — вправо собаки забрехали. Жилин остановился, осмотрелся, полез на гору, руками ощупал.

— Эх,— говорит,— ошиблись мы, вправо забрали. Тут аул чужой, я его с горы видел; назад надо да влево, в гору. Тут лес должен быть.

А Костылин говорит:

— Подожди хоть немножко, дай вздохнуть, у меня ноги в крови все.

— Э, брат, заживут; ты легче прыгай. Вот как!

И побежал Жилин назад и влево в гору, в лес.

Костылин всё отстаёт и охает. Жилин шикнет-шикнет на него, а сам всё идёт.

Поднялись на гору. Так и есть — лес. Вошли в лес, по колючкам изодрали всё платье последнее. Напали на дорожку в лесу. Идут.

— Стой! — Затопало копытами по дороге. Остановились, слушают. Потопало, как лошадь, и остановилось. Тронулись они — опять зато-

пало. Они остановятся — и оно остановится. Подполз Жилин, смотрит на свет по дороге — стоит что-то: лошадь не лошадь, а на лошади что-то чудное, на человека не похоже. Фыркнуло — слышит. «Что за чудо!» Свистнул Жилин потихоньку — как шаркнет с дороги в лес, и затрещало по лесу, точно буря летит, сучья ломает.

Костылин так и упал со страху. А Жилин смеётся, говорит:

— Это олень. Слышишь, как рогами лес ломит. Мы его боимся, а он нас боится.

Пошли дальше. Уж высожары[1] спускаться стали, до утра недалеко. А туда ли идут, нет ли — не знают. Думается так Жилину, что по этой самой дороге его везли и что до своих вёрст десять ещё будет, а приметы верной нет, да и ночью не разберёшь. Вышли на полянку. Костылин сел и говорит:

— Как хочешь, а я не дойду: у меня ноги не идут.

Стал его Жилин уговаривать.

— Нет,— говорит,— не дойду, не могу.

Рассердился Жилин, плюнул, обругал его.

— Так я же один уйду, прощай.

Костылин вскочил, пошёл. Прошли они версты четыре. Туман в лесу ещё гуще сел, ничего не видать перед собой, и звёзды уж чуть видны.

---

[1] Высожары — местное название одного из созвездий (группы звёзд) на небе.

Вдруг слышат — впереди топает лошадь. Слышно — подковами за камни цепляется. Лёг Жилин на брюхо, стал по земле слушать.

— Так и есть, сюда, к нам, конный едет!

Сбежали они с дороги, сели в кусты и ждут. Жилин подполз к дороге, смотрит — верховой татарин едет, корову гонит. Сам себе под нос мурлычет что-то. Проехал татарин. Жилин вернулся к Костылину:

— Ну, пронёс бог; вставай, пойдём.

Стал Костылин вставать и упал.

— Не могу, ей-богу, не могу, сил моих нет.

Мужчина грузный, пухлый, запотел; да как обхватило его в лесу туманом холодным, да ноги ободраны — он и рассолодел. Стал его Жилин силой поднимать. Как закричит Костылин:

— Ой, больно!

Жилин так и обмер:

— Что кричишь? Ведь татарин близко, услышит.— А сам думает: «Он и вправду расслаб, что мне с ним делать? Бросить товарища не годится».

— Ну,— говорит,— вставай, садись на закорки — снесу, коли уж идти не можешь.

Посадил на себя Костылина, подхватил руками под ляжки, вышел на дорогу, поволок.

— Только,— говорит,— не дави ты меня руками за глотку ради Христа. За плечи держись.

Тяжело Жилину, ноги тоже в крови, и уморился. Нагнётся, подправит, подкинет, чтоб

повыше сидел на нём Костылин, тащит его по дороге.

Видно, услыхал татарин, как Костылин закричал. Слышит Жилин — едет кто-то сзади, кличет по-своему. Бросился Жилин в кусты. Татарин выхватил ружьё, выпалил — не попал, завизжал по-своему и поскакал прочь по дороге.

— Ну,— говорит Жилин,— пропали, брат! Он, собака, сейчас соберёт татар за нами в погоню. Коли не уйдём версты три — пропали.— А сам думает на Костылина: «И чёрт меня дёрнул колоду эту с собой брать. Один я бы давно ушёл».

Костылин говорит:

— Иди один, за что тебе из-за меня пропадать.

— Нет, не пойду: не годится товарища бросать.

Подхватил опять на плечи, попёр. Прошёл он так с версту. Всё лес идёт, и не видать выхода. А туман уж расходиться стал, и как будто тучки заходить стали. Не видать уж звёзд. Измучился Жилин.

Пришёл, у дороги родничок, камнем обделан. Остановился, ссадил Костылина.

— Дай,— говорит,— отдохну, напьюсь. Лепёшек поедим. Должно быть, недалеко.

Только прилёг он пить, слышит — затопало сзади. Опять кинулись вправо, в кусты, под кручь, и легли. Слышат — голоса татарские; остановились татары на том самом месте, где

они с дороги свернули. Поговорили, потом зауськали, как собак притравливают. Слышат — трещит что-то по кустам, прямо к ним собака чужая чья-то. Остановилась, забрехала.

Лезут и татары — тоже чужие; схватили их, посвязали, посадили на лошадей, повезли. Проехали версты три, встречает их Абдул-хозяин с двумя татарами. Поговорил что-то с татарами, пересадил на своих лошадей, повезли назад в аул.

Абдул уже не смеётся и ни слова не говорит с ними.

Привезли на рассвете в аул, посадили на улице. Сбежались ребята. Камнями, плётками бьют их, визжат.

Собрались татары в кружок, и старик изпод горы пришёл. Стали говорить. Слышит Жилин, что судят про них, что с ними делать. Одни говорят — надо их дальше в горы услать, а старик говорит:

— Надо убить.

Абдул спорит, говорит:

— Я за них деньги отдал. Я за них выкуп возьму.

А старик говорит:

— Ничего они не заплатят, только беды наделают. И грех русских кормить. Убить — и кончено.

Разошлись. Подошёл хозяин к Жилину, стал ему говорить.

— Если,— говорит,— мне не пришлют за вас

выкуп, я через две недели вас запорю. А если затеешь опять бежать, я тебя как собаку убью. Пиши письмо, хорошенько пиши.

Принесли им бумаги, написали они письма. Набили на них колодки, отвели за мечеть. Там яма была аршин пяти — и спустили их в эту яму.

VI

Житьё им стало совсем дурное. Колодки не снимали и не выпускали на вольный свет. Кидали им туда тесто непечёное, как собакам, да в кувшине воду спускали. Вонь в яме, духота, мокрота. Костылин совсем разболелся, распух, и ломота во всём теле стала, и всё стонет или спит. И Жилин приуныл: видит — дело плохо. И не знает, как выбраться.

Начал он было подкапываться, да землю некуда кидать; увидал хозяин, пригрозил убить.

Сидит он раз в яме на корточках, думает об вольном житье, и скучно ему. Вдруг прямо ему на коленки лепёшка упала, другая, и черешни посыпались. Поглядел кверху, а там Дина. Поглядела на него, посмеялась и убежала. Жилин и думает: «Не поможет ли Дина?» Расчистил он в яме местечко, наковырял глины, стал лепить кукол. Наделал людей, лошадей, собак; думает: «Как придёт Дина, брошу ей».

Только на другой день нет Дины. А слышит

Жилин — затопали лошади, проехали какие-то, и собрались татары у мечети, спорят, кричат и поминают про русских. И слышит голос старика. Хорошенько не разобрал он и догадывается, что русские близко подошли и боятся татары, как бы в аул не зашли, и не знают, что с пленными делать.

Поговорили и ушли. Вдруг слышит — зашуршало что-то наверху. Видит — Дина присела на корточки, коленки выше головы торчат, свесилась, монисты висят, болтаются над ямой. Глазёнки так и блестят, как звёздочки. Вынула из рукава две сырные лепёшки, бросила ему. Жилин взял и говорит:

— Что давно не бывала? А я тебе игрушек наделал. На вот! — Стал ей швырять по одной, а она головой мотает и не смотрит.

— Не надо! — говорит. Помолчала, посидела и говорит: — Иван, тебя убить хотят.— Сама себе рукой на шею показывает.

— Кто убить хочет?

— Отец, ему старики велят, а мне тебя жалко.

Жилин и говорит:

— А коли тебе меня жалко, так ты мне палку длинную принеси.

Она головой мотает, что «нельзя». Он сложил руки, молится ей.

— Дина, пожалуйста. Динушка, принеси.

— Нельзя,— говорит,— увидят, все дома.— И ушла.

Вот сидит вечером Жилин и думает: «Что будет?» Всё поглядывает вверх. Звёзды видны, а месяц ещё не всходил. Мулла прокричал, затихло всё. Стал уже Жилин дремать, думает: «Побоится девка».

Вдруг на голову ему глина посыпалась, глянул кверху — шест длинный в тот край ямы тыкается. Потыкался, спускаться стал, ползёт в яму. Обрадовался Жилин, схватил рукой, спустил; шест здоровый. Он ещё прежде этот шест на хозяйской крыше видел. Поглядел вверх: звёзды высоко в небе блестят и над самой ямой, как у кошки, у Дины глаза в темноте светятся. Нагнулась она лицом на край ямы и шепчет:

— Иван, Иван! — А сама руками у лица всё машет, что «тише, мол».

— Что? — говорит Жилин.

— Уехали все, только двое дома.

Жилин и говорит:

— Ну, Костылин, пойдём, попытаемся последний раз; я тебя подсажу.

Костылин и слышать не хочет.

— Нет,— говорит,— уж мне, видно, отсюда не выйти. Куда я пойду, когда и поворотиться сил нет?

— Ну, так прощай, не поминай лихом.— Поцеловался с Костылиным.

Ухватился за шест, велел Дине держать и полез. Раза два он обрывался — колодка мешала. Поддержал его Костылин — выбрал-

ся кое-как наверх. Дина его тянет ручонками за рубаху изо всех сил, сама смеётся. Взял Жилин шест и говорит:

— Снеси на место, Дина, а то хватятся — прибьют тебя.— Потащила она шест, а Жилин под гору пошёл. Слез под кручь, взял камень вострый, стал замок с колодки выворачивать. А замок крепкий, никак не собьёт, да и неловко. Слышит — бежит кто-то с горы, легко попрыгивает. Думает: «Верно, опять Дина». Прибежала Дина, взяла камень и говорит:

— Дай я.

Села на коленочки, начала выворачивать. Да ручонки тонкие, как прутики, ничего силы нет. Бросила камень, заплакала. Принялся опять Жилин за замок, а Дина села подле него на корточках, за плечо держит. Оглянулся Жилин, видит, налево за горой зарево красное загорелось. Месяц встаёт.— «Ну, думает,— до месяца надо лощину пройти, до леса добраться». Поднялся, бросил камень. Хоть в колодке, да надо идти.

— Прощай,— говорит,— Динушка. Век тебя помнить буду.

Ухватилась за него Дина, шарит по нём руками, ищет, куда бы лепёшки ему засунуть. Взял он лепёшки.

— Спасибо,— говорит,— умница. Кто тебе без меня кукол делать будет? — И погладил её по голове. Как заплачет Дина, закрылась руками, побежала на гору, как козочка прыгает.

Только в темноте, слышно, монисты в косе побрякивают.

Перекрестился Жилин, подхватил рукой замок на колодке, чтобы не бренчал, пошёл по дороге, ногу волочит, а сам всё на зарево поглядывает, где месяц встаёт. Дорогу он узнал. Прямиком идти вёрст восемь. Только бы до лесу дойти прежде, чем месяц совсем выйдет. Перешёл он речку; побелел уже свет за горой. Пошёл лощиной, идёт, сам поглядывает: не видать ещё месяца. Уж зарево посветлело, и с одной стороны лощины всё светлее, светлее становится. Ползёт под гору тень, всё к нему приближается.

Идёт Жилин, всё тени держится. Он спешит, а месяц ещё скорее выбирается; уж и направо засветились макушки. Стал подходить к лесу, выбрался месяц из-за гор — бело, светло, совсем как днём. На деревьях все листочки видны. Тихо, светло по горам: как вымерло всё. Только слышно, внизу речка журчит. Дошел до лесу — никто не попался.

Выбрал Жилин местечко в лесу потемнее, сел отдыхать.

Отдохнул, лепёшку съел. Нашёл камень, принялся опять колодку сбивать. Все руки избил, а не сбил. Поднялся, пошёл по дороге. Прошёл с версту, выбился из сил — ноги ломит. Ступит шагов десять и остановится. «Нечего делать,— думает,— буду тащиться, пока сила есть. А если сесть, так и не встану. До кре-

пости мне не дойти, а как рассветёт, лягу в лесу, переднюю и ночью опять пойду».

Всю ночь шёл. Только попались два татарина верхами, да Жилин издалека их услышал, схоронился за дерево.

Уж стал месяц бледнеть, роса пала, близко к свету, а Жилин до края леса не дошёл. «Ну,— думает,— ещё тридцать шагов пройду, сверну в лес и сяду». Прошёл тридцать шагов, видит — лес кончается. Вышел на край — совсем светло; как на ладонке перед ним степь и крепость, и налево, близёхонько под горой, огни горят, тухнут, дым стелется, и люди у костров. Вгляделся, видит: ружья блестят — казаки, солдаты.

Обрадовался Жилин, собрался с последними силами, пошёл под гору. А сам думает: «Избави бог, тут, в чистом поле, увидит конный татарин: хоть близко, а не уйдёшь». Только подумал — глядь: налево на бугре стоят трое татар, десятины на две. Увидали его, пустились к нему. Так сердце у него и оборвалось. Замахал руками, закричал что было духу своим:

— Братцы! выручай! братцы!

Услыхали наши. Выскочили казаки верховые, пустились к нему — наперерез татарам.

Казакам далеко, а татарам близко. Да уж и Жилин собрался с последней силой, подхватил рукой колодку, бежит к казакам, а сам себя не помнит, крестится и кричит:

— Братцы! братцы! братцы!

Казаков человек пятнадцать было.

Испугались татары — не доезжаючи, стали останавливаться. И подбежал Жилин к казакам.

Окружили его казаки, спрашивают: кто он, что за человек, откуда? А Жилин себя не помнит, плачет и приговаривает:

— Братцы! братцы!

Выбежали солдаты, обступили Жилина — кто ему хлеба, кто каши, кто водки; кто шинелью прикрывает, кто колодку разбивает. Узнали его офицеры, повезли в крепость. Обрадовались солдаты, товарищи собрались к Жилину.

Рассказал Жилин, как с ним всё дело было, и говорит:

— Вот и домой съездил, женился! Нет, не судьба моя.

И остался служить на Кавказе. А Костылина только ещё через месяц выкупили за пять тысяч. Еле живого привезли.

Д. Н. Мамин-Сибиряк

Была у Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852—1912), нашего земляка-уральца, дочка Алёнушка. Мать умерла при рождении девочки, и Дмитрий Наркисович сам растил и воспитывал дочку. Когда Алёнушка болела, а болела она часто, отец рассказывал ей сказки про Комара Комаровича, про Воробья Воробеича, про Храброго Зайца и другие весёлые истории. Книжку, где были собраны эти истории, Мамин-Сибиряк так и назвал — «Алёнушкины сказки». «Это моя любимая книжка — её писала сама любовь, и потому она переживёт всё остальное»,— говорил писатель. Он оказался не совсем прав. Не зря называют Мамина-Сибиряка певцом Урала. Его многочисленные произведения для взрослых, где он описывает нелегкую жизнь уральского народа, пользуются любовью читателей.

Сказки и рассказы для детей Мамин-Сибиряк стал писать в последние годы жизни, считая эту работу «важнее всего остального». Кроме смешных, радостных «Алёнушкиных сказок» есть у писателя и другие произведения для детей, в которых он не утаивает суровой правды жизни. Сколько в мире жестокости и несправедливости, думают маленькие читатели «Серой шейки», «Зимовья на Студёной», «Емели-охотника». Эти книги невозможно читать или слушать спокойно, они всегда вызывают чувство сострадания к героям.

СКАЗОЧКА ПРО КОЗЯВОЧКУ

1

Как родилась Козявочка, никто не видал.

Это был солнечный весенний день. Козявочка посмотрела кругом и сказала:

— Хорошо!..

Расправила Козявочка свои крылышки, потёрла тонкие ножки одна о другую, ещё посмотрела кругом и сказала:

— Как хорошо!.. Какое солнышко тёплое, какое небо синее, какая травка зелёная — хорошо, хорошо!.. И всё моё!

Ещё потёрла Козявочка ножками и полетела. Летает, любуется всем и радуется. А внизу травка так и зеленеет, а в травке спрятался аленький цветочек.

— Козявочка, ко мне! — крикнул цветочек.

Козявочка спустилась на землю, вскарабкалась на цветочек и принялась пить сладкий цветочный сок.

— Какой ты добрый, цветочек! — говорит Козявочка, вытирая рыльце ножками.

— Добрый-то добрый, да вот ходить не умею,— пожаловался цветочек.

— И всё-таки хорошо,— уверяла Козявочка.— И всё моё...

Не успела она ещё договорить, как с жужжанием налетел мохнатый Шмель — и прямо к цветочку.



— Жж... Кто забрался в мой цветочек? Жж... Кто пьёт мой сладкий сок? Жж... Ах ты, дрянная Козявка, убирайся вон! Жжж... Уходи вон, пока я не ужалил тебя!

— Позвольте, что же это такое? — запищала Козявочка.— Всё, всё моё...

— Жжж... Нет, моё!

Козявочка едва унесла ноги от сердитого Шмеля. Она присела на травку, облизала ножки, запачканные в цветочном соку, и рассердилась:

— Какой грубиян этот Шмель!.. Даже удивительно!.. ещё ужалить хотел... Ведь всё моё — и солнышко, и травка, и цветочки.

— Нет уж, извините,— моё! — проговорил мохнатый Червячок, карабкавшийся по стебельку травки.

Козявочка сообразила, что Червячок не умеет летать, и заговорила смелее:

— Извините меня, Червячок, вы ошибаетесь... Я вам не мешаю ползать, и со мной не спорьте!..

— Хорошо, хорошо... Вот только мою травку не троньте. Я этого не люблю, признаться сказать... Мало ли вас тут летает... Вы народ легкомысленный, а я Червячок серьёзный... Говоря откровенно, мне всё принадлежит. Вот заползу на травку и съем, заползу на любой цветочек и тоже съем. До свиданья!..

2

В несколько часов Козявочка узнала решительно всё, именно: что кроме солнышка, синего неба и зелёной травки есть ещё сердитые шмели, серьёзные червячки и разные колючки на цветах. Одним словом, получилось большое огорчение. Козявочка даже обиделась. Помилуйте, она была уверена, что всё принадлежит ей и создано для неё, а тут другие то же самое думают. Нет, что-то не так:.. Не может этого быть.

Летит Козявочка дальше и видит — вода.

— Уж это моё! — весело запищала она.—

Моя вода... Ах, как весело!.. Тут и травка, и цветочки.

А навстречу Козявочке летят другие козявочки.

— Здравствуй, сестрица!

— Здравствуйте, милые... А то уж мне стало скучно одной летать. Что вы тут делаете?

— А мы играем, сестрица... Иди к нам. У нас весело... Ты недавно родилась?

— Только сегодня. Меня чуть Шмель не ужалил, потом я видела Червяка... Я думала, это всё моё, а они говорят, что всё ихнее.

Другие козявочки успокоили гостью и пригласили играть вместе. Над водой козявки играли столбом: кружатся, летают, пищат. Наша Козявочка задыхалась от радости и скоро совсем забыла про сердитого Шмеля и серьёзного Червяка.

— Ах, как хорошо! — шептала она в восторге.— Всё моё: и солнышко, и травка, и вода. Зачем другие сердятся, решительно не понимаю. Всё моё, а я никому не мешаю жить: летайте, жужжите, веселитесь. Я позволяю...

Поиграла Козявочка, повеселилась и присела отдохнуть на болотную осоку. Надо же и отдохнуть, в самом деле!

Смотрит Козявочка, как веселятся другие козявочки: вдруг откуда ни возьмись воробей — как шмыгнет мимо, точно кто камень бросил.

— Ай, ой! — закричали козявочки и бросились врассыпную.

Когда воробей улетел, недосчитались целого десятка козявочек.

— Ах, разбойник! — бранились старые козявочки.— Целый десяток съел.

Это было похуже Шмеля. Козявочка начала бояться и спряталась с другими молодыми козявочками ещё дальше в болотную траву. Но здесь другая беда: двух козявочек съела рыбка, а двух — лягушка.

— Что же это такое? — удивлялась Козявочка.— Это уже совсем ни на что не похоже... Так и жить нельзя. У, какие гадкие!..

Хорошо, что козявочек было много, и убыли никто не замечал. Да ещё прилетели новые козявочки, которые только что родились. Они летели и пищали:

— Всё наше... Всё наше...

— Нет, не всё наше! — крикнула им наша Козявочка.— Есть ещё сердитые шмели, серьёзные червяки, гадкие воробьи, рыбки и лягушки. Будьте осторожны, сестрицы!

Впрочем, наступила ночь, и все козявочки попрятались в камышах, где было так тепло. Высыпали звёзды на небе, взошёл месяц, и всё отразилось в воде.

— Ах, как хорошо было!..

«Мой месяц, мои звёзды»,— думала наша Козявочка, но никому этого не сказала: как раз отнимут и это...

3

Так прожила Козявочка целое лето.

Много она веселилась, а много было и неприятного. Два раза её чуть-чуть не проглотил проворный стриж; потом незаметно подобралась лягушка — мало ли у козявочек всяких врагов! Были и свои радости. Встретила Козявочка другую такую же козявочку, с мохнатыми усиками. Та и говорит:

— Какая ты хорошенькая, Козявочка... Будем жить вместе.

И зажили вместе, совсем хорошо зажили. Всё вместе: куда одна — туда и другая. И не заметили, как лето пролетело. Начались дожди, холодные ночи. Наша Козявочка нанесла яичек, спрятала их в густой траве и сказала:

— Ах, как я устала!..

Никто не видал, как Козявочка умерла.

Да она и не умерла, а только заснула на зиму, чтобы весной проснуться снова и снова жить.

СКАЗКА ПРО КОМАРА КОМАРОВИЧА ДЛИННЫЙ НОС И ПРО МОХНАТОГО МИШУ КОРОТКИЙ ХВОСТ

1

Это случилось в самый полдень, когда все комары спрятались от жары в болото. Комар Комарович Длинный Нос прикорнул под широкий лист и заснул. Спит и слышит отчаянный крик:

— Ой, батюшки!.. Ой, караул!..

Комар Комарович выскочил из-под листа и тоже закричал:

— Что случилось?.. Что вы орёте?

А комары летают, жужжат, пищат — ничего разобрать нельзя.

— Ой, батюшки!.. Пришёл в наше болото медведь и завалился спать. Как лёг в траву, так сейчас же задавил пятьсот комаров; как дохнул — проглотил целую сотню. Ой, беда, братцы! Мы едва унесли от него ноги, а то всех бы передавил...

Комар Комарович Длинный Нос сразу рассердился: рассердился и на медведя, и на глупых комаров, которые пищали без толку.

— Эй, вы, перестаньте пищать! — крикнул он.— Вот я сейчас пойду и прогоню медведя... Очень просто! А вы орёте только напрасно...

Еще сильнее рассердился Комар Комарович и полетел.

Действительно, в болоте лежал медведь. Забрался в самую густую траву, где комары жили испокон веку, развалился и носом сопит, только свист идёт, точно кто на трубе играет. Вот бессовестная тварь!.. Забрался в чужое место, погубил напрасно столько комариных душ да ещё спит так сладко!

— Эй, дядя, ты это куда забрался? — закричал Комар Комарович на весь лес, да так громко, что даже самому сделалось страшно.

Мохнатый Миша открыл один глаз — никого не видно, открыл другой глаз — едва рассмотрел, что летает комар над самым его носом.

— Тебе что нужно, приятель? — заворчал Миша и тоже начал сердиться: «Как же, только расположился отдохнуть, а тут какой-то негодяй пищит».

— Эй, уходи подобру-поздорову, дядя!..

Миша открыл оба глаза, посмотрел на нахала, фукнул носом и окончательно рассердился.

— Да что тебе нужно, негодная тварь? — зарычал он.

— Уходи из нашего места, а то я шутить не люблю... Вместе с шубой тебя съем.

Медведю сделалось смешно. Перевалился он на другой бок, закрыл морду лапой и сейчас же захрапел.

2

Полетел Комар Комарович обратно к своим комарам и трубит на всё болото:

— Ловко я напугал Мохнатого Мишку... В другой раз не придёт.

Подивились комары и спрашивают:

— Ну а сейчас-то медведь где?

— А не знаю, братцы. Сильно струсил, когда я ему сказал, что съем, если не уйдёт. Ведь я шутить не люблю, а так прямо и сказал: «Съем». Боюсь, как бы он не околел со страху, пока я к вам летаю... Что же, сам виноват!

Запищали все комары, зажужжали и долго спорили, как им быть с невежей медведем. Никогда ещё в болоте не было такого страшного шума. Пищали-пищали и решили выгнать медведя из болота.

— Пусть идёт к себе домой, в лес, там и спит. А болото наше... Ещё отцы и деды наши вот в этом самом болоте жили.

Одна благоразумная старушка Комариха посоветовала было оставить медведя в покое: пусть его полежит, а когда выспится — сам уйдёт; но на неё все так накинулись, что бедная едва успела спрятаться.

— Идём, братцы! — кричал больше всех Комар Комарович.— Мы ему покажем... Да!..

Полетели комары за Комар Комаровичем. Летят и пищат, даже самим страшно делается. Прилетели, смотрят, а медведь лежит и не шевелится.

— Ну, я так и говорил: умер бедняга со страху! — хвастался Комар Комарович.— Даже жаль немножко, вон какой здоровый медведище...

— Да он спит, братцы,— пропищал маленький комаришка, подлетевший к самому медвежьему носу и чуть не втянутый туда, как в форточку.

— Ах, бесстыдник! Ах, бессовестный! — запищали все комары разом и подняли ужасный гвалт.— Пятьсот комаров задавил, сто комаров проглотил и сам спит как ни в чём не бывало!..

А Мохнатый Миша спит себе да носом посвистывает.

— Он притворяется, что спит! — крикнул Комар Комарович и полетел на медведя.— Вот я ему сейчас покажу... Эй, дядя, будет притворяться!

Как налетит Комар Комарович, как вопьётся своим длинным носом прямо в чёрный медвежий нос, Миша так и вскочил. Хвать лапой по носу, а Комар Комаровича как не бывало.

— Что, дядя, не понравилось? — пищит Комар Комарович.— Уходи, а то хуже будет... Я теперь не один Комар Комарович Длинный Нос, а прилетели со мной и дедушка, Комарище Длинный Носище, и младший брат, Комаришка Длинный Носишко! Уходи, дядя!..

— А я не уйду! — закричал медведь, уса-

живаясь на задние лапы.— Я вас всех передавлю!..

— Ой, дядя, напрасно хвастаешь...

Опять полетел Комар Комарович и впился медведю прямо в глаз. Заревел медведь от боли, хватил себя лапой по морде, и опять в лапе ничего, только чуть глаз себе не вырвал когтем. А Комар Комарович вьётся над самым медвежьим ухом и пищит:

— Я тебя съем, дядя...

3

Рассердился окончательно Миша. Выворотил он вместе с корнем целую берёзу и принялся колотить ею комаров. Так и ломит со всего плеча... Бил, бил, даже устал, а ни одного убитого комара нет,— все вьются над ним и пищат. Тогда ухватил Миша тяжёлый камень и запустил им в комаров — опять толку нет.

— Что, взял, дядя? — пищал Комар Комарович.— А я тебя всё-таки съем...

Долго ли, коротко ли сражался Миша с комарами, только шуму было много. Далеко был слышен медвежий рёв. А сколько он деревьев вырвал, сколько камней выворотил!.. Всё ему хотелось зацепить первого Комар Комаровича: ведь вот тут, над самым ухом, вьётся, а хватит медведь лапой — и опять ничего, только всю морду себе в кровь исцарапал.

Обессилел наконец Миша. Присел он на зад-



ние лапы, фыркнул и придумал новую штуку: давай кататься по траве, чтобы передавить всё комариное царство. Катался-катался Миша, однако и из этого ничего не вышло, а только ещё больше устал он. Тогда медведь спрятал морду в мох — вышло того хуже. Комары вцепились в медвежий хвост. Окончательно рассвирепел медведь.

— Постойте, вот я вам задам!..— ревел он так, что за пять вёрст было слышно.— Я вам покажу штуку... Я... я... я...

Отступили комары и ждут, что будет. А Миша на дерево вскарабкался, как акробат, засел на самый толстый сук и ревёт:

— Ну-ка подступитесь теперь ко мне... Всем носы пообломаю!..

Засмеялись комары тонкими голосами и бросились на медведя уже всем войском. Пищат, кружатся, лезут... Отбивался-отбивался Миша, проглотил нечаянно штук сто комариного войска, закашлялся да как сорвётся с сука, точно мешок... Однако поднялся, почесал ушибленный бок и говорит:

— Ну что, взяли? Видели, как я ловко с дерева прыгаю?..

Ещё тоньше засмеялись комары, а Комар Комарович так и трубит:

— Я тебя съем... Я тебя съем... съем!..

Изнемог окончательно медведь, выбился из сил, а уходить из болота стыдно. Сидит он на задних лапах и только глазами моргает.

Выручила его из беды лягушка. Выскочила из-под кочки, присела на задние лапки и говорит:

— Охота вам, Михайло Иваныч, беспокоить себя напрасно?.. Не обращайте вы на этих дрянных комаришек внимания. Не стоит.

— И то не стоит! — обрадовался медведь.— Я это так... Пусть-ка они ко мне в берлогу придут, да я... я...

Как повернётся Миша, как побежит из болота, а Комар Комарович Длинный Нос летит за ним, летит и кричит:

— Ой, братцы, держите! Убежит медведь... Держите!..

Собрались все комары, посоветовались и решили:

— Не стоит! Пусть его уходит — ведь болото-то осталось за нами!

СКАЗКА ПРО ХРАБРОГО ЗАЙЦА ДЛИННЫЕ УШИ, КОСЫЕ ГЛАЗА, КОРОТКИЙ ХВОСТ

Родился зайчик в лесу и всё боялся. Треснет где-нибудь сучок, вспорхнёт птица, упадёт с дерева ком снега — у зайчика душа в пятки.

Боялся зайчик день, боялся два, боялся неделю, боялся год, а потом вырос он большой, и вдруг надоело ему бояться.

— Никого я не боюсь! — крикнул он на весь лес.— Вот не боюсь нисколько, и всё тут!

Собрались старые зайцы, сбежались маленькие зайчата, приплелись старые зайчихи — все слушают, как хвастается Заяц Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост,— слушают и своим собственным ушам не верят. Не бывало ещё, чтобы заяц не боялся никого.

— Эй, ты, Косой Глаз, ты и волка не боишься?

— И волка не боюсь, и лисицы, и медведя — никого не боюсь!

Это уж выходило совсем забавно. Хихикнули молодые зайчата, прикрыв мордочки передними лапками, засмеялись добрые старушки зайчихи, улыбнулись даже старые зайцы, побывавшие в лапах у лисы и отведавшие волчьих зубов. Очень уж смешной заяц... Ах, какой смешной! И всем вдруг сделалось весело. Начали кувыркаться, прыгать, скакать, перегонять друг друга, точно все с ума сошли.

— Да что тут долго говорить! — кричал расхрабрившийся окончательно заяц.— Ежели мне попадётся волк, так я его сам съем...

— Ах, какой смешной заяц! Ах, какой он глупый!..

Все видят, что и смешной, и глупый, и все смеются.

Кричат зайцы про волка, а волк тут как тут.

Ходил он, ходил в лесу по своим волчьим делам, проголодался и только подумал: «Вот



бы хорошо зайчиком закусить!», как слышит, что где-то совсем близко зайцы кричат и его, серого волка, поминают. Сейчас он остановился, понюхал воздух и начал подкрадываться.

Совсем близко подошёл волк к разыгравшимся зайцам, слышит, как они над ним смеются, а всех больше хвастун Заяц Косые Глаза, Длинные Уши, Короткий Хвост.

«Э, брат, погоди, вот тебя-то я и съем!» — подумал серый волк и начал выглядывать, который заяц хвастается своей храбростью.

А зайцы ничего не видят и веселятся пуще прежнего. Кончилось тем, что хвастун заяц взобрался на пенёк, уселся на задние лапки и заговорил:

— Слушайте, вы, трусы! Слушайте и смотрите на меня. Вот я сейчас покажу вам одну штуку... Я... я... я...

Тут язык у хвастуна точно примёрз. Заяц увидел глядевшего на него волка. Другие не видели, а он видел и не смел дохнуть.

Дальше случилась совсем необыкновенная вещь.

Заяц-хвастун подпрыгнул кверху точно мячик и со страху упал прямо на широкий волчий лоб, кубарем прокатился по волчьей спине, перевернулся ещё раз в воздухе и потом задал такого стрекача, что, кажется, готов был выскочить из собственной кожи.

Долго бежал несчастный зайчик, бежал, пока совсем не выбился из сил.

Ему всё казалось, что волк гонится по пятам и вот-вот схватит его своими зубами.

Наконец совсем обессилел бедняга, закрыл глаза и замертво свалился под куст.

А волк в это время бежал в другую сторону. Когда заяц упал на него, ему показалось, что кто-то в него выстрелил.

И волк убежал. Мало ли в лесу других зайцев можно найти, а это был какой-то бешеный...

Долго не могли прийти в себя остальные зайцы. Кто удрал в кусты, кто спрятался за пенёк, кто завалился в ямку.

Наконец надоело всем прятаться, и начали понемногу выглядывать кто похрабрее.

— А ловко напугал волка наш заяц! — решили все.— Если бы не он, так не уйти бы нам живыми... Да где же он, наш бесстрашный заяц?

Начали искать.

Ходили-ходили, нет нигде Храброго Зайца. Уж не съел ли его другой волк? Наконец-таки нашли: лежит в ямке под кустиком и еле жив от страха.

— Молодец, косой! — закричали все зайцы в один голос.— Ай да косой!.. Ловко ты напугал старого волка. Спасибо, брат! А мы думали, что ты хвастаешь.

Храбрый Заяц сразу приободрился, вылез из своей ямки, встряхнулся, прищурил глаза и проговорил:

— А вы бы как думали? Эх, вы, трусы!..

С этого дня Храбрый Заяц начал сам верить, что он действительно никого не боится.

СЕРАЯ ШЕЙКА

1

Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привёл всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далёкий путь, и все имели такой серьёзный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч вёрст... Сколько бедных птиц дорогой

выбьются из сил, сколько погибнут от разных случайностей,— вообще было о чём серьёзно подумать.

Серьёзная большая птица, как лебеди, гуси и утки, собиралась в дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига; а более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички, как кулички-песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, зуйки. Они давно уж собирались стайками и переносились с одного берега на другой по отмелям и болотам с такой быстротой, точно кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая работа...

Лес стоял тёмный и молчаливый, потому что главные певцы улетели, не дожидаясь холода.

— И куда эта мелочь торопится! — ворчал старый Селезень, не любивший себя беспокоить.— В своё время все улетим... Не понимаю, о чём тут беспокоиться!

— Ты всегда был лентяем, поэтому тебе и неприятно смотреть на чужие хлопоты,— объяснила ему жена, старая Утка.

— Я был лентяем? Ты просто несправедлива ко мне, и больше ничего. Может быть, я побольше всех забочусь, а только не показываю виду. Толку от этого немного, если буду бегать с утра до ночи по берегу, кричать, мешать другим, надоедать всем.

Утка вообще была не совсем довольна сво-

им супругом, а теперь окончательно рассердилась.

— Ты смотри на других-то, лентяй! Вон наши соседи, гуси или лебеди,— любо на них посмотреть. Живут душа в душу... Небось лебедь или гусь не бросит своего гнезда и всегда впереди выводка. Да, да... А тебе до детей и дела нет. Только и думаешь о себе, чтобы набить зоб. Лентяй, одним словом... Смотреть-то на тебя даже противно!

— Не ворчи, старуха!.. Ведь я ничего не говорю, что у тебя такой неприятный характер. У всякого есть свои недостатки... Я не виноват, что гусь — глупая птица и поэтому нянчится со своим выводком. Вообще моё правило — не вмешиваться в чужие дела. Зачем? Пусть всякий живёт по-своему.

Селезень любил серьёзные рассуждения, причём оказывалось как-то так, что именно он, Селезень, всегда прав, всегда умён и всегда лучше всех. Утка давно к этому привыкла, а сейчас волновалась по совершенно особенному случаю.

— Какой ты отец? — накинулась она на мужа.— Отцы заботятся о детях, а тебе — хоть трава не расти!..

— Ты это о Серой Шейке говоришь? Что же я могу поделать, если она не может летать? Я не виноват...

Серой Шейкой они называли свою калеку дочь, у которой было переломлено крыло ещё

весной, когда подкралась к выводку Лиса и схватила утёнка. Старая Утка смело бросилась на врага и отбила утёнка; но одно крылышко оказалось сломанным.

— Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь Серую Шейку одну,— повторяла Утка со слезами.— Все улетят, а она останется одна-одинёшенька. Да, совсем одна... Мы улетим на юг, в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мёрзнуть... Ведь она наша дочь, и как я её люблю, мою Серую Шейку! Знаешь, старик, останусь-ка я с ней зимовать здесь вместе...

— А другие дети?

— Те здоровы, обойдутся и без меня.

Селезень всегда старался замять разговор, когда речь заходила о Серой Шейке. Конечно, он тоже любил её, но зачем же напрасно тревожить себя? Ну, останется, ну, замёрзнет — жаль, конечно, а всё-таки ничего не поделаешь. Наконец, нужно подумать и о других детях. Жена вечно волнуется, а нужно смотреть на вещи серьёзно. Селезень про себя жалел жену, но не понимал в полной мере её материнского горя. Уж лучше было бы, если бы тогда Лиса совсем съела Серую Шейку,— ведь всё равно она должна погибнуть зимою.

2

Старая Утка ввиду близившейся разлуки относилась к дочери-калеке с удвоенной нежно-

стью. Бедняжка ещё не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что её братья и сёстры так весело собираются к отлёту, что они будут где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы.

— Ведь вы весной вернётесь? — спрашивала Серая Шейка у матери.

— Да, да, вернёмся, моя дорогая... И опять будем жить все вместе.

Для утешения начинавшей задумываться Серой Шейки мать рассказала ей несколько таких же случаев, когда утки оставались на зиму. Она была лично знакома с двумя такими парами.

— Как-нибудь, милая, пробьёшься,— успокаивала старая Утка.— Сначала поскучаешь, а потом привыкнешь. Если бы можно было тебя перенести на тёплый ключ, что и зимой не замерзает,— совсем было бы хорошо. Это недалеко отсюда... Впрочем, что же и говорить-то попусту, всё равно нам не перенести тебя туда!

— Я буду всё время думать о вас...— повторяла бедная Серая Шейка.— Всё буду думать: где вы, что вы делаете, весело ли вам?.. Всё равно и будет, точно и я с вами вместе.

Старой Утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния. Она старалась казаться весёлой и плакала потихоньку от всех. Ах, как ей было жаль милой бед-



ненькой Серой Шейки... Других детей она теперь почти не замечала, не обращала на них внимания, и ей казалось, что она даже совсем их не любит.

А как быстро летело время!.. Был уже целый ряд холодных утренников, а от инея пожелтели берёзки и покраснели осины. Вода в реке потемнела, и сама река казалась больше, потому что берега оголели — береговая поросль быстро теряла листву. Холодный осенний ветер обрывал засыхавшие листья и уносил их. Небо часто покрывалось тяжёлыми осенними облаками, ронявшими мелкий осенний дождь. Вообще хорошего было мало, и который день уже

неслись мимо стаи перелётной птицы... Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начинали замерзать. Дольше всех оставались водоплавающие.

Серую Шейку больше всего огорчал перелёт журавлей, потому что они так жалобно курлыкали, точно звали её с собой. У неё ещё в первый раз сжалось сердце от какого-то тайного предчувствия, и она долго провожала глазами уносившуюся в небе журавлиную стаю. «Как им, должно быть, хорошо!» — думала Серая Шейка.

Лебеди, гуси и утки тоже начинали готовиться к отлёту. Отдельные гнёзда соединялись в большие стаи. Старые и бывалые птицы учили молодых. Каждое утро эта молодёжь с весёлым криком делала большие прогулки, чтобы укрепить крылья для далёкого перелёта. Умные вожаки сначала обучали отдельные партии, а потом всех вместе. Сколько было крика, молодого веселья и радости!.. Одна Серая Шейка не могла принимать участия в этих прогулках и любовалась ими только издали. Что делать, приходилось мириться с судьбой. Зато как она плавала, как ныряла! Вода для неё составляла всё.

— Нужно отправляться... пора! — говорили старики вожаки.— Что нам здесь ждать?

А время летело, быстро летело... Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром,

когда вода ещё была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из трёхсот штук. Слышно было только кряканье главных вожаков. Старая Утка не спала всю ночь: это была последняя ночь, которую она проводила вместе с Серой Шейкой.

— Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик,— советовала она.— Там вода не замёрзнет целую зиму...

Серая Шейка держалась в стороне от косяка, как чужая... Да все были так заняты общим отлётом, что на неё никто не обращал внимания. У старой Утки изболелось всё сердце, глядя на бедную Серую Шейку. Несколько раз она решала про себя, что останется; но как останешься, когда есть другие дети и нужно лететь вместе с косяком?..

— Ну, трогай! — громко скомандовал главный вожак, и стая поднялась разом вверх.

Серая Шейка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетавший косяк. Сначала все летели одной живой кучей, а потом вытянулись в правильный треугольник и скрылись.

«Неужели я совсем одна? — думала Серая Шейка, заливаясь слезами.— Лучше бы было, если бы тогда Лиса меня съела...»

3

Река, на которой осталась Серая Шейка, весело катилась в горах, покрытых густым ле-

сом. Место было глухое, и никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днём тонкий, как стекло, лёд таял.

«Неужели вся река замёрзнет?» — думала Серая Шейка с ужасом.

Скучно ей было одной, и она всё думала про своих улетевших братьев и сестёр. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? Вспоминают ли про неё?

Времени было достаточно, чтобы подумать обо всём. Узнала она и одиночество. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу, где посвистывали рябчики, прыгали белки и зайцы.

Раз со скуки Серая Шейка забралась в лес и страшно перепугалась, когда из-под куста кубарем вылетел Заяц.

— Ах, как ты меня напугала, глупая! — проговорил Заяц, немного успокоившись.— Душа в пятки ушла. И зачем ты толчёшься здесь? Ведь все утки давно улетели...

— Я не могу летать. Лиса мне крылышко перекусила, когда я ещё была совсем маленькой...

— Уж эта мне Лиса! Нет хуже зверя. Она и до меня давно добирается. Ты берегись её, особенно когда река покроется льдом. Как раз сцапает...

Они познакомились. Заяц был такой же беззащитный, как и Серая Шейка, и спасал свою жизнь постоянным бегством.

— Если бы мне крылья, как птице, так я

бы, кажется, никого на свете не боялся!.. У тебя вот хоть и крыльев нет, так зато ты плавать умеешь, а не то возьмёшь и нырнёшь в воду,— говорил он.— А я постоянно дрожу от страху. У меня — кругом враги. Летом ещё можно спрятаться куда-нибудь, а зимой всё видно.

Скоро выпал и первый снег, а река всё ещё не поддавалась холоду. Всё, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные звёздные ночи, когда всё затихало и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать её льдом сонную.

Так и случилось.

Была тихая-тихая звёздная ночь. Тихо стоял тёмный лес на берегу, точно стража из великанов. Горы казались выше, как это бывает ночью. Высокий месяц обливал всё своим трепетным искрившимся светом.

Бурлившая днём, горная река присмирела, и к ней тихо-тихо подкрался холод, крепко-крепко обнял гордую, непокорную красавицу и точно прикрыл её зеркальным стеклом.

Серая Шейка была в отчаянии, потому что не замёрзла только самая середина реки, где образовалась широкая полынья [1]. Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше пятнадцати сажен [2].

---

[1] Полынья — незамёрзшее место на реке зимой.

[2] Сажень — мера длины, равная трём аршинам (2,13 м).

Огорчение Серой Шейки дошло до последней степени, когда на берегу показалась Лиса,— это была та самая Лиса, которая переломила ей крыло.

— А, старая знакомая, здравствуй! — ласково проговорила Лиса, останавливаясь на берегу.— Давненько не видались... Поздравляю с зимой.

— Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой разговаривать,— ответила Серая Шейка.

— Это за мою-то ласку! Хороша же ты, нечего сказать! А впрочем, про меня много лишнего говорят. Сами наделают что-нибудь, а потом на меня и свалят... Пока — до свиданья.

Когда Лиса убралась, приковылял Заяц и сказал:

— Берегись, Серая Шейка: она опять придёт.

И Серая Шейка тоже начала бояться, как боялся Заяц. Бедная даже не могла любоваться творившимися кругом неё чудесами.

Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не оставалось ни одного тёмного пятнышка. Даже голые берёзы, ольхи, ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. А ели сделались ещё важнее. Они стояли засыпанные снегом, как будто надели дорогую тёплую шубу.

Да, чудно хорошо было кругом; а бедная Серая Шейка знала только одно: что эта красота не для неё,— и трепетала при одной мыс-

ли, что её полынья вот-вот замёрзнет и ей некуда будет деться.

Лиса действительно пришла через несколько дней, села на берегу и опять заговорила:

— Соскучилась я по тебе, уточка... Выходи сюда, а не хочешь, так я сама к тебе приду. Я не спесива.

И Лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У Серой Шейки замерло сердце. Но Лиса не могла подобраться к самой воде, потому что там лёд был ещё очень тонок. Она положила голову на передние лапки, облизнулась и проговорила:

— Какая ты глупая, уточка!.. Вылезай на лёд! А впрочем, до свиданья! Я тороплюсь по своим делам.

Лиса начала приходить каждый день — проведать, не застыла ли полынья. Наступившие морозы делали своё дело. От большой полыньи оставалось всего одно окно в сажень величиной. Лёд был крепкий, и Лиса садилась на самом краю. Бедная Серая Шейка со страху ныряла в воду, а Лиса сидела и зло подсмеивалась над ней:

— Ничего, ныряй, а я тебя всё равно съем... Выходи лучше сама.

Заяц видел с берега, что проделывала Лиса, и возмущался всем своим заячьим сердцем:

— Ах, какая бессовестная эта Лиса! Какая несчастная эта Серая Шейка! Съест её Лиса...



4

По всей вероятности, Лиса и съела бы Серую Шейку, когда полынья замёрзла бы совсем, но случилось иначе. Заяц всё видел своими собственными косыми глазами.

Дело было утром. Заяц выскочил из своего логовища покормиться и поиграть с другими зайцами. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а всё-таки весело.

— Братцы, берегитесь! — крикнул кто-то.

Действительно, опасность была на носу. На опушке леса стоял сгорбленный старичок охотник, который подкрался на лыжах совершенно неслышно и высматривал, которого бы зайца застрелить.

«Эх, тёплая старухе шуба будет!» — соображал он, выбирая самого крупного зайца.

Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес как сумасшедшие.

— Ах, лукавцы! — рассердился старичок.— Вот ужо я вас... Того не понимают, глупые, что нельзя старухе без шубы.Не мёрзнуть же ей... А вы Акинтича не обманете, сколько ни бегайте. Акинтич-то похитрее будет... А старуха Акинтичу вон как наказывала: «Ты смотри, старик, без шубы не приходи!» А вы сигать...

Старичок пустился разыскивать зайцев по

следам, но зайцы рассыпались по лесу как горох. Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть.

— Эх, старуха, старуха, убежала наша шуба! — думал он вслух.— Ну, вот отдохну и пойду искать другую...

Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, Лиса по реке ползёт — так и ползёт, точно кошка.

— Ге-ге, вот так штука! — обрадовался старичок.— К старухиной-то шубе воротник сам ползёт... Видно, пить захотела, а то, может, и рыбки вздумала половить.

Лиса действительно подползла к самой полынье, в которой плавала Серая Шейка, и улеглась на льду.

Стариковские глаза видели плохо и из-за Лисы не замечали утки.

«Надо так её застрелить, чтобы воротника не испортить,— соображал старик, прицеливаясь в Лису.— А то вот как старуха будет браниться, если воротник-то в дырьях окажется... Тоже своя сноровка везде надобна, а без снасти и клопа не убьёшь».

Старичок долго прицеливался, выбирая место в будущем воротнике. Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как что-то метнулось на льду, и со всех ног кинулся к полынье. По дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, то только развёл руками: воротника как не бывало, а в

полынье плавала одна перепуганная Серая Шейка.

— Вот так штука! — ахнул старичок, разводя руками.— В первый раз вижу, как Лиса в утку обратилась. Ну и хитёр зверь!

— Дедушка, Лиса убежала,— объяснила Серая Шейка.

— Убежала? Вот тебе, старуха, и воротник к шубе!.. Что же я теперь буду делать, а? Ну и грех вышел... А ты, глупая, зачем тут плаваешь?

— А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. У меня одно крылышко попорчено...

— Ах, глупая, глупая! Да ведь ты замёрзнешь тут или Лиса тебя съест! Да...

Старичок подумал-подумал, покачал головой и решил:

— А мы вот что с тобой сделаем: я тебя внучкам отнесу. Вот-то обрадуются! А весной ты старухе яичек нанесёшь да утяток выведешь. Так я говорю? Вот то-то, глупая!

Старичок добыл Серую Шейку из полыньи и положил за пазуху.

«А старухе я ничего не скажу,— соображал он, направляясь домой.— Пусть её шуба с воротником вместе ещё погуляет в лесу. Главное — внучки вот как обрадуются...»

Зайцы всё это видели и весело смеялись. Ничего, старуха и без шубы на печке не замёрзнет.

МЕДВЕДКО

— Барин, хотите вы взять медвежонка? — предлагал мне мой кучер Андрей.

— А где он?

— Да у соседей... Им знакомые охотники подарили. Славный такой медвежонок, всего недель трёх... Забавный зверь.

— Зачем же соседи отдают, если он славный?

— Кто их знает... Я видел медвежонка: не больше рукавицы. И так смешно переваливается.

Я жил на Урале в уездном городе. Квартира была большая. Отчего же и не взять медвежонка? В самом деле, зверь забавный. Пусть поживёт, а там увидим, что с ним делать.

Сказано — сделано. Андрей отправился к соседям и через полчаса принёс крошечного медвежонка, который действительно был не больше его рукавицы, с той разницей, что эта живая рукавица забавно ходила на своих четырёх ногах и ещё забавнее таращила такие милые синие глазёнки.

За медвежонком пришла целая толпа уличных ребятишек, так что пришлось затворить ворота. Попав в комнаты, медвежонок нимало не смутился, а, напротив, почувствовал себя очень свободно, точно пришёл домой. Он спо-

койно всё осмотрел, обошёл вокруг стен, всё обнюхал, кое-что попробовал своей чёрной лапкой и, кажется, нашёл, что всё в порядке.

Мои гимназисты [1] натащили ему молока, булок, сухарей. Медвежонок принимал всё как должное и, усевшись в уголке на задние лапы, приготовился закусить. Он делал всё с необыкновенной комичной важностью.

— Медведко, хочешь молочка?

— Медведко, вот сухарики...

— Медведко!..

Пока происходила вся эта суета, в комнату незаметно вошла моя охотничья собака, старый рыжий сеттер. Собака сразу почуяла присутствие какого-то неизвестного зверя, вытянулась, ощетинилась, и не успели мы оглянуться, как она уже сделала стойку над маленьким гостем. Нужно было видеть эту картину: медвежонок забился в уголок, присел на задние лапки и смотрел на медленно подходившую собаку такими злыми глазёнками.

Собака была старая, опытная, и поэтому она не бросалась сразу, а долго смотрела с удивлением своими большими глазами на непрошеного гостя — эти комнаты она считала своими, а тут вдруг забрался неизвестный зверь, засел в угол и смотрит на неё как ни в чём не бывало.

---

[1] Гимназист — ученик гимназии, средней школы в царской России.

Я видел, как сеттер начал дрожать от волнения, и приготовился схватить его, если бы он бросился на малютку медвежонка. Но вышло совсем другое, чего никто не ожидал. Собака посмотрела на меня, точно спрашивая согласия, и подвигалась вперёд медленными, рассчитанными шагами. До медвежонка оставалось всего каких-нибудь пол-аршина, но собака не решалась сделать последнего шага, а только ещё сильнее вытянулась и сильно потянула в себя воздух: она желала по собачьей привычке сначала обнюхать неизвестного врага.

Но именно в этот критический момент маленький гость размахнулся и мгновенно ударил собаку правой лапой прямо по морде. Вероятно, удар был очень силён, потому что собака отскочила и завизжала.

— Вот так молодец Медведко! — одобрили гимназисты.— Такой маленький и ничего не боится...

Собака была сконфужена и незаметно скрылась в кухню.

Медвежонок преспокойно съел молоко и булку, а потом забрался ко мне на колени, свернулся клубочком и замурлыкал, как котёнок.

— Ах, какой он милый! — повторили гимназисты в один голос.— Мы его оставим у нас жить... Он такой маленький и ничего не может сделать.

— Что ж, пусть его поживёт,— согласился я, любуясь притихшим зверьком.

Да и как было не любоваться! Он так мило мурлыкал, так доверчиво лизал своим чёрным языком мои руки и кончил тем, что заснул у меня на руках, как маленький ребёнок.

* * *

Медвежонок поселился у меня и в течение целого дня забавлял публику — как больших, так и маленьких. Он так забавно кувыркался, всё желал видеть и везде лез. Особенно его занимали двери. Подковыляет, запустит лапу и начинает отворять. Если дверь не отворялась, он начинал забавно сердиться, ворчал и принимался грызть дерево своими острыми, как белые гвоздики, зубами.

Меня поражала необыкновенная подвижность этого маленького увальня и его сила. В течение одного дня он обошёл решительно весь дом, и, кажется, не оставалось такой вещи, которой он не осмотрел бы, не понюхал и не полизал.

Наступила ночь. Я оставил медвежонка у себя в комнате. Он свернулся клубочком на ковре и сейчас же заснул.

Убедившись, что он успокоился, я загасил лампу и тоже приготовился спать. Не прошло и четверти часа, как я стал засыпать, но в самый интересный момент мой сон был нарушен: медвежонок пристроился к двери в столовую и упорно хотел её отворить. Я оттащил его



раз и уложил на старое место. Не прошло получаса, как повторилась та же история. Пришлось вставать и укладывать упрямого зверя во второй раз. Через полчаса — то же...

Наконец мне это надоело, да и спать хотелось. Я отворил дверь кабинета и пустил медвежонка в столовую. Все наружные двери и окна были заперты, следовательно, беспокоиться было нечего.

Но мне и в этот раз не привелось уснуть. Медвежонок забрался в буфет и загремел тарелками. Пришлось вставать и вытаскивать его из буфета, причём медвежонок ужасно рассер-

дился, заворчал, начал вертеть головой и пытался укусить меня за руку. Я взял его за шиворот и отнёс в гостиную. Эта возня мне начинала надоедать, да и вставать на другой день нужно было рано. Впрочем, я скоро уснул, позабыв о маленьком госте.

Прошёл, может быть, какой-нибудь час, как страшный шум в гостиной заставил меня вскочить. В первую минуту я не мог сообразить, что такое случилось, и только потом всё сделалось ясно: медвежонок разодрался с собакой, которая спала на своём обычном месте в передней.

— Ну и зверина! — удивлялся кучер Андрей, разнимая воевавших.

— Куда его мы теперь денем? — думал я вслух.— Он никому не даст спать целую ночь.

— А к гимназистам,— посоветовал Андрей.— Они его весьма даже уважают. Ну и пусть спит опять у них.

Медвежонок был помещён в комнате гимназистов, которые были очень рады маленькому квартиранту.

Было уже часа два ночи, когда весь дом успокоился. Я был очень рад, что избавился от беспокойного гостя и мог заснуть. Но не прошло часа, как все повскакали от страшного шума в комнате гимназистов. Там происходило что-то невероятное... Когда я прибежал в эту комнату и зажёг спичку, всё объяснилось.

Посредине комнаты стоял письменный стол, покрытый клеёнкой. Медвежонок по ножке стола добрался до клеёнки, ухватил её зубами, упёрся лапами в ножку и принялся тащить что было мочи. Тащил-тащил, пока не стащил всю клеёнку, вместе с ней — лампу, две чернильницы, графин с водой и вообще всё, что было разложено на столе. В результате — разбитая лампа, разбитый графин, ро́злиты по полу чернила, а виновник всего скандала забрался в самый дальний угол; оттуда сверкали только одни глаза, как два уголька.

Его пробовали взять, но он отчаянно защищался и даже успел укусить одного гимназиста.

— Что мы будем делать с этим разбойником? — взмолился я.— Это всё ты, Андрей, виноват.

— Что же я, барин, сделал? — оправдывался кучер.— Я только сказал про медвежонка, а взяли-то вы. И гимназисты даже весьма его одобряли.

Словом, медвежонок не дал спать всю ночь.

Следующий день принёс новые испытания. Дело было летнее, двери оставались незапертыми, и он незаметно прокрался во двор, где ужасно напугал корову. Кончилось тем, что медвежонок поймал цыплёнка и задавил его. Поднялся целый бунт. Особенно негодовала кухарка, жалевшая цыплёнка. Она накинулась на кучера, и дело чуть не дошло до драки.

На следующую ночь во избежание недоразумений беспокойный гость был заперт в чулан, где ничего не было, кроме ларя с мукой. Каково же было негодование кухарки, когда на следующее утро она нашла медвежонка в ларе: он отворил тяжёлую крышку и спал самым мирным образом прямо в муке. Огорчённая кухарка даже расплакалась и стала требовать расчёта.

— Житья нет от поганого зверя,— объясняла она.— Теперь к корове подойти нельзя, цыплят надо запирать... муку бросить... Нет, пожалуйте, барин, расчёт.

* * *

Признаться сказать, я очень раскаивался, что взял медвежонка, и очень был рад, когда нашёлся знакомый, который его взял.

— Помилуйте, какой милый зверь! — восхищался он.— Дети будут рады... Для них это — настоящий праздник. Право, какой милый!

— Да, милый...— соглашался я.

Мы все вздохнули свободно, когда наконец избавились от этого «милого» зверя и когда весь дом пришёл в прежний порядок.

Но наше счастье продолжалось недолго, потому что мой знакомый возвратил медвежонка на другой же день. Милый зверь накуролесил на новом месте ещё больше, чем у меня. Забрался в экипаж, заложенный молодой лошадью, зарычал. Лошадь, конечно, бросилась

стремглав и сломала экипаж. Мы попробовали вернуть медвежонка на первое место, откуда его принёс мой кучер, но там отказались принять его наотрез.

— Что же мы будем с ним делать? — взмолился я, обращаясь к кучеру.— Я готов даже заплатить, только бы избавиться.

На наше счастье, нашёлся какой-то охотник, который взял его с удовольствием...

Д. В. Григорович

Маленьким шедевром называют повесть «Гуттаперчевый мальчик», написанную простым, метким языком. Эта повесть — одно из последних произведений Дмитрия Васильевича Григоровича (1822—1899), автора «Антона Горемыки». Григорович родился в семье небогатого русского помещика, отец вскоре умер, и мальчик остался с матерью-француженкой. По-русски с ним разговаривал только старый слуга, он рассказывал будущему писателю сказки, говорил о трудной, беспросветной жизни крестьян. С детства Григорович очень любил искусство, но когда вырос, не стал ни артистом, ни художником. Сочувствие униженным и бесправным заставило его взяться за перо, так появились произведения, темой которых стала жизнь простого народа. О жестокости сильных и богатых, о беззащитности бедняков рассказывал он своим читателям. Об этом и горькая, страшная повесть о мальчике-акробате.

ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ МАЛЬЧИК

I

Воспитанник акробата Беккера назывался «гуттаперчевым мальчиком» только в афишах; настоящее имя его было Петя; всего вернее, впрочем, было бы назвать его несчастным мальчиком.

История его очень коротка, да и где же ей быть длинной и сложной, когда ему минул всего восьмой год?

Лишившись матери на пятом году возраста, он хорошо, однако ж, её помнил. Как теперь, видел он перед собою тощую женщину со светлыми жиденькими и всегда растрёпанными волосами, которая то ласкала его, наполняя ему рот всем, что подвёртывалось под руку: луком, куском пирога, селёдкой, хлебом,— то вдруг ни с того ни с сего накидывалась, начинала кричать и в то же время принималась шлёпать его чем ни попало и куда ни попало. Петя тем не менее часто вспоминал мать.

В числе воспоминаний Пети остался также день похорон матери...

Было суровое январское утро; с низкого пасмурного неба сыпался мелкий сухой снег; подгоняемый порывами ветра, он колол лицо, как иголками, и волнами убегал по мёрзлой дороге.

Петя, следуя за гробом между бабушкой (бабушкой называл он старушку соседку) и прачкой Варварой, чувствовал, как нестерпимо щемят пальцы на руках и ногах; ему, между прочим, и без того было трудно поспевать за спутницами. Одежда на нём случайно была подобрана: случайны были сапоги, в которых ноги его болтались свободно, как в лодках; случайным был кафтанишко, которого нельзя было бы надеть, если б не подняли ему фалды и не приткнули их за пояс; случайной была шапка, выпрошенная у дворника; она поминутно сползала на глаза и мешала Пете видеть дорогу.



На обратном пути с кладбища бабушка и Варвара долго толковали о том, куда теперь деть мальчика. К кому надо обратиться? Кто, наконец, станет бегать и хлопотать?

Мальчик продолжал жить, треплясь по разным углам и старухам, и не известно, чем бы разрешилась судьба мальчика, если б не вступилась прачка Варвара. Заглядывая к «бабушке» и встречая у неё мальчика, Варвара брала его иногда на несколько дней к себе.

Жила она на Моховой улице, в подвальном этаже, на втором дворе большого дома. На том же дворе, только выше, помещалось несколько

человек из труппы соседнего цирка; они занимали ряд комнат, соединявшихся тёмным боковым коридором. Варвара знала всех очень хорошо, так как постоянно стирала у них белье. Подымаясь к ним, она часто таскала с собою Петю. Всем была известна его история, все знали, что он круглый сирота, без роду и племени. В разговорах Варвара не раз выражала мысль, что вот бы хорошо было, кабы кто-нибудь из господ сжалился и взял сироту в обучение. Никто, однако, не решался; всем, повидимому, довольно было своих забот. Одно только лицо не говорило ни да ни нет. По временам лицо это пристально даже посматривало на мальчика. Это был акробат Беккер.

Надо полагать, между ним и Варварой велись одновременно какие-нибудь тайные и более ясные переговоры по этому предмету, потому что однажды, подкараулив, когда все господа ушли на репетицию и в квартире остался только Беккер, Варвара спешно повела Петю наверх и прямо вошла с ним в комнату акробата.

Беккер точно поджидал кого-то. Он сидел на стуле, покуривая из фарфоровой трубки с выгнутым чубуком, увешанным кисточками; на голове его красовалась плоская, шитая бисером шапочка, сдвинутая набок; на столе перед ним стояли три бутылки пива — две пустые, одна только что начатая.

Раздутое лицо акробата и его шея, толстая,

как у быка, были красны; самоуверенный вид и осанка не оставляли сомнения, что Беккер даже здесь, у себя дома, был весь исполнен сознанием своей красоты.

— Ну вот, Карл Богданович... вот мальчик!..— проговорила Варвара, выдвигая вперёд Петю.

— Хорошо,— произнёс акробат,— но я так не можно; надо раздевать малшик...

Петя до сих пор стоял неподвижно, робко поглядывая на Беккера; с последним словом он откинулся назад и крепко ухватился за юбку прачки. Но, когда Беккер повторил своё требование и Варвара, повернув мальчика к себе лицом, принялась раздевать его, Петя судорожно ухватился за неё руками, начал кричать и биться, как цыплёнок под ножом повара.

— Чего ты? Экой, право, глупенький! Чего испугался?.. Разденься, батюшка, разденься... Ничего... Смотри ты, глупый какой...— повторяла прачка, стараясь раскрыть пальцы мальчика и в то же время спешно расстёгивая пуговицы на его панталонах.

Но мальчик решительно не давался: объятый почему-то страхом, он вертелся как вьюн, корчился, тянулся к полу, наполняя всю квартиру криками.

Карл Богданович потерял терпение. Положив на стол трубку, он подошёл к мальчику и, не обращая внимания на то, что тот стал

ещё сильнее барахтаться, быстро обхватил его руками.

Петя не успел очнуться, как уже почувствовал себя крепко сжатым между толстыми коленями акробата. Последний в один миг снял с него рубашку и панталоны; после этого он поднял его как соломинку и, уложив голого поперёк колен, принялся ощупывать ему грудь и бока, нажимая большим пальцем на те места, которые казались ему не сразу удовлетворительными, и посылая шлепок всякий раз, как мальчик корчился, мешая ему продолжать операцию.

Прачке было жаль Петю: Карл Богданович очень уж что-то сильно нажимал и тискал; но, с другой стороны, она боялась вступиться, так как сама привела мальчика и акробат обещал взять его на воспитание в случае, когда он окажется пригодным. Стоя перед мальчиком, она торопливо утирала ему слёзы, уговаривая не бояться, убеждая, что Карл Богданович ничего худого не сделает — только посмотрит!..

Но когда акробат неожиданно поставил мальчика на колена, повернул его к себе спиною и начал выгибать ему назад плечи, снова надавливая пальцами между лопатками, когда голая худенькая грудь ребёнка вдруг выпучилась ребром вперёд, голова его опрокинулась назад и весь он как бы замер от боли и ужаса, Варвара не могла уже выдержать: она бросилась отнимать его. Прежде, однако ж, чем ус-

пела она это сделать, Беккер передал ей Петю, который тотчас же очнулся и только продолжал дрожать, захлёбываясь от слёз.

— Полно, батюшка, полно! Видишь, ничего с тобою не сделали!.. Карл Богданович хотел только поглядеть тебя,— повторяла прачка, стараясь всячески обласкать ребёнка.

Она взглянула украдкой на Беккера; тот кивнул головою и налил новый стакан пива.

Два дня спустя прачке надо уже было пустить в дело хитрость, когда пришлось окончательно передавать мальчика Беккеру. Тут не подействовали ни новые ситцевые рубашки, купленные Варварой на собственные деньги, ни мятные пряники, ни убеждения, ни ласки. Петя боялся кричать, так как передача происходила в знакомой нам комнате; он крепко припадал заплаканным лицом к подолу прачки и отчаянно, как потерянный, цеплялся за её руки каждый раз, когда она делала шаг к дверям, с тем чтобы оставить его одного с Карлом Богдановичем.

Наконец всё это надоело акробату. Он ухватил мальчика за ворот, оторвал его от юбки Варвары и, как только дверь за нею захлопнулась, поставил его перед собою и велел ему смотреть прямо в глаза.

Петя продолжал трястись как в лихорадке; черты его худенького болезненного лица как-то съёживались; в них проступало что-то жалобное, хилое, как у старичка.

Беккер взял его за подбородок, повернул к себе лицом и повторил приказание.

— Ну, малшик, слуш,— сказал он, грозя указательным пальцем перед носом Пети.— Когда ты хочу там,— он указал на дверь,— то будет тут!..— он указал несколько ниже спины.— И крепко! И крепко! — добавил он, выпуская его из рук и допивая оставшееся пиво.

В то же утро он повёл его в цирк. Там всё суетилось и торопливо укладывалось.

На другой день труппа со всем своим багажом, людьми и лошадьми перекочёвывала на летний сезон в Ригу.

В первую минуту новость и разнообразие впечатлений скорее пугали Петю, чем пробуждали в нём любопытство. Он забился в угол и как дикий зверёк глядел оттуда, как мимо него бегали, перетаскивая неведомые ему предметы. Кое-кому бросилась в глаза белокурая головка незнакомого мальчика, но до того ли было? И все проходили мимо.

В течение десяти дней, как труппа переезжала в Ригу, Петя был предоставлен самому себе. В вагоне его окружали теперь не совсем уже чужие люди: ко многим из них он успел присмотреться; многие были веселы, шутили, пели песни и не внушали ему страха. Нашлись даже такие, как клоун Эдвардс, который мимоходом всегда трепал его по щеке; раз даже одна из женщин дала ему ломтик апельсина. Словом, он начал понемногу привыкать, и было бы ему

даже хорошо, если б взял его к себе кто-нибудь другой, только не Карл Богданович. К нему никак он не мог привыкнуть; при нём Петя мгновенно умолкал, весь как-то съёживался и думал о том только, как бы не заплакать...

Особенно тяжело стало ему, когда началось учение. После первых опытов Беккер убедился, что не ошибся в мальчике: Петя был лёгок как пух и гибок в суставах; недоставало, конечно, силы в мускулах, чтобы управлять этими природными качествами, но беды в этом ещё не было. Беккер не сомневался, что сила приобретётся от упражнений. Он мог отчасти даже теперь убедиться в этом на питомце. Месяц спустя после того, как он каждое утро и вечер, посадив мальчика на пол, заставлял его пригибаться к ногам, Петя мог исполнить такой манёвр уже сам по себе, без помощи наставника. Несравненно труднее было ему перегибаться назад и касаться пятками затылка; мало-помалу он, однако ж, и к этому стал привыкать. Он ловко также начинал прыгать с разбегу через стул; но только когда после прыжка Беккер требовал, чтобы воспитанник, перескочив на другую сторону стула, падал не на ноги, а на руки, оставляя ноги на воздухе, последнее редко удавалось: Петя летел кувырком, падал на лицо или на голову, рискуя свихнуть себе шею.

Неудача или ушиб составляли, впрочем, половину горя; другая половина, более веская,

заключалась в тузах[1], которыми всякий раз наделял его Беккер. Мускулы мальчика оставались по-прежнему тощими. Они, очевидно, требовали усиленного подкрепления.

В комнату, занимаемую Беккером, принесена была двойная раздвижная лестница; поперёк её перекладин, на некоторой высоте от полу, укладывалась горизонтально палка. По команде Беккера Петя должен был с разбегу ухватиться руками за палку и затем оставаться таким образом на весу сначала пять минут, потом десять, и так каждый день по нескольку приёмов. Разнообразие состояло в том, что иногда приходилось просто держать себя на весу, а иногда, придерживаясь руками к палке, следовало опрокидываться назад всем туловищем и пропускать ноги между палкой и головой. Цель упражнения состояла в том, чтобы прицепиться концами носков к палке, неожиданно выпустить руки и оставаться висящим на одних носках. Трудность главным образом заключалась в том, чтобы в то время, как ноги были наверху, а голова внизу, лицо должно было сохранить самое приятное смеющееся выражение; последнее делалось в видах хорошего впечатления на публику, которая ни под каким видом не должна была подозревать трудности при напряжении мускулов, боли в суставах плеч и судорожного сжимания в груди.

[1] Туз — здесь: удар кулаком.

Достижение таких результатов сопровождалось часто таким раздирающим детским визгом, такими криками, что товарищи Беккера врывались в его комнату и отнимали из рук его мальчика. Начинались брань и ссора, после чего Пете приходилось иногда ещё хуже. Иногда, впрочем, такое постороннее вмешательство оканчивалось более миролюбивым образом.

Так было, когда приходил клоун Эдвардс. Он обыкновенно улаживал дело закуской и пивом. В следовавшей затем товарищеской беседе Эдвардс старался всякий раз доказать, что метод обучения Беккера никуда не годится, что страхом и побоями ничего не возьмёшь не только с детьми, но даже при обучении собак и обезьян, что страх внушает, несомненно, робость, а робость — первый враг гимнаста, потому что отнимает у него уверенность и удаль; без них можно только вытянуть себе сухие жилы, сломать шею или перебить позвонки на спине.

И странное дело: каждый раз, как Эдвардс, разгорячённый беседой и пивом, принимался тут же показывать, как надо делать ту или другую штуку, Петя исполнял упражнения с большей ловкостью и охотой.

В труппе все уже знали воспитанника Беккера. В последнее время он добыл ему из гардероба костюм клоуна и, набеливая ему лицо, нашлёпывая румянами две кляксы на щеках, выводил его во время представления на арену.



Иногда, для пробы, Беккер неожиданно подымал ему ноги, заставляя его пробежать на руках по песку. Петя напрягал тогда все свои силы, но часто они изменяли ему; пробежав на руках некоторое пространство, он вдруг ослабевал в плечах и тыкался головою в песок, чем пробуждал всегда весёлый смех в зрителях.

Под руководством Эдвардса он сделал бы, без сомнения, больше успехов; в руках Беккера дальнейшее развитие, очевидно, замедлялось. Петя продолжал бояться своего наставника, как в первый день. К этому начинало примешиваться другое чувство, которого не мог он истолковать, но которое постепенно росло в нём, стесняло его мысли и чувства, заставляя горько плакать по ночам, когда, лёжа на тюфячке, прислушивался он к храпению акробата.

И ничего, ничего Беккер не делал, чтобы сколько-нибудь привязать к себе мальчика! Даже в тех случаях, когда мальчику удавалась какая-нибудь штука, Беккер никогда не обращался к нему с ласковым словом; он ограничивался тем, что снисходительно поглядывал на него с высоты своего громадного туловища. Беккеру, по-видимому, всё равно было, что из двух рубашек, подарённых мальчику прачкой Варварой, оставались лохмотья, что бельё на теле мальчика носилось иногда без перемены по две недели, что шея его и уши

были не вымыты, а сапожишки просили каши и черпали уличную грязь и воду. Товарищи акробата, и более других Эдвардс, часто укоряли его в том; в ответ Беккер нетерпеливо посвистывал и щёлкал хлыстиком по панталонам.

Он не переставал учить Петю, продолжая наказывать каждый раз, как выходило что-нибудь неладно.

Раз, по возвращении труппы уже в Петербург, Эдвардс подарил Пете щенка. Мальчик был в восторге: он носился с подарком по конюшне и коридорам, всем его показывал и то и дело целовал его в мокрую розовую мордочку.

Беккер, раздосадованный во время представления тем, что его публика не вызвала, возвращался во внутренний коридор; увидев щенка в руках Пети, он вырвал его и носком башмака бросил в сторону; щенок ударился головкой в соседнюю стену и тут же упал, вытянув лапки.

Петя зарыдал и бросился к Эдвардсу, выходившему в эту минуту из уборной. Беккер, раздражённый окончательно тем, что вокруг послышалась брань, одним движением оттолкнул Петю от Эдвардса и дал ему с размаху пощечину...

Несмотря на лёгкость и гибкость, Петя был не столько гуттаперчевым, сколько несчастным мальчиком.

II

Детские комнаты в доме графа Листомирова располагались на южную сторону и выходили в сад. Чудное было помещение! Каждый раз, как солнце было на небе, лучи его с утра до заката проходили в окна; в нижней только части окна завешивались голубыми тафтяными [1] занавесками для предохранения детского зрения от излишнего света. С тою же целью по всем комнатам разостлан был ковёр также голубого цвета и стены оклеены были не слишком светлыми обоями.

В одной из комнат вся нижняя часть стен была заставлена игрушками.

Пёстрые английские раскрашенные тетрадки и книжки, кроватки с куклами, картинки, комоды, маленькие кухни, фарфоровые сервизы, овечки и собачки на катушках обозначали владения девочек; столы с оловянными солдатами, картонная тройка серых коней с глазами страшно выпученными, увешанная бубенчиками, запряжённая в коляску, большой белый козёл, казак верхом, барабан и медная труба, звуки которой приводили всегда в отчаяние англичанку мисс Бликс, обозначали владения мальчиков. Комната эта так и называлась «игральной».

В среду на масленице в игральной комнате

[1] Тафта — лёгкая, тонкая шёлковая ткань.

было особенно весело. Её наполняли восторженные детские крики. Мудрёного нет; вот что было здесь, между прочим, сказано: «Деточки, вы с самого начала масленицы были послушны и милы; сегодня у нас среда; если вы будете так продолжать, вас в пятницу вечером возьмут в цирк!»

Слова эти были произнесены тётей Соней.

Не успела она проговорить своё обещание, как раздались возгласы, крики, сопровождаемые прыжками и другими более или менее выразительными изъявлениями радости. В этом порыве детской весёлости всех больше удивил Паф, пятилетний мальчик. Он был всегда таким тяжёлым и апатическим [1], но тут под впечатлением рассказов и того, что его ожидало в цирке, он вдруг бросился на четвереньки, поднял левую ногу и, страшно закручивая язык на щеку, поглядывая на присутствующих своими киргизскими глазками, принялся изображать клоуна.

— Подымите его, подымите скорее, ему кровь бросится в голову! — проговорила тётя Соня.

Новые крики, новое скаканье вокруг Пафа, который ни за что не хотел встать и упорно подымал то одну ногу, то другую.

— Дети, дети... довольно! Вы, кажется, не

[1] Апатический, апатичный — вялый, бездеятельный.

хотите больше быть умными... Не хотите слушать...— говорила тётя Соня, досадовавшая главным образом на то, что не умела сердиться.

Она обожала «своих детей», как сама выражалась. Действительно, надо сказать, дети были очень милы.

Старшей девочке, Верочке, было уже восемь лет; за нею шла шестилетняя Зина; мальчику было, как сказано, пять лет. Его звали Павлом; но мальчик получал одно за другим различные прозвища: Беби, Пузырь, Бутуз, Булка и, наконец, Паф — имя, которое так и осталось. Мальчик был пухлый, коротенький, с рыхлым белым телом, как сметана, с шарообразною головою и круглым лицом, на котором единственною заметною чертою были маленькие киргизские глазки, широко раскрывавшиеся, когда подавалось кушанье или говорилось о еде.

С той минуты, как обещано было представление в цирке, старшая дочь, Верочка, вся превратилась во внимание и зорко следила за поведением сестры и брата. Едва-едва начинался между ними признак разлада, она быстро к ним подбегала, оглядываясь в то же время на величавую мисс Бликс, принималась скоро-скоро шептать что-то Зизи и Пафу и, поочерёдно целуя то того, то другого, успевала всегда водворить между ними мир и согласие.

Наступила наконец так нетерпеливо ожидаемая пятница. На больших часах столовой про-

било двенадцать. В эту самую минуту один из лакеев растворил настежь двери, и дети, сопровождаемые англичанкой и швейцаркой, вошли в столовую. Завтрак прошёл, по обыкновению, очень чинно.

Зизи и Паф, предупреждённые Верочкой, не произнесли ни слова; Верочка не спускала глаз с сестры и брата; она заботливо предупреждала каждое их движение.

С окончанием завтрака мисс Бликс сочла своею обязанностью заявить графине, что никогда ещё не видела она, чтобы дети вели себя так примерно, как в эти последние дни. Графиня возразила, что она уже слышала об этом от сестры и потому распорядилась, приказав взять к вечеру ложу в цирке.

При этом известии Верочка, так долго крепившаяся, не могла больше владеть собою. Соскочив со стула, она принялась обнимать графиню с такой силой, что на секунду совершенно заслонила её лицо своими пушистыми волосами.

Верочка подошла к роялю, на котором лежали афишки; положив руку на одну из них, она обратила к матери голубые глаза свои и, вся замирая от нетерпения, проговорила нежно вопрошающим голосом:

— Мама... можно?.. Можно взять эту афишку?

— Можно.

— Зизи! Паф! — восторженно крикнула Ве-

рочка, потрясая афишкой.— Пойдёмте скорее! Я расскажу вам всё, что мы сегодня увидим в цирке; всё расскажу вам!.. Пойдёмте в наши комнаты!..

— Верочка! Верочка...— слабо, с укором проговорила графиня.

Но Верочка уже не слышала; она неслась, преследуемая сестрою и братом, за которыми, пыхтя и отдуваясь, едва поспевала мисс Бликс.

В игральной комнате, освещённой полным солнцем, стало ещё оживлённее.

На низеньком столе, освобождённом от игрушек, разложена была афишка.

Верочка настоятельно потребовала, чтобы все присутствующие: и тётя Соня, и мисс Бликс, и учительница музыки, и кормилица, вошедшая с младенцем,— все решительно уселись вокруг стола. Несравненно труднее было усадить Зизи и Пафа, которые, толкая друг друга, нетерпеливо осаждали Верочку то с одного бока, то с другого, взбирались на табуреты, ложились на стол и влезали локтями чуть не на середину афишки. Наконец с помощью тёти и это уладилось.

Откинув назад пепельные свои волосы, вытянув шею и положив ладони на края афишки, Верочка торжественно приступила к чтению.

— Милая моя,— тихо произнесла тётя Соня,— зачем же ты читаешь нам, в каком цир-

ке, в какой день, какого числа; всё это мы уже знаем; читай лучше дальше, в чём будет заключаться представление.

— Нет уж, душечка тётя, нет уж, ты только не мешай мне,— убедительно и с необыкновенною живостью перебила Верочка,— ангельчик тётя, не мешай!.. Уж я всё прочту... всё, всё... что тут напечатано... Ну, слушайте: «Парфорсное упражнение[1] на неосёдланной лошади. Исполнит девица...» Тётя, что такое парфорсное?..

— Это... это... Вероятно, что-нибудь очень интересное... Сегодня сами увидите! — сказала тётя, стараясь выйти из затруднения.

— Ну, хорошо, хорошо... Теперь все слушайте; дальше вот что: «Эквилибристические упражнения на воздушной трапеции...» Это, тётя, что же такое — трапеция?.. Как это будет? — спросила Верочка, отрываясь от афишки.

— Как будет? — нетерпеливо подхватила Зизи.

— Как?..— произнёс в свою очередь Паф, посматривая на тётю киргизскими глазками.

— Зачем же я буду всё это вам рассказывать? Не лучше ли будет, когда сами вы увидите?..

Затруднение тёти возрастало: она даже несколько покраснела.

---

[1] Парфорсное упражнение — цирковая езда на лошади с препятствиями, когда наездник на скаку делает различные упражнения.

Верочка снова откинула назад волосы, наклонилась к афишке и прочла с особенным жаром:

— «Гуттаперчевый мальчик. Воздушные упражнения на конце шеста вышиной в шесть аршин»! Нет, душечка тётя, это уж ты нам расскажешь!.. Это уж расскажешь!.. Какой это мальчик? Он настоящий? Живой?.. Что такое гуттаперчевый?

— Вероятно, его так называют потому, что он очень гибкий... Наконец, вы это увидите...

— Нет, нет, расскажи теперь, расскажи, как это он будет делать на воздухе и на шесте?.. Как это он будет делать?..

— Как будет он делать? — подхватила Зизи.

— Делать? — коротко осведомился Паф, открывая рот.

— Деточки, вы у меня спрашиваете слишком уж много. Я, право, ничего не могу вам объяснить. Сегодня вечером всё это будет перед вашими глазами. Верочка, ты бы продолжала. Ну что же дальше?

Но дальнейшее чтение не сопровождалось уже такой живостью; интерес заметно ослаб, он весь сосредоточился теперь на гуттаперчевом мальчике; гуттаперчевый мальчик сделался предметом разговоров, различных предположений и даже спора.

Зизи и Паф не хотели даже слушать продолжение того, что было дальше на афишке; они оставили свои табуреты и принялись шумно

играть, представляя, как будет действовать гуттаперчевый мальчик. Паф снова становился на четвереньки, подымал, как клоун, левую ногу и, усиленно пригибая язык к щеке, посматривал на всех своими киргизскими глазками, что всякий раз вызывало восклицание у тёти Сони, боявшейся, чтобы кровь не бросилась ему в голову. Торопливо дочитав афишку, Верочка присоединилась к сестре и брату.

Никогда ещё не было так весело в игральной комнате. Солнце, склоняясь к крышам соседних флигелей за садом, освещало группу играющих детей, освещало их радостные, весёлые раскрасневшиеся лица, играло на разбросанных повсюду пёстрых игрушках, скользило по мягкому ковру, наполняло всю комнату мягким тёплым светом. Всё, казалось, здесь радовалось и ликовало.

Детский обед прошёл в расспросах о том, какая погода и который час. Тётя Соня напрасно употребляла все усилия, чтобы дать мыслям детей другое направление и внести сколько-нибудь спокойствия. После обеда тётя возвратилась в детскую; с сияющим лицом объявила она, что граф и графиня велели одевать детей и везти их в цирк.

Вихрем всё поднялось и завозилось в комнате, освещённой теперь лампами. Пришлось стращать, что оставят дома тех, кто не будет слушаться и не даст себя как следует закутать. Вскоре детей вывели на парадную лестни-

цу, снова внимательно осмотрели и прикутали и наконец выпустили на подъезд, перед которым стояла четырёхместная карета, полузанесённая снегом...

Дверцы кареты захлопнулись, лакей вскочил на козлы, карета тронулась.

III

Представление в цирке ещё не начиналось. Цирк, особенно в верхних ярусах, был набит посетителями. Изящная публика, по обыкновению, запаздывала. Оркестр гремел всеми своими трубами. Круглая арена, залитая светом с боков и сверху, гладко выглаженная граблями, была ещё пуста.

Неожиданно оркестр заиграл учащённым темпом. Занавес у входа в конюшню раздвинулся и пропустил человек двадцать, одетых в красные ливреи, обшитые галуном; все они были в ботфортах, волосы на их головах были круто завиты и лоснились от помады.

Сверху донизу цирка прошёл одобрительный говор. Представление начиналось. Ливрейный персонал цирка не успел вытянуться, по обыкновению, в два ряда, как уже со стороны конюшен послышались пронзительный писк и хохот, и целая ватага клоунов, кувыркаясь, падая на руки и взлетая на воздух, выбежала на арену.

Впереди всех был клоун с большими бабоч-

ками на груди и на спине камзола. Зрители узнали в нём тотчас же любимца Эдвардса.

— Браво, Эдвардс! Браво! Браво! — раздалось со всех сторон.

Но Эдвардс на этот раз обманул ожидания. Он не сделал никакой особенной штуки; кувыркнувшись раз-другой через голову и пройдясь вокруг арены, балансируя павлиньим пером на носу, он быстро скрылся. Сколько потом ему ни хлопали и ни вызывали его, он не являлся.

На смену ему поспешно была выведена толстая белая лошадь и выбежала, грациозно приседая на все стороны, пятнадцатилетняя Амалия.

Девицу Амалию сменил жонглёр; за жонглёром вышел клоун с учёными собаками; после них танцевали на проволоке, выводили лошадь высшей школы, скакали на одной лошади без седла, на двух лошадях с сёдлами — словом, представление шло своим чередом до наступления антракта.

— Душечка тётя, теперь будет гуттаперчевый мальчик, да? — спросила Верочка.

— Да, в афише сказано: он во втором отделении... Ну что, как? Весело ли вам, деточки?

— Ах, очень, очень весело!.. О-че-нь! — восторженно воскликнула Верочка.

— Ну а тебе, Зизи? Тебе, Паф, весело ли?

— А стрелять будут? — спросила Зизи.

— Нет, успокойся; сказано — не будут!

От Пафа ничего нельзя было добиться: с первых минут антракта всё внимание его было поглощено лотком с лакомствами и яблоками, появившимся на руках разносчика.

Оркестр снова заиграл, снова выступили в два ряда красные ливреи. Началось второе отделение.

— Когда же будет гуттаперчевый мальчик? — не переставали спрашивать дети каждый раз, как один выход сменял другой.— Когда же он будет?..

— А вот сейчас...

И действительно. Под звуки весёлого вальса портьера раздвинулась и показалась рослая фигура акробата Беккера, державшего за руку худенького белокурого мальчика. Оба были обтянуты в трико телесного цвета, обсыпанное блёстками. За ними два прислужника вынесли длинный золочёный шест с железным перехватом на одном конце.

Выйдя на середину арены, Беккер и мальчик раскланялись на все стороны, после чего Беккер приставил правую руку к спине мальчика и перекувырнул его три раза в воздухе. Но это было только вступление. Раскланявшись вторично, Беккер поднял шест, поставил его перпендикулярно, укрепил толстый его конец к золотому поясу, обхватывавшему живот, и начал приводить в равновесие другой конец с железным перехватом, едва мелькавшим под куполом



цирка. Приведя таким образом шест в должное равновесие, акробат шепнул несколько слов мальчику, который влез ему сначала на плечи, потом обхватил шест тонкими руками и ногами и стал постепенно подыматься кверху. Каждое движение мальчика приводило в колебание шест и передавалось Беккеру, продолжавшему балансировать, переступая с одной ноги на другую.

Громкое «браво» раздалось в зале, когда мальчик достиг наконец верхушки шеста и послал оттуда поцелуй. Снова всё смолкло, кроме оркестра, продолжавшего играть вальс. Мальчик между тем, придерживаясь за железную перекладину, вытянулся на руках и тихо-тихо начал выгибаться назад, стараясь пропустить ноги между головою и перекладиной; на минуту можно было видеть только его свесившиеся назад белокурые волосы и усиленно дышавшую грудь, усыпанную блёстками. Шест колебался из стороны в сторону, и видно было, каких трудов стоило Беккеру продолжать держать его в равновесии.

— Браво!.. Браво!.. — раздалось снова в зале.

— Довольно!.. Довольно!.. — послышалось в двух-трёх местах.

Но крики и аплодисменты наполнили весь цирк, когда мальчик снова показался сидящим на перекладине и послал оттуда поцелуй. Беккер, не спускавший глаз с мальчика, шепнул

снова что-то. Мальчик немедленно перешёл к другому упражнению. Придерживаясь на руках, он начал осторожно спускать ноги и ложиться на спину. Теперь предстояла самая трудная штука: следовало сначала лечь на спину, уладиться на перекладине таким образом, чтобы привести ноги в равновесие с головой, и потом вдруг, неожиданно, сползти на спине назад и повиснуть в воздухе, придерживаясь только на подколенках.

Всё шло, однако ж, благополучно. Шест, правда, сильно колебался, но гуттаперчевый мальчик был уже на половине дороги; он заметно перегибался всё ниже и ниже и начинал скользить на спине.

— Довольно! Довольно! Не надо! — настойчиво прокричало несколько голосов.

Мальчик продолжал скользить на спине и тихо-тихо спускался вниз головою... Внезапно что-то сверкнуло и завертелось, сверкая в воздухе, в ту же секунду послышался глухой звук чего-то упавшего на арену.

В один миг всё взволновалось в зале. Часть публики поднялась с мест и зашумела; раздались крики и женский визг; послышались голоса, раздражённо призывавшие доктора. На арене также происходила сумятица: прислуга и клоуны стремительно перескакивали через барьер и тесно обступили Беккера, который вдруг скрылся между ними. Несколько человек подхватили что-то и, пригибаясь, спешно стали

выносить к портьере, закрывавшей вход в конюшню. На арене остался только длинный золочёный шест с железной перекладиной на одном конце.

Оркестр, замолкнувший на минуту, снова вдруг заиграл по данному знаку; на арену выбежало, взвизгивая и кувыркаясь, несколько клоунов, но на них уже не обращали внимания. Публика отовсюду теснилась к выходу.

Несмотря на всеобщую суету, многим бросилась в глаза хорошенькая белокурая девочка в голубой шляпке и мантилье; обвивая руками шею дамы в чёрном платье и рыдая, она не переставала кричать во весь голос:

— Ай, мальчик! мальчик!..

На следующее утро афишка цирка не возвещала упражнений «гуттаперчевого мальчика». Имя его и потом не упоминалось, да и нельзя было: гуттаперчевого мальчика уже не было на свете.

Н. Г. Гарин-Михайловский

Писатель, инженер, общественный деятель Николай Георгиевич Гарин-Михайловский (1852—1906), по воспоминаниям современников, был красивым, щеголеватым, очень подвижным человеком с молодыми и быстрыми глазами. Он строил мосты, тоннели, железные дороги, участвовал в войне, много путешествовал, работал во многих газетах. Михайловский — это его настоящая фамилия — был состоятельным человеком и очень щедрым: он раздавал свои деньги крестьянам, устраивал новогодние ёлки с подарками для деревенских детей, а в конце жизни отдал часть состояния партии большевиков.

Свои произведения он создавал как будто на ходу, на бегу. Жизнерадостный человек, он обо всём рассказывал взволнованно-радостно. Так написана и повесть «Детство Тёмы», в которой Михайловский вспоминает своё детство. Это произведение он подписал псевдонимом «Гарин» (Гарей звали его сына). «Тёма и Жучка» — отрывок из повести, лишь маленький эпизод из жизни Тёмы, главного героя произведения. Можно себе представить, сколь мужественно преодолевал в себе страх мальчик, спасая верного друга — Жучку. У многих ли были подобные случаи? О дальнейшей судьбе Тёмы подросшие читатели узнают из повестей «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры». А. М. Горький назвал эту тетралогию (произведение, состоящее из четырёх частей) «целой эпопеей» жизни людей конца девятнадцатого века.

ТЁМА И ЖУЧКА

Тёма вспомнил, что целый день не видал своей Жучки. Жучка никогда никуда не отлучалась.

Тёме пришли вдруг в голову таинственные недружелюбные намёки Акима, не любившего Жучку за то, что она таскала у него провизию. Подозрение закралось в его душу...

Куда могла деваться Жучка?

Перед ним живо рисовалась Жучка, тихая, безобидная Жучка, и мысль, что её могли убить, наполнила его сердце такой горечью, что он не выдержал, отворил окно и стал звать изо всей силы:

— Жучка, Жучка! На, на, на! Цу-цу! Цу-цу! Фью, фью, фью!

В комнату ворвался шум дождя и свежий сырой воздух. Жучка не отзывалась...

Мысль, что он больше не увидит своей курчавой Жучки, не увидит больше, как она при его появлении будет жалостно визжать и ползти к нему на брюхе, мысль, что, может быть, уже больше её нет на свете, переполняла душу Тёмы отчаянием, и он тоскливо продолжал кричать:

— Жучка! Жучка!

Голос его дрожал и вибрировал, звучал так нежно и трогательно, что Жучка должна была отозваться.

Но ответа не было.

Что делать? Надо немедленно искать Жучку...

Тёма спустился по лестнице, которая вела на кухню, осторожно пробрался мимо дверей, узким коридором достиг выхода, некоторое время постоял в раздумье и выбежал во двор.

Осмотрев чёрный двор, он заглянул во все любимые закоулки Жучки, но Жучки нигде не было...

* * *

Ночь. Тёма спит нервно и возбуждённо...

Неясный полусвет ночника слабо освещает четыре детские кроватки и пятую большую, на которой сидит теперь няня в одной рубахе, с выпущенной косой, сидит и сонно качает маленькую Аню.

— Няня, где Жучка? — спрашивает Тёма.

— И-и,— отвечает няня.— Жучку в старый колодец бросил какой-то ирод.— И, помолчав, прибавляет: — Хоть бы убил сперва, а то так, живьём... Весь день, говорят, визжала, сердечная...

Тёме живо представляется старый, заброшенный колодец в углу сада, давно превращённый в свал всяких нечистот, представляется скользящее жидкое дно его, которое иногда с Иоськой они любили освещать, бросая туда зажжённую бумагу.

— Кто бросил? — спрашивает Тёма.

— Да ведь кто? Разве скажет!

Тёма с ужасом вслушивается в слова няни. Мысли роем теснятся в его голове, у него мелькает масса планов, как спасти Жучку, он переходит от одного невероятного проекта к другому и незаметно для себя снова засыпает. Он просыпается опять от какого-то толчка среди прерванного сна, в котором он всё вытаскивал Жучку какой-то длинной петлей. Но Жучка всё обрывалась, пока он не решил сам лезть за нею. Тёма совершенно явственно помнит, как он привязал верёвку к столбу и, держась за эту верёвку, начал осторожно спускаться по срубу вниз; он уже добрался до половины, когда ноги его вдруг соскользнули и он стремглав полетел на дно вонючего колодца. Он проснулся от этого падения и опять вздрогнул, когда вспомнил впечатление падения.

Сон с поразительной ясностью стоял перед ним. Через ставни слабо брезжил начинающийся рассвет.

Тёма чувствовал во всём теле какую-то болезненную истому, но, преодолев слабость, решил немедля выполнить первую половину сна. Он начал быстро одеваться...

Одевшись, Тёма подошёл к няниной постели, поднял лежавшую на полу коробочку с серными спичками, взял горсть их к себе в карман, на цыпочках прошёл через детскую и вышел в столовую. Благодаря стеклянной двери на террасу здесь было уже порядочно светло.

В столовой царил обычный утренний беспо-

рядок: на столе стояли холодный самовар, грязные стаканы, чашки, валялись на скатерти куски хлеба, стояло холодное блюдо жаркого с застывшим белым жиром.

Тёма подошёл к отдельному столику, на котором лежала кипа газет, осторожно выдернул из середины несколько номеров, на цыпочках подошёл к стеклянной двери и тихо, чтобы не произвести шума, повернул ключ, нажал ручку и вышел на террасу.

Его обдало свежей сыростью рассвета.

День только что начинался. По бледному голубому небу там и сям точно клочьями повисли мохнатые пушистые облака. Над садом лёгкой дымкой стоял туман. На террасе было пусто, и только платок матери одиноко валялся, забытый на скамейке.

Он спустился по ступенькам террасы в сад. В саду царил такой же беспорядок вчерашнего дня, как и в столовой. Цветы с слепившимися перевёрнутыми листьями, как их прибил вчера дождь, пригнулись к грязной земле. Мокрые жёлтые дорожки говорили о силе вчерашних потоков. Деревья с опрокинутой ветром листвой так и остались наклонёнными, точно забывшись в сладком предрассветном сне.

Тёма пошёл по главной аллее, потому что в каретнике надо было взять для петли вожжи. Что касается до жердей, то он решил выдернуть их из беседки.

Каретник оказался запертым, но Тёма знал

и без замка ход в него: он пригнулся к земле и подлез в подрытую собаками подворотню. Очутившись в сарае, он взял двое вожжей и захватил на всякий случай длинную верёвку, служившую для просушки белья.

При взгляде на фонарь он подумал, что будет удобнее осветить колодец фонарём, чем бумагой, потому что горящая бумага может упасть на Жучку — обжечь её.

Выбравшись из сарая, Тёма избрал кратчайший путь к беседке: перелез прямо через стену, отделявшую чёрный двор от сада. Он взял в зубы фонарь, намотал на шею вожжи, подвязался верёвкой и полез на стену. Он мастер был лазить, но сегодня трудно было взбираться: в голову точно стучали два молотка, и он едва не упал.

Взобравшись наверх, он на мгновение присел, тяжело дыша, потом свесил ноги и наклонился, чтобы выбрать место, куда прыгнуть. Он увидел под собой сплошные виноградные кусты и только теперь спохватился, что его всего забрызгает, когда он попадёт в свеженамоченную листву. Он оглянулся было назад, но, дорожа временем, решил прыгать. Он всё-таки наметил глазами более редкое место и спрыгнул прямо на черневший кусок земли. Тем не менее это его не спасло от брызг, так как надо было пробираться между сплошными кустами виноградника, и он вышел на дорожку совершенно мокрый. Эта холодная ванна мгновенно

освежила его, и он почувствовал себя настолько бодрым и здоровым, что пустился рысью к беседке, взобрался проворно на горку, выдернул несколько самых длинных прутьев и большими шагами по откосу горы спустился вниз...

Подбежав к отверстию старого заброшенного колодца, пустынно торчавшего среди глухой, поросшей только высокой травой местности, Тёма вполголоса позвал:

— Жучка, Жучка!

Тёма замер в ожидании ответа.

Сперва он ничего, кроме биения своего сердца да ударов молотков в голове, не слышал. Но вот откуда-то издалека, снизу, донёсся до него жалобный протяжный стон. От этого стона сердце Тёмы мучительно сжалось, и у него каким-то воплем вырвался новый громкий оклик:

— Жучка, Жучка!

На этот раз Жучка, узнав голос хозяина, радостно и жалобно завизжала.

Тёму до слёз тронуло, что Жучка его узнала.

— Милая Жучка! Милая, милая, я сейчас тебя вытащу! — кричал он ей, точно она понимала его.

Жучка ответила новым радостным визгом, и Тёме казалось, что она просила его поторопиться исполнением обещания.

— Сейчас, Жучка, сейчас,— ответил ей Тёма и принялся, с сознанием всей ответственности принятого на себя обязательства перед Жучкой, выполнять свой сон.

Прежде всего он решил выяснить положение дела. Он почувствовал себя бодрым и напряжённым, как всегда.

Болезнь куда-то исчезла. Привязать фонарь, зажечь его и опустить в яму было делом одной минуты.

Тёма, наклонившись, стал вглядываться.

Фонарь тускло освещал потемневший сруб колодца, теряясь всё глубже и глубже в охватившем его мраке, и наконец на трёхсаженной глубине осветил дно.

Тонкой глубокой щелью какой-то далёкой панорамы [1] мягко сверкнула перед Тёмой в бесконечной глубине мрака неподвижная, прозрачная, точно зеркальная, гладь вонючей поверхности, тесно обросшая со всех сторон слизистыми стенками полусгнившего сруба.

Каким-то ужасом смерти пахнуло на него со дна этой далёкой, нежно светившейся страшной глади. Он точно почувствовал на себе её прикосновение и содрогнулся за свою Жучку. С замиранием сердца заметил он в углу чёрную шевелившуюся точку и едва узнал, вернее, угадал в этой беспомощной фигурке свою некогда резвую, весёлую Жучку, державшуюся теперь на выступе сруба. Терять времени было нельзя. От страха, хватит ли у Жучки силы дождаться, пока он всё приготовит, у Тёмы удвоилась

---

[1] Панорама — вид местности, открывающийся обычно с высоты.

энергия. Он быстро вытащил назад фонарь, а чтобы Жучка не подумала, очутившись опять в темноте, что он её бросил, Тёма во всё время приготовления кричал:

— Жучка, Жучка, я здесь!

И радовался, что Жучка отвечает ему постоянно тем же радостным визгом. Наконец всё было готово. При помощи вожжей фонарь и два шеста с перекладиной внизу, на которой лежала петля, начали медленно спускаться в колодец.

Но этот так обстоятельно обдуманный план потерпел неожиданное и непредвиденное фиаско [1] благодаря стремительности Жучки, испортившей всё.

Жучка, очевидно, поняла только одну сторону идеи, а именно, что спустившийся снаряд имел целью её спасение, и поэтому, как только он достиг её, она сделала попытку схватиться за него лапами. Этого прикосновения было достаточно, чтобы петля бесполезно соскочила, а Жучка, потеряв равновесие, свалилась в грязь. Она стала барахтаться, отчаянно визжа и тщетно отыскивая оставленный ею выступ.

Мысль, что он ухудшил положение дел, что Жучку можно было ещё спасти и теперь он сам виноват в том, что она погибнет, что он сам устроил гибель своей любимице, заставляет Тёму, не думая, благо план готов, решиться на

---

[1] Фиаско — поражение.



выполнение второй части сна — самому спуститься в колодец.

Он привязывает вожжу к одной из стоек, поддерживающих перекладину, и лезет в колодец. Он сознаёт только одно: что времени терять нельзя ни секунды.

Его обдаёт вонью и смрадом. На мгновенье в душу закрадывается страх, как бы не задохнуться, но он вспоминает, что Жучка сидит там уже целые сутки; это успокаивает его, и он спускается дальше. Он осторожно щупает спускающейся ногой новую для себя опору и, найдя её, сначала пробует, потом твёрдо упирается и спускает следующую ногу.

Добравшись до того места, где застряли брошенные жердь и фонарь, он укрепляет покрепче фонарь, отвязывает конец вожжи и спускается дальше. Вонь всё-таки даёт себя чувствовать и снова беспокоит и пугает его. Тёма начинает дышать ртом. Результат получается блестящий: вони нет, страх окончательно улетучивается.

Снизу тоже благополучные вести. Жучка, опять уже усевшаяся на прежнее место, успокоилась и весёлым попискиванием выражает сочувствие безумному предприятию.

Это спокойствие и твёрдая уверенность Жучки передаются мальчику, и он благополучно достигает дна.

Между ним и Жучкой происходит трогательное свидание друзей, не чаявших уже больше

свидеться в этом мире. Он наклоняется, гладит её, она лижет его пальцы, и — так как опыт заставляет её быть благоразумной — она не трогается с места, но зато так трогательно, так нежно визжит, что Тёма готов заплакать...

Не теряя времени, он, осторожно держась зубами за изгаженную вожжу, обвязывает свободным её концом Жучку, затем поспешно карабкается наверх.

Жучка, видя такую измену, подымает отчаянный визг, но этот визг только побуждает Тёму быстрее подниматься.

Но подниматься труднее, чем спускаться! Нужен воздух, нужны силы, а того и другого у Тёмы уже мало. Он судорожно ловит в себя всеми лёгкими воздух колодца, рвётся вперёд и чем больше торопится, тем скорее оставляют его силы.

Тёма поднимает голову, смотрит вверх, в далёкое ясное небо, видит где-то высоко над собою маленькую весёлую птичку, беззаботно скачущую по краю колодца, и сердце его сжимается тоской: он чувствует, что не долезет.

Страх охватывает его. Он растерянно останавливается, не зная, что делать: кричать, плакать, звать маму? Чувство одиночества, бессилия, сознание гибели закрадывается в его душу...

— Не надо бояться, не надо бояться! — говорит он дрожащим от ужаса голосом.— Стыдно бояться! Трусы только боятся. Кто де-

лает дурное — боится, а я дурного не делаю: я Жучку вытаскиваю: меня и папа и мама за это похвалят. Папа на войне был, там страшно, а здесь разве страшно? Здесь ни капельки не страшно. Вот отдохну и полезу дальше, потом опять, опять отдохну и опять полезу, так и вылезу, потом и Жучку вытащу. Жучка рада будет, все будут удивляться, как я её вытащил.

Тёма говорит громко, у него голос крепнет, звучит энергичнее, твёрже, и, наконец успокоенный, он продолжает взбираться дальше.

Когда он снова чувствует, что начинает уставать, он опять громко говорит себе:

— Теперь опять отдохну и потом опять полезу. А когда я вылезу и расскажу, как я смешно кричал сам на себя, все будут смеяться, и я тоже.

Тёма улыбается и снова спокойно ждёт прилива сил.

Таким образом, незаметно его голова высовывается наконец над верхним срубом колодца. Он делает последнее усилие, вылезает сам и вытаскивает Жучку.

Теперь, когда дело сделано, силы быстро оставляют его.

Почувствовав себя на твёрдой почве, Жучка энергично встряхивается, бешено бросается на грудь Тёмы и лижет его в самые губы. Но это мало, слишком мало для того, чтобы выразить всю её благодарность,— она кидает-

ся ещё и ещё. Она приходит в какое-то безумное неистовство.

Тёма бессильно, слабеющими руками отмахивается от неё, поворачивается к ней спиной, надеясь этим манёвром спасти хоть лицо от липкой вонючей грязи.

Занятый одной мыслью — не испачкать об Жучку лицо, Тёма ничего не замечает, но вдруг его глаза случайно падают на кладбищенскую стену, и Тёма замирает на месте.

Он видит, как из-за стены медленно поднимается чья-то чёрная страшная голова.

Напряженные нервы Тёмы не выдерживают, он испускает неистовый крик и без сознания валится на траву, к великой радости Жучки, которая теперь уже свободно, без препятствий, выражает ему свою горячую любовь и признательность за спасение.

Еремей (это был он), подымавшийся со свеженакошенной травой со старого кладбища, увидев Тёму, сообразил, что надо спешить к нему на помощь.

Через час Тёма, лёжа на своей кроватке с ледяными компрессами на голове, пришёл в себя.

А. И. Куприн

Александр Иванович Куприн (1870—1938) — известный русский писатель. Нелёгкой была его жизнь. Он рано остался без родителей, жил в сиротском приюте, терпел нужду и попрёки. Затем десять лет воспитывался в закрытом военном учебном заведении и до конца жизни вспоминал об унизительных розгах за малейшую провинность.

Куприн быстро оставил военную службу, много путешествовал, знакомился с жизнью, менял одну профессию за другой и всё время писал рассказы. Как-то решил обучать грамоте крестьянских детей. Посчитал существующие учебники трудными, непонятными, составил собственную азбуку с доступными крестьянам картинками. Однажды Александра Ивановича спросили, какая из профессий ему больше всего по душе, он ответил: «Работа с детьми». И признался: «Я писал бы одни хрестоматии и рассказы для детей». Куприн никогда ничего не выдумывал, многие его произведения возникли из действительных случаев, например «Белый пудель». Работая над рассказом «Изумруд», он привёл домой лошадь, объяснив, что хочет посмотреть, как спят лошади и видят ли они сны.

Дочь Куприна, Ксения Александровна, вспоминает, что её отец был человеком любопытным, любознательным и зорким: «Он как-то сказал, что хотел бы стать на несколько минут каждым человеком, встреченным им, каждым животным, мухой или растением, чтобы знать, о чём они думают, что чувствуют». Наверное, потому, что в душе его таилась нежная любовь к окружающему, так близки и понятны читателям радости и огорчения его героев.

СЛОН

1

Маленькая девочка нездорова. Каждый день к ней ходит доктор Михаил Петрович, которого она знает уже давно-давно. А иногда он приводит с собою ещё двух докторов, незнакомых. Они переворачивают девочку на спину и на живот, слушают что-то, приложив ухо к телу, оттягивают вниз глазные веки и смотрят. При этом они как-то важно посапывают, лица у них строгие, и говорят они между собой на непонятном языке.

Потом переходят из детской в гостиную, где их дожидается мама. Самый главный доктор — высокий, седой, в золотых очках — рассказывает ей о чём-то серьёзно и долго. Дверь не закрыта, и девочке с её кровати всё видно и слышно. Многого она не понимает, но знает, что речь идёт о ней. Мама глядит на доктора большими усталыми, заплаканными глазами. Прощаясь, главный доктор говорит громко:

— Главное, не давайте ей скучать. Исполняйте все её капризы.

— Ах, доктор, но она ничего не хочет!

— Ну, не знаю...и вспомните, что ей нравилось раньше, до болезни. Игрушки... какие-нибудь лакомства...

— Нет, нет, доктор, она ничего не хочет...

— Ну постарайтесь её как-нибудь раз-

влечь... Ну хоть чем-нибудь... Даю вам честное слово, что если вам удастся её рассмешить, развеселить, то это будет лучшим лекарством. Поймите же, что ваша дочка больна равнодушием к жизни и больше ничем... До свидания, сударыня!

2

— Милая Надя, милая моя девочка,— говорит мама,— не хочется ли тебе чего-нибудь?

— Нет, мама, ничего не хочется.

— Хочешь, я посажу к тебе на постельку всех твоих кукол. Мы поставим креслица, диван, столик и чайный прибор. Куклы будут пить чай и разговаривать о погоде и о здоровье своих детей.

— Спасибо, мама... Мне не хочется... Мне скучно...

— Ну хорошо, моя девочка, не надо кукол. А может быть, позвать к тебе Катю или Женечку? Ты ведь их так любишь.

— Не надо, мама. Правда же не надо. Я ничего, ничего не хочу. Мне так скучно!

— Хочешь, я тебе принесу шоколаду?

Но девочка не отвечает и смотрит в потолок неподвижными невесёлыми глазами. У неё ничего не болит и даже нету жара. Но она худеет и слабеет с каждым днём. Что бы с ней ни делали, ей всё равно, и ничего ей не нужно. Так лежит она целые дни и целые ночи, тихая, пе-



чальная. Иногда она задремлет на полчаса, но и во сне ей видится что-то серое, длинное, скучное, как осенний дождик.

Когда из детской отворена дверь в гостиную, а из гостиной дальше в кабинет, то девочка видит папу. Папа ходит быстро из угла в угол и всё курит, курит. Иногда он приходит в детскую, садится на край постельки и тихо поглаживает Надины ноги. Потом вдруг встаёт и отходит к окну. Он что-то насвистывает, глядя на улицу, но плечи у него трясутся. Затем он торопливо прикладывает платок к одному глазу, к другому и, точно рассердясь, уходит к себе в кабинет. Потом он опять бегает из угла в угол

и всё... курит, курит, курит... И кабинет от табачного дыма делается весь синий.

3

Но однажды утром девочка просыпается немного бодрее. Она что-то видела во сне, но никак не может вспомнить, что именно, и смотрит долго и внимательно в глаза матери.

— Тебе что-нибудь нужно? — спрашивает мама.

Но девочка вдруг вспоминает свой сон и говорит шёпотом, точно по секрету:

— Мама... а можно мне... слона? Только не того, который нарисован на картинке... Можно?

— Конечно, моя девочка, конечно, можно.

Она идёт в кабинет и говорит папе, что девочка хочет слона. Папа тотчас же надевает пальто и шляпу и куда-то уезжает. Через полчаса он возвращается с дорогой красивой игрушкой. Это большой серый слон, который сам качает головой и машет хвостом; а на слоне красное седло, на седле золотая палатка, и в ней сидят трое маленьких человечков. Но девочка глядит на игрушку так же равнодушно, как на потолок и на стены, и говорит вяло:

— Нет. Это совсем не то. Я хотела настоящего, живого слона, а этот мёртвый...

— Ты погляди только, Надя,— говорит папа.— Мы его сейчас заведём, и он будет совсем-совсем как живой.

Слона заводят ключиком, и он, покачивая головой и помахивая хвостом, начинает переступать ногами и медленно идёт по столу. Девочке это вовсе не интересно и даже скучно, но, чтобы не огорчить отца, она шепчет кротко:

— Я тебя очень, очень благодарю, милый папа. Я думаю, ни у кого нет такой интересной игрушки... Только... помнишь... ведь ты давно обещал свозить меня в зверинец посмотреть на настоящего слона... и ни разу не повёз...

— Но, послушай же, милая моя девочка, пойми, что это невозможно. Слон очень большой, он до потолка, он не поместится в наших комнатах... И потом, где я его достану?

— Папа, да мне не нужно такого большого... Ты мне привези хоть маленького, только живого. Ну хоть вот, вот такого... Хоть слонёнышка...

— Милая девочка, я рад всё для тебя сделать, но этого я не могу. Ведь это всё равно, как если бы ты вдруг мне сказала: папа, достань мне с неба солнце.

Девочка грустно улыбается:

— Какой ты глупый, папа. Разве я не знаю, что солнце нельзя достать, потому что оно жжётся. И луну тоже нельзя. Нет, мне бы слоника... настоящего.

И она тихо закрывает глаза и шепчет:

— Я устала... Извини меня, папа...

Папа хватает себя за волосы и убегает в кабинет. Там он некоторое время мелькает из угла в угол. Потом решительно бросает на пол

недокуренную папиросу (за что ему всегда достаётся от мамы) и кричит горничной:

— Ольга! Пальто и шляпу!

В переднюю выходит мама.

— Ты куда, Саша? — спрашивает она.

Он тяжело дышит, застёгивая пуговицы пальто.

— Я сам, Машенька, не знаю куда... Только, кажется, я сегодня к вечеру и в самом деле приведу сюда, к нам, настоящего слона.

Жена смотрит на него тревожно.

— Милый, здоров ли ты? Не болит ли у тебя голова? Может быть, ты плохо спал сегодня?

— Я совсем не спал,— отвечает он сердито.— Я вижу, ты хочешь спросить, не сошёл ли я с ума? Покамест ещё нет. До свидания! Вечером всё будет видно.

И он исчезает, громко хлопнув входной дверью.

4

Через два часа он сидит в зверинце, в первом ряду, и смотрит, как учёные звери по приказанию хозяина выделывают разные штуки. Умные собаки прыгают, кувыркаются, танцуют, поют под музыку, складывают слова из больших картонных букв. Обезьянки — одни в красных юбках, другие в синих штанишках — ходят по канату и ездят верхом на большом пуделе. Огромные рыжие львы скачут сквозь горящие обручи. Неуклюжий тюлень стреляет

из пистолета. Под конец выводят слонов. Их три: один большой, два совсем маленькие карлики, но всё-таки ростом куда больше, чем лошадь. Странно смотреть, как эти громадные животные, на вид такие неповоротливые и тяжёлые, исполняют самые трудные фокусы, которые не под силу и очень ловкому человеку. Особенно отличается самый большой слон. Он становится сначала на задние лапы, садится, становится на голову, ногами вверх, ходит по деревянным бутылкам, ходит по катящейся бочке, переворачивает хоботом страницы большой картонной книги и наконец садится за стол и, повязавшись салфеткой, обедает, совсем как благовоспитанный мальчик.

Представление оканчивается. Зрители расходятся. Надин отец подходит к толстому немцу, хозяину зверинца. Хозяин стоит за дощатой перегородкой и держит во рту большую чёрную сигару.

— Извините, пожалуйста,— говорит Надин отец.— Не можете ли вы отпустить вашего слона ко мне домой на некоторое время?

Немец от удивления широко открывает глаза и даже рот, отчего сигара падает на землю. Он, кряхтя, нагибается, подымает сигару, вставляет её опять в рот и только тогда произносит:

— Отпустить? Слона? Домой? Я вас не понимаю.

По глазам немца видно, что он тоже хочет

спросить, не болит ли у Надиного отца голова... Но отец поспешно объясняет, в чём дело: его единственная дочь, Надя, больна какой-то странной болезнью, которой даже доктора не понимают как следует. Она лежит уже месяц в кроватке, худеет, слабеет с каждым днём,ничем не интересуется, скучает и потихоньку гаснет. Доктора велят её развлекать, но ей ничто не нравится, велят исполнять все её желания, но у неё нет никаких желаний. Сегодня она захотела видеть живого слона. Неужели это невозможно сделать?

И он добавляет дрожащим голосом, взявши немца за пуговицу пальто:

— Ну вот... Я, конечно, надеюсь, что моя девочка выздоровеет. Но... спаси бог... а вдруг её болезнь окончится плохо... вдруг девочка умрёт?.. Подумайте только: ведь меня всю жизнь будет мучить мысль, что я не исполнил её последнего, самого последнего желания!

Немец хмурится и в раздумье чешет мизинцем левую бровь. Наконец он спрашивает:

— Гм... А сколько вашей девочке лет?

— Шесть.

— Гм... Моей Лизе тоже шесть. Гм... Но, знаете, вам это будет дорого стоить. Придётся привести слона ночью и только на следующую ночь увести обратно. Днём нельзя. Соберётся публикум, и сделается один скандал... Таким образом, выходит, что я теряю целый день, и вы мне должны возвратить убыток.

— О, конечно, конечно... Не беспокойтесь об этом...

— Потом: позволит ли полиция вводить один слон в один дом?

— Я это устрою. Позволит.

— Ещё один вопрос: позволит ли хозяин вашего дома вводить в свой дом один слон?

— Позволит. Я сам хозяин этого дома.

— Ага! Это ещё лучше. И потом ещё один вопрос: в котором этаже вы живёте?

— Во втором.

— Гм... Это уж не так хорошо. Имеете ли вы в своём доме широкую лестницу, высокий потолок, большую комнату, широкие двери и очень крепкий пол? Потому что мой Томми имеет высоту три аршина и четыре вершка, а в длину пять с половиной аршин. Кроме того, он весит сто двенадцать пудов.

Надин отец задумывается на минуту.

— Знаете ли что? — говорит он. — Поедем сейчас ко мне и рассмотрим всё на месте. Если надо, я прикажу расширить проход в стенах.

— Очень хорошо! — соглашается хозяин зверинца.

5

Ночью слона ведут в гости к больной девочке.

В белой попоне он важно шагает по самой середине улицы, покачивает головой и то свива-

ет, то развивает хобот. Вокруг него, несмотря на поздний час, большая толпа. Но слон не обращает на неё внимания: он каждый день видит сотни людей в зверинце. Только один раз он немного рассердился.

Какой-то уличный мальчишка подбежал к нему под самые ноги и начал кривляться на потеху зевакам.

Тогда слон спокойно снял с него хоботом шляпу и перекинул через соседний забор, утыканный гвоздями.

Городовой идёт среди толпы и уговаривает её:

— Господа, прошу разойтись. И что вы тут находите такого необыкновенного? Удивляюсь! Точно не видали никогда живого слона на улице.

Подходят к дому. На лестнице, так же как и по всему пути слона — до самой столовой, все двери растворены настежь, для чего приходилось отбивать молотком дверные щеколды...

Но перед лестницей слон останавливается в беспокойстве и упрямится.

— Надо дать ему какое-нибудь лакомство...— говорит немец.— Какой-нибудь сладкий булка или что... Но... Томми! Ого-го!.. Томми!..

Надин отец бежит в соседнюю булочную и покупает большой круглый фисташковый торт. Слон обнаруживает желание проглотить его целиком с картонной коробкой, но немец даёт ему всего четверть. Торт приходится по вкусу



Томми, и он протягивает хобот за вторым ломтём. Однако немец оказывается хитрее. Держа в руке лакомство, он поднимается вверх со ступеньки на ступеньку, и слон с вытянутым хоботом, с растопыренными ушами поневоле следует за ним. На площадке Томми получает второй кусок.

Таким образом его приводят в столовую, откуда заранее вынесена вся мебель, а пол густо застлан соломой... Слона привязывают за ногу к кольцу, ввинченному в пол. Кладут перед ним свежей моркови, капусты и репы. Немец располагается рядом, на диване. Тушат огни, и все ложатся спать.

На другой день девочка просыпается чуть свет и прежде всего спрашивает:

— А что же слон? Он пришёл?

— Пришёл,— отвечает мама,— но только он велел, чтобы Надя сначала умылась, а потом съела яйцо всмятку и выпила горячего молока.

— А он добрый?

— Он добрый. Кушай, девочка. Сейчас мы пойдём к нему.

— А он смешной?

— Немножко. Надень тёплую кофточку.

Яйцо быстро съедено, молоко выпито. Надю сажают в ту саму колясочку, в которой она ездила, когда была ещё такой маленькой, что совсем не умела ходить, и везут в столовую.

Слон оказывается гораздо больше, чем думала Надя, когда разглядывала его на картин-

ке. Ростом он только чуть-чуть пониже двери, а в длину занимает половину столовой. Кожа на нём грубая, в тяжёлых складках. Ноги толстые, как столбы. Длинный хвост с чем-то вроде помела на конце. Голова в больших шишках. Уши большие, как лопухи, и висят вниз. Глаза совсем крошечные, но умные и добрые. Клыки обрезаны. Хобот — точно длинная змея и оканчивается двумя ноздрями, а между ними подвижной, гибкий палец. Если бы слон вытянул хобот во всю длину, то, наверно, достал бы им до окна.

Девочка вовсе не испугана. Она только немножко поражена громадной величиной животного. Зато нянька, шестнадцатилетняя Поля, начинает визжать от страха.

Хозяин слона, немец, подходит к колясочке и говорит:

— Доброго утра, барышня! Пожалуйста, не бойтесь. Томми очень добрый и любит детей.

Девочка протягивает немцу свою маленькую бледную ручку.

— Здравствуйте, как вы поживаете? — отвечает она.— Я вовсе ни капельки не боюсь. А как его зовут?

— Томми.

— Здравствуйте, Томми,— произносит девочка и кланяется головой. Оттого что слон такой большой, она не решается говорить ему на «ты».— Как вы спали эту ночь?

Она и ему протягивает руку. Слон осторож-

но берёт и пожимает её тоненькие пальчики своим подвижным сильным пальцем и делает это гораздо нежнее, чем доктор Михаил Петрович. При этом слон качает головой, а его маленькие глаза совсем сузились, точно смеются.

— Ведь он всё понимает? — спрашивает девочка немца.

— О, решительно всё, барышня!

— Но только он не говорит?

— Да, вот только не говорит. У меня, знаете, есть тоже одна дочка, такая же маленькая, как и вы. Её зовут Лиза, Томми с ней большой, очень большой приятель.

— А вы, Томми, уже пили чай? — спрашивает девочка слона.

Слон опять вытягивает хобот и дует в самое лицо девочки тёплым сильным дыханием, отчего лёгкие волосы на голове девочки разлетаются во все стороны.

Надя хохочет и хлопает в ладоши. Немец густо смеётся. Он сам такой большой, толстый и добродушный, как слон, и Наде кажется, что они оба похожи друг на друга. Может быть, они родня?

— Нет, он не пил чаю, барышня. Но он с удовольствием пьёт сахарную воду. Также он очень любит булки.

Приносят поднос с булками. Девочка угощает слона. Он ловко захватывает булку своим пальцем и, согнув хобот кольцом, прячет её куда-то вниз под голову, где у него движется

смешная треугольная мохнатая нижняя губа. Слышно, как булка шуршит о сухую кожу. То же самое Томми проделывает с другой булкой, и с третьей, и с четвёртой, и с пятой, и в знак благодарности кивает головой, и его маленькие глазки ещё больше суживаются от удовольствия. А девочка радостно хохочет.

Когда все булки съедены, Надя знакомит слона со своими куклами:

— Посмотрите, Томми, вот эта нарядная кукла — это Соня. Она очень добрый ребёнок, но немножко капризна и не хочет есть суп. А это Наташа, Сонина дочь. Она уже начинает учиться и знает почти все буквы. А вот это Матрёшка. Это моя самая первая кукла. Видите, у неё нет носа, и голова приклеена, и нет больше волос. Но всё-таки нельзя же выгонять из дому старушку. Правда, Томми? Она раньше была Сониной матерью, а теперь служит у нас кухаркой. Ну, так давайте играть, Томми: вы будете папой, а я мамой, а это будут наши дети.

Томми согласен. Он смеётся, берёт Матрёшку за шею и тащит к себе в рот. Но это только шутка. Слегка пожевав куклу, он опять кладёт её девочке на колени, правда немного мокрую и помятую.

Потом Надя показывает ему большую книгу с картинками и объясняет:

— Это лошадь, это канарейка, это ружьё... Вот клетка с птичкой, вот ведро, зеркало, печка,

лопата, ворона... А это вот, посмотрите, это слон! Правда, совсем не похоже? Разве же слоны бывают такие маленькие, Томми?

Томми находит, что таких маленьких слонов никогда не бывает на свете. Вообще ему эта картинка не нравится. Он захватывает пальцем край страницы и переворачивает её.

Наступает час обеда, но девочку никак нельзя оторвать от слона. На помощь приходит немец:

— Позвольте, я все устрою. Они пообедают вместе.

Он приказывает слону сесть. Слон послушно садится, отчего пол во всей квартире сотрясается, дребезжит посуда в шкапу, а у нижних жильцов сыплется с потолка штукатурка. Напротив его садится девочка. Между ними ставят стол. Слону подвязывают скатерть вокруг шеи, и новые друзья начинают обедать. Девочка ест суп из курицы и котлетку, а слон — разные овощи и салат. Девочке дают крошечную рюмку хересу, а слону — тёплой воды со стаканом рома, и он с удовольствием вытягивает этот напиток хоботом из миски. Затем они получают сладкое; девочка — чашку какао, а слон — половину торта, на этот раз орехового. Немец в это время сидит с папой в гостиной и с таким же наслаждением, как и слон, пьёт пиво, только в большем количестве.

После обеда приходят какие-то папины знакомые; их ещё в передней предупреждают о

слоне, чтобы они не испугались. Сначала они не верят, а потом, увидев Томми, жмутся к дверям.

— Не бойтесь, он добрый! — успокаивает их девочка.

Но знакомые поспешно уходят в гостиную и, не просидев и пяти минут, уезжают.

Наступает вечер. Поздно. Девочке пора спать. Однако её невозможно оттащить от слона. Она так и засыпает около него, и её, уже сонную, отвозят в детскую. Она даже не слышит, как её раздевают.

В эту ночь Надя видит во сне, что она женилась на Томми и у них много детей, маленьких весёлых слоняток. Слон, которого ночью отвели в зверинец, тоже видит во сне милую, ласковую девочку. Кроме того, ему снятся большие торты, ореховые и фисташковые, величиною с ворота...

Утром девочка просыпается бодрая, свежая и, как в прежние времена, когда она была ещё здорова, кричит на весь дом громко и нетерпеливо:

— Мо-лоч-ка!

Услышав этот крик, мама радостно крестится у себя в спальне.

Но девочка тут же вспоминает о вчерашнем и спрашивает:

— А слон?

Ей объясняют, что слон ушёл домой по делам, что у него есть дети, которых нельзя остав-

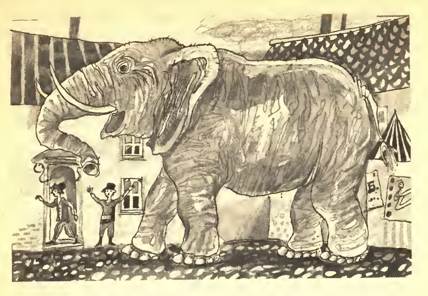
лять одних, что он просил кланяться Наде и что он ждёт её к себе в гости, когда она будет здорова.

Девочка хитро улыбается и говорит:

— Передайте Томми, что я уже совсем здорова!

СЛОНОВЬЯ ПРОГУЛКА

Слону Зембо было около двухсот девяноста лет, может быть, немного больше, может быть, немного меньше. Во всяком случае, он лишь изредка в дремоте по утрам вспоминал, как его ловили в Индии, как его перевозили на пароходе по железным дорогам и в громадных железных клетках на колёсах; как приучали к тому, чтобы кончиком хобота брать хлеб из рук человека, подымать с земли мелкие монеты и сажать осторожно к себе на спину сторожа, и как наконец опять морем и сухопутьем привезли его сюда, на окраину просторной холодной Москвы, поместили в сарае за железную решётку, напротив слонихи, шагах в двадцати от её решётки. Самка Нелли, которая была моложе его лет на пятьдесят — семьдесят пять, была вывезена из Замбези, но она сдохла от тяжёлого климата, а может быть, и от невнимательного ухода. Прожила она в заключении около пятидесяти лет. Приплода у них не было, потому что в неволе слоны никогда не размножаются.



Надо сказать, что людей, особенно после смерти Нелли, Зембо не любил. Нередко в булках, которые ему давали, попадались булавки, гвозди, шпильки и осколки стекла; праздные шалопаи пугали его внезапно раскрытыми зонтиками, дули ему нюхательным табаком в глаза. Очень часто жалкий чиновник, водя в праздник свою жену, детей, свояченицу и племянницу по зоологическому саду, отличался пред ними храбростью: щёлкал бедного Зембо ногтем по концу хобота или совал ему в ноздри зажжённую сигару, но благополучно и поспешно отступал, когда Зембо высовывал из загородки свой хобот, которым он мог бы убить не только

человека, но и льва. Как часто без нужды и смысла бывает человек жесток к животным!

Однако исполинская великодушная слоновья натура Зембо не выходила из равновесия. Он лишь запоминал со свойственной слонам остротой памяти своих мучителей, прекращал с ними всякое знакомство и никогда в присутствии их не тянулся хоботом за решётку.

Зато были у него и настоящие друзья, особенно из детей. Их он принимал радостно, трубил им навстречу, разевал широко свой смешной треугольный мохнатый рот и дул им в лицо из ноздрей своим тёплым, сильным, приятным сенным дыханием.

Он был бесконечно кроток и вежлив ко всему маленькому: к насекомым, к зверькам. Кто-то однажды догадался пустить к нему в клетку кроликов, которые не замедлили расплодиться в несметном количестве. Эти маленькие грызуны крали у него траву, зерно, хлеб и сено, грязнили его питьевую воду и часто, взбираясь своими цепкими лапками на его ноги, щекотали громадного Зембо до судорог. Однажды они до такой степени расщекотали его самое чувствительное место под коленом правой ноги, что он сделал ею нечаянное неловкое движение и наступил на кролика. Вместо белого зверька осталось на земле круглое красное пятно. И слон двое суток волновался, беспокойно трубил и фыркал, пока служащий не замыл пятно из пожарной трубы.

Привязан был он к маленькой тумбочке небольшой цепью. Ухаживал за ним татарин Мемет Камафутдинов, и они были настоящие друзья.

Но вот как-то ему пришло в голову прогуляться. В Москве наступила весна. Расцвели в зоологическом саду на лужайках жёлтые одуванчики, золотые лютики, синяя вероника. В это время во всём зоологическом саду был беспорядок. Хорьки, львы, орлы, барсуки, дикобразы, куницы, пумы — все жаждали свободы и страстно метались в своих клетках. Запахло землёй, берёзовым листом и травами.

И тогда-то, жадно принюхиваясь несколько дней к воздуху, Зембо вдруг догадался, что цепь на его задней правой ноге совсем его не связывает. Он потянул ногу и разрушил сразу всё человеческое сооружение. Разорвал цепь, опрокинул тумбочку, к которой был привязан, разбил головой клетку и ушёл.

Он обошёл вокруг весь зоологический сад победной, торжествующей походкой. И всё время высоко поднятый хобот Зембо трубил радостную песню, понятную каждому животному: «Празднуйте, веселитесь, играйте друг с другом, славьте песнями и плясками весну!» И в ответ ему взволнованно рычали львы, клектали орлы, гоготали и свистели в гнёздах птицы, мычали буйволы, и грациозные, нежные лани, дрожа, провожали его влажными глазами.

Медленно, вежливо вышло это огромное

животное из зверинца и прошло в открытые двери, стараясь никого не раздавить. В это время цвела сирень, её нежный сладкий запах делал людей и животных как пьяными. Но мудрого Зембо не покидала привычная кроткая осторожность. Он деликатно перешагнул через целую компанию красных в чёрных крапинках букашек, связавшихся цепью по дорожке, не тронув из них ни одной, а столкнувшись в воротах сада с барышней-кассиршей, учтиво дал ей дорогу и в знак приветствия так сильно дохнул ей в лицо, что совсем сбил и растрепал ее модную причёску.

Слону хотелось только размяться. Он подошёл к будке городового [1] (а в то время в Москве ещё были на площадях будки для городовых, отчего и сами городовые прозывались будочниками). Из открытой форточки уютно и мирно пахло хлебом, чаем, махоркой и вином. Добродушно, со свойственной ему привычной ловкостью он просунул хобот в форточку, взял со стола тёплый филипповский [2] калач и проглотил его.

Дальше его приключения малодостоверны. Утверждают, что на Тверском бульваре от него бежали гурьбой студенты; говорят, что он взвалил себе на спину маленькую девочку и она

---

[1] Городовой — нижний чин городской полиции в царской России.

[2] Филипповский — из булочной Филиппова.

от радости хохотала; говорят, что, искусно обвивши хоботом какого-то гимназиста-приготовишку [1], он посадил его на самый верх липы, к его необузданному восторгу; говорят, что он хоботом вырвал с корнем молодое деревце, сделав из него себе опахало [2]... Может быть, это всё правда, а может быть — неправда, за истину я ручаться не могу.

Но уже о необыкновенном путешествии слона было дано знать полиции.

Тверская часть примчалась в полном составе. Бедного Зембо, который никому не делал зла, начали поливать из брандспойта [3]. Он этому очень обрадовался, потому что всегда любил купание. С искренней радостью он поворачивался то левым, то правым боком, и его маленькие глаза ласково щурились. «Чудесная погода, отличный воздух, и... какой славный душ!» — добродушно ворчал Зембо, свивая и развивая свой хобот.

Но всё гуще и гуще собиралась около него толпа, Зембо уже начал чувствовать смутное беспокойство. Вдруг выступил господин в чёрном сюртуке и блестящей чёрной шляпе. Зембо

---

[1] Гимназист-приготовишка — ученик приготовительного класса, то есть ниже первого класса гимназии.

[2] Опахало *(устар.)* — приспособление, род веера, которым обмахиваются во время жары, чтобы было прохладно.

[3] Брандспойт — пожарный насос.

давно его знал и благоволил к нему за ласковое отношение: это был директор зоологического сада. В руках он держал такую большую булку, какой слон ещё никогда не видывал, и от неё чертовски вкусно пахло душистым перцем и крепким ромом.

— О-о-ого, Зембо,— вкрадчиво приговаривал директор и совал ему на вытянутой руке большой кусок лакомства.

Слон наконец решился попробовать и, отправив булку в рот, признательно закивал головой. «Необыкновенно вкусная штука,— сказал он,— я ничего подобного не ел в жизни». Но за вторым куском ему пришлось пройти шагов тридцать, за третьим — перейти через улицу, а четвёртым его заманили в какой-то длинный узкий проход без окошек и без дверей. И тут он ещё не успел прийти в себя от изумления, как почувствовал, что его хобот, шея и все четыре ноги были уже обхвачены, скручены и связаны стальными и пеньковыми канатами. Он рухнул на землю. Пять пар бесившихся, вспененных лошадей выволокли его из тупика опять на мостовую. Сотни людей и десятки лошадей заставили его подняться, и, весь скованный, обессиленный, он покорно вернулся в свою тюрьму. Только теперь железная решётка была вдвое толще, и уж не одна, а две массивные якорные цепи привязывали его за одну переднюю и за одну заднюю ногу.

С этого дня кротость, великодушие, вежли-

вость совсем покинули слона и в нём жили только гнев и мщение. Теперь он поистине стал страшен. Его маленькие кровавые глаза горели бешенством. Днём и ночью, почти не переставая, он ревел, и к этим крикам негодующего царя в молчании и с ужасом прислушивался весь зверинец. Публику уже перестали пускать в сарай, потому что вид людей приводил Зембо ещё в большую ярость. Один Мемет Камафутдинов отваживался входить к нему, чтобы переменить воду и дать нового корма. Но дружба между ними кончилась. Слон только презрительно терпел Мемета; на все его нежные, трогательные и убедительные разговоры он отвечал отрывистым и почти враждебным криком: «Уйди, сделал своё дело и уйди, не хочу тебя: ты тоже человек!»

С каждым днём его ярость росла. Ничто не помогало: ни холодные души, ни мешки со льдом на затылок, ни бром [1], примешиваемый к питью. Однажды в жаркий полдень слону удалось наконец расшатать и вырвать из стены огромное кольцо, прикреплявшее цепью его заднюю ногу. Испуганный Мемет побежал доложить об этом по начальству, и через несколько минут перед решёткой собралась густая толпа народу. Слон, обвившись хоботом вокруг железных брусьев и передав своё исполинское тело на левый бок,

---

[1] Бром — здесь: лекарство, которое употребляется для успокоения нервной системы.

делал неимоверные усилия, чтобы вырвать из стены второе кольцо, удерживавшее его правую ногу. Его тотчас же окатили из рукава холодной водой; это на минуту укротило его свирепость. Он оставил в покое решётку и, насторбучив свои аршинные уши [1], внимательно и злобно глядел на людей.

— Другого средства я не вижу,— сказал дежурный ветеринар и тотчас же очень ловко проделал в французской булке маленькую дырочку и быстро указательным пальцем вытащил из неё почти весь мякиш. Потом он всыпал в отверстие около четверти фунта цианистого кали [2], заделал дырку и полил булку патокой [3] с вином.

— Ну, бедный Мемет,— сказал директор,— знаю, что тебе нелегко, а ничего не поделаешь. Иди угости слона в последний раз.

— Вашам приасходительствам! Она, даст бог, будет здорова. Зачем? — говорит Мемет, и по его сморщенному, старушечьему бритому лицу покатились слёзы.

— Иди, иди. Нечего миндальничать [4].

Слон не сразу взял булку. Он долго недоверчиво обнюхивал, но всё-таки взял. Кругом

---

[1] Аршинные уши — здесь: очень большие.

[2] Цианистый кали — ядовитое вещество.

[3] Патока — густое, тягучее сладкое вещество.

[4] Миндальничать — нежничать, проявлять излишнюю мягкость.

защёлками «кодаки» [1] и затрещал кинематограф. Минуты с четыре Зембо стоял неподвижно, точно изумляясь чему-то, потом вдруг издал резкий крик отчаяния, боли и смерти.

Он долго неустойчиво качался, передавая свой громадный вес с передних ног на задние. И вдруг повалился на левый бок, увлекая в своём падении цепь от передней ноги и вырванное из стены тяжёлое кольцо с полуаршинным болтом.

Тем и кончилась его прогулка.

---

[1] «Кодак» — широко распространённый в то время фотографический аппарат очень простой конструкции.

А. П. Чехов

Антон Павлович Чехов (1860—1904) рос в многодетной семье. Детей было шестеро. Отец имел бакалейную лавку, и все дети, по очереди, должны были сидеть в ней в отсутствие отца. Порки и унижения были обычным делом. Много лет спустя Антон Павлович напишет рассказы «Спать хочется» — о девочке, отданной в няньки,— и «Ванька» — о мальчике, который живёт «в услужении» у сапожника. С 6-го класса Чехову пришлось вести самостоятельную жизнь, зарабатывать деньги уроками и даже помогать родным. Было трудно, но Чехов учился, стал врачом. Богатства и даже просто достатка эта профессия ему не принесла: больных он лечил почти всегда бесплатно и очень часто оставлял им лекарства и деньги на еду.

Писать Чехов начал с юных лет, чаще всего это были короткие рассказы. «Умею коротко говорить о длинных вещах»,— заметил как-то писатель. На нескольких страничках он точно описал положение девятилетнего Ваньки «у господ» и его безмерное, безысходное горе. Письмо Ваньки, которое он пишет «на деревню дедушке»,— целая жизнь забитого, лишенного заботы и ласки мальчика. Судьба детей всегда тревожила Чехова, и это отразилось во многих его произведениях.

БЕЛОЛОБЫЙ

Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Её волчата, все трое, крепко спали, сбившись в кучу, и грели друг друга. Она облизала их и пошла.

Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, и едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать. Волчиха была слабого здоровья, мнительная: она вздрагивала от малейшего шума и всё думала о том, как бы дома без неё кто ни обидел волчат. Запах человеческих и лошадиных следов, пни, сложенные дрова и тёмная унавоженная дорога пугали её; казалось, будто за деревьями в потёмках стояли люди и где-то за лесом воют собаки.

Она была уже не молода, и чутьё у неё ослабело, так что, случалось, лисий след она принимала за собачий и иногда даже, обманутая чутьём, сбивалась с дороги, чего с нею никогда не бывало в молодости. По слабости здоровья она уже не охотилась на телят и крупных баранов, как прежде, и уже далеко обходила лошадей с жеребятами, а питалась одною падалью; свежее мясо ей приходилось кушать очень редко, только весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала у неё детей или забиралась к мужикам в хлев, где были ягнята.

В верстах четырёх от её логовища, у почтовой дороги, стояло зимовье. Тут жил сторож Игнат, старик лет семидесяти, который всё кашлял и разговаривал сам с собой; обыкновенно ночью он спал, а днём бродил по лесу с ружьём-одностволкой и посвистывал на зайцев. Должно быть, раньше он служил в механиках, потому что каждый раз, прежде чем остановить-

ся, кричал себе: «Стоп, машина!» — и прежде чем пойти дальше: «Полный ход!» При нём находилась громадная чёрная собака неизвестной породы по имени Арапка. Когда она забегала далеко вперёд, то он кричал ей: «Задний ход!» Иногда он пел, и при этом сильно шатался, и часто падал (волчиха думала, что это от ветра), и кричал: «Сошёл с рельсов!»

Волчиха помнила, что летом и осенью около зимовья паслись баран и две ярки, и когда она не так давно пробегала мимо, то ей послышалось, будто в хлеву блеяли. И теперь, подходя к зимовью, она соображала, что уже март и, судя по времени, в хлеву должны быть ягнята непременно. Её мучил голод, она думала о том, с какой жадностью она будет есть ягнёнка, и от таких мыслей зубы у неё щёлкали и глаза светились в потёмках, как два огонька.

Изба Игната, его сарай, хлев и колодец были окружены высокими сугробами. Было тихо. Арапка, должно быть, спала под сараем.

По сугробу волчиха взобралась на хлев и стала разгребать лапами и мордой соломенную крышу. Солома была гнилая и рыхлая, так что волчиха едва не провалилась; на неё вдруг прямо в морду пахнуло тёплым паром и запахом навоза и овечьего молока. Внизу, почувствовав холод, нежно заблеял ягнёнок. Прыгнув в дыру, волчиха упала передними лапами и грудью на что-то мягкое и тёплое, должно быть на барана, и в это время в хлеву

что-то вдруг завизжало, залаяло и залилось тонким подвывающим голоском, овцы шарахнулись к стенке, и волчиха, испугавшись, схватила что первое попалось в зубы и бросилась вон...

Она бежала, напрягая силы, а в это время Арапка, уже почуявшая волка, неистово выла, кудахтали в зимовье потревоженные куры, и Игнат, выйдя на крыльцо, кричал:

— Полный ход! Пошёл к свистку!

И свистел, как машина, и потом — го-го-го-го!.. И весь этот шум повторяло лесное эхо.

Когда мало-помалу всё это затихло, волчиха успокоилась немного и стала замечать, что её добыча, которую она держала в зубах и волокла по снегу, была тяжелее и как будто твёрже, чем обыкновенно бывают в эту пору ягнята, и пахло как будто иначе, и слышались какие-то странные звуки... Волчиха остановилась и положила свою ношу на снег, чтобы отдохнуть и начать есть, и вдруг отскочила с отвращением. Это был не ягнёнок, а щенок, чёрный, с большой головой и на высоких ногах, крупной породы, с таким же белым пятном во весь лоб, как у Арапки. Судя по манерам, это был невежа, простой дворняжка. Он облизал свою помятую раненую спину и как ни в чём не бывало замахал хвостом и залаял на волчиху. Она зарычала, как собака, и побежала от него. Он — за ней. Она оглянулась и щёлкнула зубами; он остановился в недоумении и, вероятно ре-



шив, что это она играет с ним, протянул морду по направлению к зимовью и залился звонким радостным лаем, как бы приглашая мать свою Арапку поиграть с ним и с волчихой.

Уже светало, и когда волчиха пробиралась к себе густым осинником, то было видно отчётливо каждую осинку, и уже просыпались тетерева и часто вспархивали красивые петухи, обеспокоенные неосторожными прыжками и лаем щенка.

«Зачем он бежит за мной? — думала волчиха с досадой.— Должно быть, он хочет, чтобы я его съела».

Жила она с волчатами в неглубокой яме; года три назад во время сильной бури вывернуло с корнем высокую старую сосну, отчего и образовалась эта яма. Теперь на дне её были старые листья и мох, тут же валялись кости и бычьи рога, которыми играли волчата. Они уже проснулись, и все трое, очень похожие друг на друга, стояли рядом на краю своей ямы и, глядя на возвращавшуюся мать, помахивали хвостами. Увидев их, щенок остановился поодаль и долго смотрел на них; заметив, что они тоже внимательно смотрят на него, он стал лаять на них сердито, как на чужих.

Уже рассвело и взошло солнце, засверкал кругом снег, а он всё стоял поодаль и лаял. Волчата сосали свою мать, пихая её лапами в тощий живот, а она в это время грызла лошадиную кость, белую и сухую; её мучил

голод, голова разболелась от собачьего лая, и хотелось ей броситься на непрошеного гостя и разорвать его.

Наконец щенок утомился и охрип; видя, что его не боятся и даже не обращают на него внимания, он стал несмело, то приседая, то подскакивая, подходить к волчатам. Теперь, при дневном свете, легко уже было рассмотреть его. Белый лоб у него был большой, а на лбу бугор, какой бывает у очень глупых собак; глаза были маленькие, голубые, тусклые, а выражение всей морды чрезвычайно глупое. Подойдя к волчатам, он протянул вперёд широкие лапы, положил на них морду и начал:

— Мня, мня... нга-нга-нга!..

Волчата ничего не поняли, но замахали хвостами. Тогда щенок ударил лапой одного волчонка по большой голове. Волчонок тоже ударил его лапой по голове. Щенок стал к нему боком и посмотрел на него искоса, помахивая хвостом, потом вдруг рванулся с места и сделал несколько кругов по насту. Волчата погнались за ним, он упал на спину и задрал вверх ноги, и они втроём напали на него и, визжа от восторга, стали кусать его, не больно, а в шутку. Вороны сидели на высокой сосне, и смотрели сверху на их борьбу, и очень беспокоились. Стало шумно и весело. Солнце припекало уже по-весеннему, и петухи, то и дело перелетавшие через сосну, поваленную бурей, при блеске солнца казались изумрудными.

Обыкновенно волчихи приучают своих детей к охоте, давая им поиграть с добычей; и теперь, глядя, как волчата гонялись по насту за щенком и боролись с ним, волчиха думала: «Пускай приучаются».

Наигравшись, волчата пошли в яму и легли спать. Щенок повыл немного с голоду, потом также растянулся на солнышке. А проснувшись, опять стали играть.

Весь день и вечером волчиха вспоминала, как прошлою ночью в хлеву блеял ягнёнок и как пахло овечьим молоком, и от аппетита она всё щёлкала зубами и не переставала грызть с жадностью старую кость, воображая себе, что это ягнёнок. Волчата сосали, а щенок, который хотел есть, бегал кругом и обнюхивал снег.

«Съем-ка его...» — решила волчиха.

Она подошла к нему, а он лизнул её в морду и заскулил, думая, что она хочет играть с ним. В былое время она едала собак, но от щенка сильно пахло псиной, и по слабости здоровья она уже не терпела этого запаха; ей стало противно, и она отошла прочь...

К ночи похолодало. Щенок соскучился и ушёл домой.

Когда волчата крепко уснули, волчиха опять отправилась на охоту. Как и в прошлую ночь, она тревожилась малейшего шума и её пугали пни, дрова, тёмные, одиноко стоящие кусты можжевельника, издали похожие на людей. Она бежала в стороне от дороги, по насту. Вдруг

далеко впереди на дороге замелькало что-то тёмное... Она напрягла зрение и слух: в самом деле, что-то шло впереди, и даже слышны были мерные шаги. Не барсук ли? Она осторожно, чуть дыша, забирая всё в сторону, обогнала тёмное пятно, оглянулась на него и узнала. Это не спеша, шагом возвращался к себе в зимовье щенок с белым лбом.

«Как бы он опять мне не помешал»,— подумала волчиха и быстро побежала вперёд.

Но зимовье было уже близко. Она опять взобралась на хлев по сугробу. Вчерашняя дыра была уже заделана яровой соломой, и по крыше протянулись две новые слеги. Волчиха стала быстро работать ногами и мордой, оглядываясь, не идёт ли щенок, но едва пахнуло на неё тёплым паром и запахом навоза, как сзади послышался радостный заливчатый лай. Это вернулся щенок. Он прыгнул к волчихе на крышу, потом в дыру и, почувствовав себя дома, в тепле, узнав своих овец, залаял ещё громче... Арапка проснулась под сараем и, почуяв волка, завыла, закудахтали куры, и когда на крыльце показался Игнат со своей одностволкой, то перепуганная волчиха была уже далеко от зимовья.

— Фюйть! — засвистел Игнат.— Фюйть! Гони на всех парах!

Он спустил курок — ружьё дало осечку; он спустил ещё раз — опять осечка: он спустил в третий раз — и громадный огненный сноп вы-

летел из ствола, и раздалось оглушительное «бу! бу!». Ему сильно отдало в плечо, и, взявши в одну руку ружьё, а в другую топор, он пошёл посмотреть, отчего шум...

Немного погодя он вернулся в избу.

— Что там? — спросил хриплым голосом странник, ночевавший у него в эту ночь и разбуженный шумом.

— Ничего...— ответил Игнат.— Пустое дело. Повадился наш Белолобый с овцами спать, в тепле. Только нет того понятия, чтобы в дверь, а норовит всё как бы в крышу. Намедни ночью разобрал крышу и гулять ушёл, подлец, а теперь вернулся и опять разворошил крышу.

— Глупый.

— Да, пружина в мозгу лопнула. Смерть не люблю глупых! — вздохнул Игнат, полезая на печь.— Ну, божий человек, рано ещё вставать, давай спать полным ходом...

А утром он подозвал к себе Белолобого, больно оттрепал его за уши и потом, наказывая его хворостиной, всё приговаривал:

— Ходи в дверь! Ходи в дверь! Ходи в дверь!

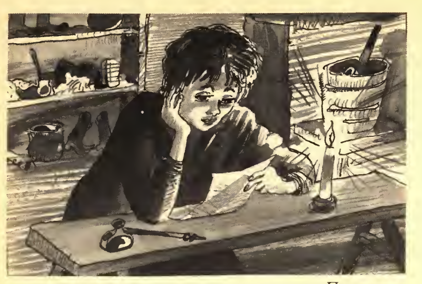
ВАНЬКА

Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и под-

мастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкафа пузырёк с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на тёмный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьёй на коленях.

«Милый дедушка, Константин Макарыч! — писал он.— И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с рождеством и желаю тебе всего от господа бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».

Ванька перевёл глаза на тёмное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка лет шестидесяти пяти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днём он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелёк Вьюн, прозванный так за свой чёрный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на



чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал.

Теперь, наверно, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплёскивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку.

— Табачку нешто нам понюхать? — говорит он, подставляя бабам свою табакерку.

Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается весёлым смехом и кричит:

— Отдирай, примёрзло!

Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с её белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посеребрённые инеем, сугробы. Всё небо усыпано весело мигающими звёздами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потёрли снегом...

Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать:

«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятёнка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селёдку, а я начал с хвоста, а она взяла селёдку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьёт чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хо-

зяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятёнок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»

Ванька покривил рот, потёр своим чёрным кулаком глаза и всхлипнул.

«Я буду тебе табак тереть,— продолжал он,— богу молиться, а если что, то секи меня как сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозов боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду не дам, а помрёшь, стану за упокой души молить, всё равно как за мамку Пелагею.

А Москва город большой. Дома всё господские, и лошадей много, а овец нету, и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят, и на клирос петь никого не пущают, а раз я видел в одной лавке на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоющие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что не-

бось рублей сто кажное... А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают.

Милый дедушка, а когда у господ будет ёлка с гостинцами, возьми мне золочёный орех и в зелёный сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за ёлкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Весёлое было время! И дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить ёлку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой... Молодые ёлки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут: которой из них помирать? Откуда ни возьмись по сугробам летит стрелой заяц... Дед не может, чтобы не крикнуть:

— Держи, держи... держи! Ах, куцый дьявол!

Срубленную ёлку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать её... Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда ещё была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду,

а из кухни — в Москву к сапожнику Аляхину...

«Приезжай, милый дедушка,— продолжал Ванька,— Христом богом тебя молю, возьми меня отсюда. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, всё плачу. А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой... А ещё кланяюсь Алёне, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай».

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес:

На деревню дедушке.

Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу...

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель...

Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал... Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам... Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом...

КАШТАНКА

Глава первая

ДУРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Молодая, рыжая собака — помесь такса с дворняжкой,— очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперёд по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчёт: как это могло случиться, что она заблудилась? Она отлично помнила, как она провела день и как в конце концов попала на этот незнакомый тротуар.

День начался с того, что её хозяин, столяр Лука Александрыч, надел шапку, взял под мышку какую-то деревянную штуку, завёрнутую в красный платок, и крикнул:

— Каштанка, пойдём!

Услыхав своё имя, помесь такса с дворняжкой вышла из-под верстака, где она спала на стружках, сладко потянулась и побежала за

хозяином. Заказчики Луки Александрыча жили ужасно далеко, так что, прежде чем дойти до каждого из них, столяр должен был по нескольку раз заходить в трактир и подкрепляться. Каштанка помнила, что по дороге она вела себя крайне неприлично. От радости, что её взяли гулять, она прыгала, бросалась с лаем на вагоны конножелезки [1], забегáла во дворы и гонялась за собаками. Столяр то и дело терял её из виду, останавливался и сердито кричал на неё. Раз даже он с выражением алчности на лице забрал в кулак её лисье ухо, потрепал и проговорил с расстановкой:

— Чтоб... ты... из... дох... ла, холера!

Побывав у заказчиков, Лука Александрыч зашёл на минутку к сестре, у которой пил и закусывал, от сестры пошёл он к знакомому переплётчику, от переплётчика в трактир, из трактира к куму и т. д. Одним словом, когда Каштанка попала на незнакомый тротуар, то уже вечерело и столяр был пьян как сапожник. Он размахивал руками и, глубоко вздыхая, бормотал:

— Во гресех роди мя мати во утробе моей! Ох, грехи, грехи! Теперь вот мы по улице идём и на фонарики глядим, а как помрём — в гиене огненной гореть будем...

---

[1] Конножелезка, или конка,— конная железная дорога (лошади возили по рельсам вагоны с пассажирами), существовавшая в городах до появления электрических трамваев.

Или же он впадал в добродушный тон, подзывал к себе Каштанку и говорил ей:

— Ты, Каштанка, насекомое существо и больше ничего. Супротив человека ты всё равно, что плотник супротив столяра...

Когда он разговаривал с нею таким образом, вдруг загремела музыка. Каштанка оглянулась и увидела, что по улице прямо на неё шёл полк солдат.

Не вынося музыки, которая расстраивала ей нервы, она заметалась и завыла. К великому её удивлению, столяр, вместо того чтобы испугаться, завизжать и залаять, широко улыбнулся, вытянулся во фрунт и всей пятернёй сделал под козырёк. Видя, что хозяин не протестует, Каштанка ещё громче завыла и, не помня себя, бросилась через дорогу на другой тротуар.

Когда она опомнилась, музыка уже не играла и полка не было. Она перебежала дорогу к тому месту, где оставила хозяина, но — увы! — столяра уже там не было. Она бросилась вперёд, потом назад, ещё раз перебежала дорогу, но столяр точно сквозь землю провалился... Каштанка стала обнюхивать тротуар, надеясь найти хозяина по запаху его следов, но раньше какой-то негодяй прошёл в новых резиновых калошах, и теперь все тонкие запахи мешались с острою каучуковой вонью, так что ничего нельзя было разобрать.

Каштанка бегала взад и вперёд и не нахо-

дила хозяина, а между тем становилось темно. По обе стороны улицы зажглись фонари, и в окнах домов показались огни. Шёл крупный пушистый снег и красил в белое мостовую, лошадиные спины, шапки извозчиков, и чем больше темнел воздух, тем белее становились предметы. Мимо Каштанки, заслоняя ей поле зрения и толкая её ногами, безостановочно взад и вперёд проходили незнакомые заказчики. (Всё человечество Каштанка делила на две очень неравные части: на хозяев и на заказчиков; между теми и другими была существенная разница: первые имели право бить её, а вторых она сама имела право хватать за икры.) Заказчики куда-то спешили и не обращали на неё никакого внимания.

Когда стало совсем темно, Каштанкою овладели отчаяние и ужас. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. Целодневное путешествие с Лукой Александрычем утомило её, уши и лапы её озябли, и к тому же ещё она была ужасно голодна. За весь день ей приходилось жевать только два раза: покушала у переплётчика немножко клейстеру да в одном из трактиров около прилавка нашла колбасную кожицу — вот и всё. Если бы она была человеком, то, наверное, подумала бы:

«Нет, так жить невозможно! Нужно застрелиться!»

Глава вторая

ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Но она ни о чём не думала и только плакала. Когда мягкий пушистый снег совсем облепил её спину и голову и она от изнеможения погрузилась в тяжёлую дремоту, вдруг подъездная дверь щёлкнула, запищала и ударила её по боку. Она вскочила. Из отворенной двери вышел какой-то человек, принадлежащий к разряду заказчиков. Так как Каштанка взвизгнула и попала ему под ноги, то он не мог не обратить на неё внимания. Он нагнулся к ней и спросил:

— Псина, ты откуда? Я тебя ушиб? О, бедная, бедная... Ну, не сердись, не сердись... Виноват.

Каштанка поглядела на незнакомца сквозь снежинки, нависшие на ресницы, и увидела перед собой коротенького и толстенького человечка с бритым пухлым лицом, в цилиндре и шубе нараспашку.

— Что же ты скулишь? — продолжал он, сбивая пальцем с её спины снег.— Где твой хозяин? Должно быть, ты потерялась? Ах, бедный пёсик! Что же мы теперь будем делать?

Уловив в голосе незнакомца тёплую, душевную нотку, Каштанка лизнула ему руку и заскулила ещё жалостнее.

— А ты хорошая, смешная! — сказал не-



знакомец.— Совсем лисица! Ну что ж, делать нечего, пойдём со мной! Может быть, ты и сгодишься на что-нибудь... Ну, фюйть!

Он чмокнул губами и сделал Каштанке знак рукой, который мог означать только одно: «Пойдём!» Каштанка пошла.

Не больше как через полчаса она уже сидела на полу в большой светлой комнате и, склонив голову набок, с умилением и с любопытством глядела на незнакомца, который сидел за столом и обедал. Он ел и бросал ей кусочки... Сначала он дал ей хлеба и зелёную корочку сыра, потом кусочек мяса, полпирожка, куриных костей, а она с голодухи всё это съела так быстро, что не успела разобрать вкуса. И чем больше она ела, тем сильнее чувствовался голод.

— Однако плохо же кормят тебя твои хозяева! — говорил незнакомец, глядя, с какою свирепою жадностью она глотала неразжёванные куски.— И какая ты тощая! Кожа да кости...

Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды. После обеда она разлеглась среди комнаты, протянула ноги и, чувствуя во всём теле приятную истому, завиляла хвостом. Пока её новый хозяин, развалившись в кресле, курил сигару, она виляла хвостом и решала вопрос: где лучше — у незнакомца или у столяра? У незнакомца обстановка бедная и некрасивая: кроме кресел, дивана, лампы и ковров, у него нет ничего, и комната кажется пустою; у столяра же вся квартира битком

набита вещами: у него есть стол, верстак, куча стружек, рубанки, стамески, пилы, клетка с чижиком, лохань... У незнакомца не пахнет ничем, у столяра же в квартире всегда стоит туман и великолепно пахнет клеем, лаком и стружками. Зато у незнакомца есть одно очень важное преимущество — он даёт много есть, и, надо отдать ему полную справедливость, когда Каштанка сидела перед столом и умильно глядела на него, он ни разу не ударил её, не затопал ногами и ни разу не крикнул: «По-ошла вон, треклятая!»

Выкурив сигару, новый хозяин вышел и через минуту вернулся, держа в руках маленький матрасик.

— Эй, ты, пёс, поди сюда! — сказал он, кладя матрасик в углу около дивана.— Ложись здесь. Спи!

Затем он потушил лампу и вышел. Каштанка разлеглась на матрасике и закрыла глаза; с улицы послышался лай, и она хотела ответить на него, но вдруг неожиданно ею овладела грусть. Она вспомнила Луку Александрыча, его сына Федюшку, уютное местечко под верстаком... Вспомнила она, что в длинные зимние вечера, когда столяр строгал или читал вслух газету, Федюшка обыкновенно играл с нею... Он вытаскивал её за задние лапы из-под верстака и выделывал с нею такие фокусы, что у неё зеленело в глазах и болело во всех суставах. Он заставлял её ходить на задних лапах, изо-

бражал из неё колокол, то есть сильно дёргал её за хвост, отчего она визжала и лаяла, давал ей нюхать табаку... Особенно мучителен был следующий фокус: Федюшка привязывал на ниточку кусочек мяса и давал его Каштанке, потом же, когда она проглатывала, он с громким смехом вытаскивал его обратно из её желудка. И чем ярче были воспоминания, тем громче и тоскливее скулила Каштанка.

Но скоро утомление и теплота взяли верх над грустью... Она стала засыпать. В её воображении забегали собаки; пробежал, между прочим, и мохнатый старый пудель, которого она видела сегодня на улице, с бельмом на глазу и с клочьями шерсти около носа. Федюшка с долотом в руке погнался за пуделем, потом вдруг сам покрылся мохнатой шерстью, весело залаял и очутился около Каштанки. Каштанка и он добродушно понюхали друг другу носы и побежали на улицу...

Глава третья

НОВОЕ, ОЧЕНЬ ПРИЯТНОЕ ЗНАКОМСТВО

Когда Каштанка проснулась, было уже светло и с улицы доносился шум, какой бывает только днём. В комнате не было ни души. Каштанка потянулась, зевнула и, сердитая, угрюмая, прошлась по комнате. Она обнюхала углы и мебель, заглянула в переднюю и не нашла ни-

чего интересного. Кроме двери, которая вела в переднюю, была ещё одна дверь. Подумав, Каштанка поцарапала её обеими лапами, отворила и вошла в следующую комнату. Тут на кровати, укрывшись байковым одеялом, спал заказчик, в котором она узнала вчерашнего незнакомца.

— Рррр...— заворчала она, но, вспомнив про вчерашний обед, завиляла хвостом и стала нюхать.

Она понюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла, что они очень пахнут лошадью. Из спальни вела куда-то ещё одна дверь, тоже затворённая. Каштанка поцарапала эту дверь, налегла на неё грудью, отворила и тотчас же почувствовала странный, очень подозрительный запах. Предчувствуя неприятную встречу, ворча и оглядываясь, Каштанка вошла в маленькую комнатку с грязными обоями и в страхе попятилась назад. Она увидела нечто неожиданное и страшное. Пригнув к земле шею и голову, растопырив крылья и шипя, прямо на неё шёл серый гусь. Несколько в стороне от него, на матрасике, лежал белый кот; увидев Каштанку, он вскочил, выгнул спину в дугу, задрал хвост, взъерошил шерсть и тоже зашипел. Собака испугалась не на шутку, но, не желая выдавать своего страха, громко залаяла и бросилась к коту... Кот ещё сильнее выгнул спину, зашипел и ударил Каштанку лапой по голове. Каштанка отскочила, присела на все четыре лапы и, протягивая к коту морду, залилась громким визгливым лаем; в это время гусь подошёл сзади

и больно долбанул её клювом в спину. Каштанка вскочила и бросилась на гуся...

— Это что такое? — послышался громкий сердитый голос, и в комнату вошёл незнакомец в халате и с сигарой в зубах.— Что это значит? На место!

Он подошёл к коту, щёлкнул по выгнутой спине и сказал:

— Фёдор Тимофеич, что это значит? Драку подняли? Ах ты, старая каналья! Ложись!

И, обратившись к гусю, он крикнул:

— Иван Иваныч, на место!

Кот покорно лёг на свой матрасик и закрыл глаза. Судя по выражению его морды и усов, он сам был недоволен, что погорячился и вступил в драку. Каштанка обиженно заскулила, а гусь вытянул шею и заговорил о чём-то быстро, горячо и отчётливо, но крайне непонятно.

— Ладно, ладно! — сказал хозяин, зевая.— Надо жить мирно и дружно.— Он погладил Каштанку и продолжал: — А ты, рыжик, не бойся... Это хорошая публика, не обидит. Постой, как же мы тебя звать будем? Без имени нельзя, брат.

Незнакомец подумал и сказал:

— Вот что... Ты будешь Тётка... Понимаешь? Тётка!

И, повторив несколько раз слово «Тётка», он вышел.

Каштанка села и стала наблюдать. Кот неподвижно сидел на матрасике и делал вид,

что спит. Гусь, вытягивая шею и топчась на одном месте, продолжал говорить о чём-то быстро и горячо. По-видимому, это был очень умный гусь; после каждой длинной тирады [1] он всякий раз удивлённо пятился назад и делал вид, что восхищается своей речью... Послушав его и ответив ему «ррр...», Каштанка принялась обнюхивать углы. В одном из углов стояло маленькое корытце, в котором она увидела мочёный горох и размокшие ржаные корки. Она попробовала горох — невкусно, попробовала корки — и стала есть. Гусь нисколько не обиделся, что незнакомая собака поедает его корм, а, напротив, заговорил ещё горячее и, чтобы показать своё доверие, сам подошёл к корытцу и съел несколько горошинок.

Глава четвёртая

ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ

Немного погодя опять вошёл незнакомец и принёс с собой какую-то странную вещь, похожую на ворота и на букву П. На перекладине этого деревянного, грубо сколоченного П висел колокол и был привязан пистолет; от языка колокола и от курка пистолета тянулись верёвочки.

[1] Тира́да — длинная, в приподнятом тоне произнесенная фраза.

Незнакомец поставил П посреди комнаты, долго что-то развязывал и завязывал, потом посмотрел на гуся и сказал:

— Иван Иваныч, пожалуйте!

Гусь подошёл к нему и остановился в ожидательной позе.

— Ну-с,— сказал незнакомец,— начнём с самого начала. Прежде всего поклонись и сделай реверанс! Живо!

Иван Иваныч вытянул шею, закивал во все стороны и шаркнул лапкой.

— Так, молодец... Теперь умри!

Гусь лёг на спину и задрал вверх лапы. Проделав ещё несколько подобных неважных фокусов, незнакомец вдруг схватил себя за голову, изобразил на своём лице ужас и закричал:

— Караул! Пожар! Горим!

Иван Иваныч подбежал к П, взял в клюв верёвку и зазвонил в колокол.

Незнакомец остался очень доволен. Он погладил гуся по шее и сказал:

— Молодец, Иван Иваныч! Теперь представь, что ты ювелир и торгуешь золотом и брильянтами. Представь теперь, что ты приходишь к себе в магазин и застаёшь в нём воров. Как бы ты поступил в данном случае?

Гусь взял в клюв другую верёвочку и потянул, отчего тотчас же раздался оглушительный выстрел. Каштанке очень понравился звон, а от выстрела она пришла в такой восторг, что забегала вокруг П и залаяла.

— Тётка, на место! — крикнул ей незнакомец.— Молчать!

Работа Ивана Иваныча не кончилась стрельбой. Целый час потом незнакомец гонял его вокруг себя на корде и хлопал бичом, причём гусь должен был прыгать через барьер и сквозь обруч, становиться на дыбы, то есть садиться на хвост и махать лапками. Каштанка не отрывала глаз от Ивана Иваныча, завывала от восторга и несколько раз принималась бегать за ним со звонким лаем. Утомив гуся и себя, незнакомец вытер со лба пот и крикнул:

— Марья, позови-ка сюда Хавронью Ивановну!

Через минуту послышалось хрюканье... Каштанка заворчала, приняла очень храбрый вид и на всякий случай подошла поближе к незнакомцу. Отворилась дверь, в комнату поглядела какая-то старуха и, сказав что-то, впустила чёрную, очень некрасивую свинью. Не обращая никакого внимания на ворчанье Каштанки, свинья подняла вверх свой пятачок и весело захрюкала. По-видимому, ей было очень приятно видеть своего хозяина, кота и Ивана Иваныча. Когда она подошла к коту и слегка толкнула его под живот своим пятачком и потом о чём-то заговорила с гусем, в её движениях, в голосе и в дрожании хвостика чувствовалось много добродушия. Каштанка сразу поняла, что ворчать и лаять на таких субъектов бесполезно.

Хозяин убрал П и крикнул:

— Фёдор Тимофеич, пожалуйте!

Кот поднялся, лениво потянулся и нехотя, точно делая одолжение, подошёл к свинье.

— Ну-с, начнём с египетской пирамиды,— начал хозяин.

Он долго объяснял что-то, потом скомандовал: «Раз... два... три!» Иван Иваныч при слове «три» взмахнул крыльями и вскочил на спину свиньи... Когда он, балансируя крыльями и шеей, укрепился на щетинистой спине, Фёдор Тимофеич вяло и лениво, с явным пренебрежением и с таким видом, как будто он презирает и ставит ни в грош своё искусство, полез на спину свиньи, потом нехотя взобрался на гуся и стал на задние лапы. Получилось то, что незнакомец называл египетской пирамидой. Каштанка взвизгнула от восторга, но в это время старик кот зевнул и, потеряв равновесие, свалился с гуся. Иван Иваныч пошатнулся и тоже свалился. Незнакомец закричал, замахал руками и стал опять что-то объяснять. Провозившись целый час с пирамидой, неутомимый хозяин принялся учить Ивана Иваныча ездить верхом на коте, потом стал учить кота курить и т. п.

Учение кончилось тем, что незнакомец вытер со лба пот и вышел, Фёдор Тимофеич брезгливо фыркнул, лёг на матрасик и закрыл глаза, Иван Иваныч направился к корытцу, а свинья была уведена старухой.

Благодаря массе новых впечатлений день прошёл для Каштанки незаметно, а вечером она

со своим матрасиком была уже водворена в комнатке с грязными обоями и ночевала в обществе Фёдора Тимофеича и гуся.

Глава пятая

ТАЛАНТ! ТАЛАНТ!

Прошёл месяц.

Каштанка уже привыкла к тому, что её каждый вечер кормили вкусным обедом и звали Тёткой. Привыкла она и к незнакомцу, и к своим новым сожителям. Жизнь потекла как по маслу.

Все дни начинались одинаково. Обыкновенно раньше всех просыпался Иван Иваныч и тотчас же подходил к Тётке или к коту, выгибал шею и начинал говорить о чём-то горячо и убедительно, но по-прежнему непонятно. Иной раз он поднимал вверх голову и произносил длинные монологи [1]. В первые дни знакомства Каштанка думала, что он говорит много потому, что очень умён, но прошло немного времени, и она потеряла к нему всякое уважение; когда он подходил к ней со своими длинными речами, она уже не виляла хвостом, а третировала [2] его, как на-

[1] Моно́лог — речь, обращенная к самому себе или к слушателям.

[2] Трети́ровать — обращаться с кем-нибудь пренебрежительно, с презрением.

доедливого болтуна, который не даёт никому спать, и без всякой церемонии отвечала ему «рр»...

Фёдор же Тимофеич был иного рода господин. Этот, проснувшись, не издавал никакого звука, не шевелился и даже не открывал глаз. Он охотно бы не просыпался, потому что, как видно было, он недолюбливал жизни. Ничто его не интересовало, ко всему он относился вяло и небрежно, всё презирал и даже, поедая свой вкусный обед, брезгливо фыркал.

Проснувшись, Каштанка начинала ходить по комнатам и обнюхивать углы. Только ей и коту позволялось ходить по всей квартире; гусь же не имел права переступить порог комнатки с грязными обоями, а Хавронья Ивановна жила где-то на дворе, в сарайчике, и появлялась только во время ученья. Хозяин просыпался поздно и, напившись чаю, тотчас же принимался за свои фокусы. Каждый день в комнатку вносились П, бич, обручи, и каждый день проделывалось почти одно и то же. Ученье продолжалось часа три-четыре, так что иной раз Фёдор Тимофеич от утомления пошатывался как пьяный, Иван Иваныч раскрывал клюв и тяжело дышал, а хозяин становился красным и никак не мог стереть со лба пот.

Ученье и обед делали дни очень интересными, вечера же проходили скучновато. Обыкновенно вечерами хозяин уезжал куда-то и увозил с собою гуся и кота. Оставшись одна,

Тётка ложилась на матрасик и начинала грустить... Грусть подкрадывалась к ней как-то незаметно и овладевала ею постепенно, как потёмки комнатой. Начиналось с того, что у собаки пропадала всякая охота лаять, есть, бегать по комнатам и даже глядеть, затем в воображении её появлялись какие-то две неясные фигуры, не то собаки, не то люди, с физиономиями симпатичными, милыми, но непонятными; при появлении их Тётка виляла хвостом, и ей казалось, что она их где-то когда-то видела и любила... А засыпая, она всякий раз чувствовала, что от этих фигур пахнет клеем, стружками и лаком.

Когда она совсем уже свыклась с новой жизнью и из тощей, костлявой дворняжки обратилась в сытого, выхоленного пса, однажды перед ученьем хозяин погладил её и сказал:

— Пора нам, Тётка, делом заняться. Довольно тебе бить баклуши. Я хочу из тебя артистку сделать... Ты хочешь быть артисткой?

И он стал учить её разным наукам. В первый урок она училась стоять на задних лапах, что ей ужасно нравилось. Во второй урок она должна была прыгать на задних лапах и хватать сахар, который высоко над её головой держал учитель. Затем в следующие уроки она плясала, бегала на корде, выла под музыку, звонила и стреляла, а через месяц уже могла с успехом заменять Фёдора Тимофеича в «египетской пирамиде». Училась она очень охотно и была довольна своими успехами; беганье с высу-

нутым языком на корде, прыганье в обруч и езда верхом на старом Фёдоре Тимофеиче доставляли ей величайшее наслаждение. Всякий удавшийся фокус она сопровождала звонким, восторженным лаем, а учитель удивлялся, приходил тоже в восторг и потирал руки.

— Талант! Талант! — говорил он.— Несомненный талант! Ты положительно будешь иметь успех!

И Тётка так привыкла к слову «талант», что всякий раз, когда хозяин произносил его, вскакивала и оглядывалась, как будто оно было её кличкой.

Глава шестая

БЕСПОКОЙНАЯ НОЧЬ

Тётке приснился собачий сон, будто за нею гонится дворник с метлой, и она проснулась от страха.

В комнатке было тихо, темно и очень душно. Кусались блохи. Тётка раньше никогда не боялась потёмок, но теперь почему-то ей стало жутко и захотелось лаять. В соседней комнате громко вздохнул хозяин, потом, немного погодя, в своём сарайчике хрюкнула свинья, и опять всё смолкло. Когда думаешь об еде, то на душе становится легче, и Тётка стала думать о том, как она сегодня украла у Фёдора Тимофеича куриную лапку и спрятала её в гостиной меж-

ду шкапом и стеной, где очень много паутины и пыли. Не мешало бы теперь пойти и посмотреть: цела эта лапка или нет? Очень может быть, что хозяин нашёл её и скушал. Но раньше утра нельзя выходить из комнатки — такое правило. Тётка закрыла глаза, чтобы поскорее уснуть, так как она знала по опыту, что чем скорее уснешь, тем скорее наступит утро. Но вдруг недалеко от неё раздался странный крик, который заставил её вздрогнуть и вскочить на все четыре лапы. Это крикнул Иван Иваныч, и крик его был не болтливый и убедительный, как обыкновенно, а какой-то дикий, пронзительный и неестественный, похожий на скрип отворяемых ворот. Ничего не разглядев в потёмках и не поняв, Тётка почувствовала ещё больший страх и проворчала:

— Ррррр...

Прошло немного времени, сколько его потребуется на то, чтобы обглодать хорошую кость; крик не повторялся. Тётка мало-помалу успокоилась и задремала. Ей приснились две большие чёрные собаки с клочьями прошлогодней шерсти на бёдрах и на боках; они из большой лохани с жадностью ели помои, от которых шёл белый пар и очень вкусный запах; изредка они оглядывались на Тётку, скалили зубы и ворчали: «А тебе мы не дадим!» Но из дому выбежал мужик в шубе и прогнал их кнутом; тогда Тётка подошла к лохани и стала кушать, но, как только мужик ушёл за ворота, обе чёр-

ные собаки с рёвом бросились на неё, и вдруг опять раздался пронзительный крик.

— К-ге! К-ге-ге! — крикнул Иван Иваныч.

Тётка проснулась, вскочила и, не сходя с матрасика, залилась воющим лаем. Ей уже казалось, что кричит не Иван Иваныч, а кто-то другой, посторонний. И почему-то в сарайчике опять хрюкнула свинья.

Но вот послышалось шарканье туфель, и в комнату вошёл хозяин в халате и со свечой. Мелькающий свет запрыгал по грязным обоям и по потолку и прогнал потёмки. Тётка увидела, что в комнатке нет никого постороннего. Иван Иваныч сидел на полу и не спал. Крылья у него были растопырены и клюв раскрыт, и вообще он имел такой вид, как будто очень утомился и хотел пить. Старый Фёдор Тимофеич тоже не спал. Должно быть, и он был разбужен криком.

— Иван Иваныч, что с тобой? — спросил хозяин у гуся.— Что ты кричишь? Ты болен?

Гусь молчал. Хозяин потрогал его за шею, погладил по спине и сказал:

— Ты чудак. И сам не спишь, и другим не даёшь.

Когда хозяин вышел и унёс с собою свет, опять наступили потёмки. Тётке было страшно. Гусь не кричал, но ей опять стало чудиться, что в потёмках стоит кто-то чужой. Страшнее всего было то, что этого чужого нельзя было укусить, так как он был невидим и не имел формы. И почему-то она думала, что в эту ночь

должно непременно произойти что-то очень худое. Фёдор Тимофеич тоже был непокоен. Тётка слышала, как он возился на своём матрасике, зевал и встряхивал головой.

Где-то на улице застучали в ворота, и в сарайчике хрюкнула свинья. Тётка заскулила, протянула передние лапы и положила на них голову. В стуке ворот, в хрюканье не спавшей почему-то свиньи, в потёмках и в тишине почудилось ей что-то такое же тоскливое и страшное, как в крике Ивана Иваныча. Всё было в тревоге и в беспокойстве, но отчего? Кто этот чужой, которого не было видно? Вот около Тётки на мгновение вспыхнули две тусклые зелёные искорки. Это в первый раз за всё время знакомства подошёл к ней Фёдор Тимофеич. Что ему нужно было? Тётка лизнула лапу и, не спрашивая, зачем он пришёл, завыла тихо и на разные голоса.

— К-ге!—крикнул Иван Иваныч.— К-ге-ге!

Опять отворилась дверь, и вошёл хозяин со свечой. Гусь сидел в прежней позе, с разинутым клювом и растопырив крылья. Глаза у него были закрыты.

— Иван Иваныч! — позвал хозяин.

Гусь не шевельнулся. Хозяин сел перед ним на полу, минуту глядел на него молча и сказал:

— Иван Иваныч? Что же это такое? Умираешь ты, что ли? Ах, я теперь вспомнил! — крикнул он и схватил себя за голову.— Я знаю,

отчего это! Это оттого, что сегодня на тебя наступила лошадь! Боже мой, боже мой!

Тётка не понимала, что говорит хозяин, но по его лицу видела, что и он ждёт чего-то ужасного. Она протянула морду к тёмному окну, в которое, как казалось ей, глядел кто-то чужой, и завыла.

— Он умирает, Тётка,— сказал хозяин и всплеснул руками.— Да, да, умирает! К вам в комнату пришла смерть. Что нам делать?

Бледный встревоженный хозяин, вздыхая и покачивая головой, вернулся к себе в спальню. Тётке жутко было оставаться в потёмках, и она пошла за ним. Он сел на кровать и несколько раз повторил:

— Боже мой, что же делать?

Тётка ходила около его ног и, не понимая, отчего это у неё такая тоска и отчего все так беспокоятся, и стараясь понять, следила за каждым его движением. Фёдор Тимофеич, редко покидавший свой матрасик, тоже вошёл в спальню хозяина и стал тереться около его ног. Он встряхивал головой, как будто хотел вытряхнуть из неё тяжёлые мысли, и подозрительно заглядывал под кровать. Хозяин взял блюдечко, налил в него из рукомойника воды и опять пошёл к гусю.

— Пей, Иван Иваныч! — сказал он нежно, ставя перед ним блюдечко.— Пей, голубчик.

Но Иван Иваныч не шевелился и не открывал глаз. Хозяин пригнул его голову к блюдечку

и окунул клюв в воду, но гусь не пил, ещё шире растопырил крылья, и голова его так и осталась лежать на блюдечке.

— Нет, ничего уже нельзя сделать! — вздохнул хозяин.— Всё кончено. Пропал Иван Иваныч.

И по его щекам поползли вниз блестящие капельки, какие бывают на окнах во время дождя. Не понимая, в чём дело, Тётка и Фёдор Тимофеич жались к нему и с ужасом смотрели на гуся.

— Бедный Иван Иваныч! — говорил хозяин, печально вздыхая.— А я-то мечтал, что весной повезу тебя на дачу и буду гулять с тобой по зелёной травке. Милое животное, хороший мой товарищ, тебя уже нет! Как же я теперь буду обходиться без тебя?

Тётке казалось, что и с нею случится то же самое, то есть что и она тоже вот так, неизвестно отчего, закроет глаза, протянет лапы, оскалит рот, и все на неё будут смотреть с ужасом. По-видимому, такие же мысли бродили и в голове Фёдора Тимофеича. Никогда раньше старый кот не был так угрюм и мрачен, как теперь.

Начинался рассвет, и в комнатке уже не было того невидимого чужого, который пугал так Тётку. Когда совсем рассвело, пришёл дворник, взял гуся за лапы и унёс его куда-то. А немного погодя явилась старуха и вынесла корытце.

Тётка пошла в гостиную и посмотрела за

шкап: хозяин не скушал куриной лапки, она лежала на своём месте, в пыли и паутине. Но Тётке было скучно, грустно и хотелось плакать. Она даже не понюхала лапки, а пошла под диван, села там и начала скулить тихо, тонким голоском:

— Ску-ску-ску...

Глава седьмая

НЕУДАЧНЫЙ ДЕБЮТ

В один прекрасный вечер хозяин вошёл в комнатку с грязными обоями и, потирая руки, сказал:

— Ну-с...

Что-то он хотел ещё сказать, но не сказал и вышел. Тётка, отлично изучившая во время уроков его лицо и интонацию, догадалась, что он был взволнован, озабочен и, кажется, сердит. Немного погодя он вернулся и сказал:

— Сегодня я возьму с собой Тётку и Фёдора Тимофеича. В египетской пирамиде ты, Тётка, заменишь сегодня покойного Ивана Иваныча. Чёрт знает что! Ничего не готово, не выучено, репетиций было мало! Осрамимся, провалимся!

Затем он опять вышел и через минуту вернулся в шубе и в цилиндре. Подойдя к коту, он взял его за передние лапы, поднял и спрятал его на груди под шубу, причём Фёдор Тимо-

феич казался очень равнодушным и даже не потрудился открыть глаз. Для него, по-видимому, было решительно всё равно: лежать ли или быть поднятым за ноги, валяться ли на матрасике или покоиться на груди хозяина под шубой...

— Тётка, пойдём,— сказал хозяин.

Ничего не понимая и виляя хвостом, Тётка пошла за ним.

Через минуту она уже сидела в санях около ног хозяина и слушала, как он, пожимаясь от холода и волнения, бормотал:

— Осрамимся! Провалимся!

Сани остановились около большого странного дома, похожего на опрокинутый супник. Длинный подъезд этого дома с тремя стеклянными дверями был освещён дюжиной ярких фонарей. Двери со звоном отворялись и, как рты, глотали людей, которые сновали у подъезда. Людей было много, часто к подъезду подбегали и лошади, но собак не было видно.

Хозяин взял на руки Тётку и сунул её на грудь под шубу, где находился Фёдор Тимофеич. Тут было темно и душно, но тепло. На мгновение вспыхнули две тусклые зелёные искорки — это открыл глаза кот, обеспокоенный холодными жёсткими лапами соседки. Тётка лизнула его ухо и, желая усесться возможно удобнее, беспокойно задвигалась, смяла его под себя холодными лапами и нечаянно высунула из-под шубы голову, но тотчас же сердито за-

ворчала и нырнула под шубу. Ей показалось, что она увидела громадную, плохо освещённую комнату, полную чудовищ; из-за перегородок и решёток, которые тянулись по обе стороны комнаты, выглядывали страшные рожи: лошадиные, рогатые, длинноухие и какая-то одна толстая громадная рожа с хвостом вместо носа и двумя длинными обглоданными костями, торчащими изо рта.

Кот сипло замяукал под лапами Тётки, но в это время шуба распахнулась, хозяин сказал «гоп!» , и Фёдор Тимофеич с Тёткою прыгнули на пол. Они уже были в маленькой комнате с серыми дощатыми стенами; тут, кроме небольшого столика с зеркалом, табурета и тряпья, развешанного по углам, не было никакой другой мебели, и вместо лампы или свечи горел яркий веерообразный огонёк, приделанный к трубочке, вбитой в стену. Фёдор Тимофеич облизал свою шубу, помятую Тёткой, пошёл под табурет и лёг. Хозяин, всё ещё волнуясь и потирая руки, стал раздеваться... Он разделся так, как обыкновенно раздевался у себя дома, готовясь лечь под байковое одеяло, то есть снял всё, кроме белья, потом сел на табурет и, глядя в зеркало, начал выделывать над собой удивительные штуки. Прежде всего он надел на голову парик с пробором и с двумя вихрами, похожими на рога, потом густо намазал лицо чем-то белым и сверх белой краски нарисовал ещё брови, усы и румяна. Затеи его этим не кончились. Опач-



кавши лицо и шею, он стал облачаться в какой-то необыкновенный, ни с чем не сообразный костюм, какого Тётка никогда не видела раньше ни в домах, ни на улице. Представьте вы себе широчайшие панталоны, сшитые из ситца с крупными цветами, какой употребляется в мещанских домах для занавесок и обивки мебели, панталоны, которые застёгиваются у самых подмышек; одна панталона сшита из коричневого ситца, другая из светло-жёлтого. Утонувши в них, хозяин надел ещё ситцевую курточку с большим зубчатым воротником и с золотой звездой на спине, разноцветные чулки и зелёные башмаки...

У Тётки запестрело в глазах и в душе. От белолицей мешковатой фигуры пахло хозяином, голос у него был тоже знакомый, хозяйский, но бывали минуты, когда Тётку мучили сомнения, и тогда она готова была бежать от пёстрой фигуры и лаять. Новое место, веерообразный огонёк, запах, метаморфоза [1], случившаяся с хозяином,— всё это вселяло в неё неопределённый страх и предчувствие, что она непременно встретится с каким-нибудь ужасом, вроде толстой рожи с хвостом вместо носа. А тут ещё где-то за стеной, далеко, играла ненавистная музыка и слышался временами непонятный рёв. Одно только и успокаивало её — это невозмутимость Фёдора Тимофеича. Он преспокойно дре-

[1] Метаморфо́за — превращение.

мал под табуретом и не открывал глаз, даже когда двигался табурет.

Какой-то человек во фраке и в белой жилетке заглянул в комнатку и сказал:

— Сейчас выход мисс Арабеллы. После неё — вы.

Хозяин ничего не ответил. Он вытащил из-под стола небольшой чемодан, сел и стал ждать. По губам и по рукам его было заметно, что он волновался, и Тётка слышала, как дрожало его дыхание.

— М-г [1] Жорж, пожалуйте! — крикнул кто-то за дверью.

Хозяин встал и три раза перекрестился, потом достал из-под табурета кота и сунул его в чемодан.

— Иди, Тётка! — сказал он тихо.

Тётка, ничего не понимая, подошла к его рукам; он поцеловал её в голову и положил рядом с Фёдором Тимофеичем. Засим наступили потёмки... Тётка топталась по коту, царапала стенки чемодана и от ужаса не могла произнести ни звука, а чемодан покачивался, как на волнах, и дрожал...

— А вот и я! — громко крикнул хозяин.— А вот и я!

Тётка почувствовала, что после этого крика чемодан ударился о что-то твёрдое и перестал

---

[1] М-г, monsieur *(франц.)* — господин, обращение к мужчине.

качаться. Послышался громкий густой рёв: по ком-то хлопали, и этот кто-то, вероятно рожа с хвостом вместо носа, ревел и хохотал так громко, что задрожали замочки у чемодана. В ответ на рёв раздался пронзительный, визгливый смех хозяина, каким он никогда не смеялся дома.

— Га! — крикнул он, стараясь перекричать рёв.— Почтеннейшая публика! Я сейчас только с вокзала! У меня издохла бабушка и оставила мне наследство! В чемодане что-то очень тяжёлое — очевидно, золото... Га-а! И вдруг здесь миллион! Сейчас мы откроем и посмотрим...

В чемодане щёлкнул замок. Яркий свет ударил Тётку по глазам; она прыгнула вон из чемодана и, оглушённая рёвом, быстро, во всю прыть, забегала вокруг своего хозяина и залилась звонким лаем.

— Га! — закричал хозяин.— Дядюшка Фёдор Тимофеич! Дорогая тётушка! Милые родственники, чёрт бы вас взял!

Он упал животом на песок, схватил кота и Тётку и принялся обнимать их. Тётка, пока он тискал её в своих объятиях, мельком оглядела тот мир, в который занесла её судьба, и, поражённая его грандиозностью, на минуту застыла от удивления и восторга, потом вырвалась из объятий хозяина и от остроты впечатлений как волчок закружилась на одном месте. Новый мир был велик и полон яркого света;

куда ни взглянешь, всюду, от пола до потолка, видны были одни только лица, лица, лица и больше ничего.

— Тётушка, прошу вас сесть! — крикнул хозяин.

Помня, что это значит, Тётка вскочила на стул и села. Она поглядела на хозяина. Глаза его, как всегда, глядели серьёзно и ласково, но лицо, в особенности рот и зубы были изуродованы широкой неподвижной улыбкой. Сам он хохотал, прыгал, подёргивал плечами и делал вид, что ему очень весело в присутствии тысячи лиц. Тётка поверила его весёлости, вдруг почувствовала всем своим телом, что на неё смотрят эти тысячи лиц, подняла вверх свою лисью морду и радостно завыла.

— Вы, Тётушка, посидите,— сказал ей хозяин,— а мы с дядюшкой попляшем «комаринского».

Фёдор Тимофеич в ожидании, когда его заставят делать глупости, стоял и равнодушно поглядывал по сторонам. Плясал он вяло, небрежно, угрюмо, и видно было по его движениям, по хвосту и по усам, что он глубоко презирал и толпу, и яркий свет, и хозяина, и себя... Протанцевав свою порцию, он зевнул и сел.

— Ну-с, Тётушка,— сказал хозяин,— сначала мы с вами споём, а потом попляшем. Хорошо?

Он вынул из кармана дудочку и заиграл. Тётка, не вынося музыки, беспокойно задви-

галась на стуле и завыла. Со всех сторон послышался рёв и аплодисменты. Хозяин поклонился и, когда всё стихло, продолжал играть... Во время исполнения одной очень высокой ноты где-то наверху среди публики кто-то громко ахнул.

— Тятька! — крикнул детский голос.— А ведь это Каштанка!

— Каштанка и есть! — подтвердил пьяненький дребезжащий тенорок.— Каштанка! Федюшка, это, накажи бог, Каштанка! Фюйть!

Кто-то на галерее свистнул, и два голоса, один — детский, другой — мужской, громко позвали:

— Каштанка! Каштанка!

Тётка вздрогнула и посмотрела туда, где кричали. Два лица: одно волосатое, пьяное и ухмыляющееся, другое пухлое, краснощёкое и испуганное,— ударили её по глазам, как раньше ударил яркий свет... Она вспомнила, упала со стула и забилась на песке, потом вскочила и с радостным визгом бросилась к этим лицам.

Раздался оглушительный рёв, пронизанный насквозь свистками и пронзительным детским криком:

— Каштанка! Каштанка!

Тётка прыгнула через барьер, потом через чьё-то плечо, очутилась в ложе; чтоб попасть в следующий ярус, нужно было перескочить высокую стену; Тётка прыгнула, но не допрыгнула и поползла назад по стене. Затем она перехо-

дила с рук на руки, лизала чьи-то руки и лица, подвигалась всё выше и выше и наконец попала на галёрку...

Спустя полчаса Каштанка шла уже по улице за людьми, от которых пахло клеем и лаком. Лука Александрыч покачивался и инстинктивно, наученный опытом, старался держаться подальше от канавы.

— В бездне греховней валяюся во утробе моей...— бормотал он.— А ты, Каштанка,— недоумение. Супротив человека ты всё равно что плотник супротив столяра.

Рядом с ним шагал Федюшка в отцовском картузе. Каштанка глядела им обоим в спины, и ей казалось, что она давно уже идёт за ними и радуется, что жизнь её не обрывалась ни на минуту.

Вспоминала она комнатку с грязными обоями, гуся, Фёдора Тимофеича, вкусные обеды, ученье, цирк, но всё это представлялось ей теперь как длинный, перепутанный, тяжёлый сон...

А. Н. Толстой

Стоит сказать «Буратино», и улыбка появится на самом хмуром лице. Эту весёлую и мудрую книгу подарил детям Алексей Николаевич Толстой (1882—1945), пересказав сказку итальянца К. Коллоди «Пиноккио». Многие, забыв об этом, считают, что А. Н. Толстой писал свои книги только для взрослых. И совсем не вспоминают, что про Курочку-рябу, Колобка и репку они читали в книге, подготовленной Толстым,— Алексей Николаевич пересказал много русских народных сказок.

Есть у писателя ещё одно произведение, написанное и для детей и для взрослых — повесть «Детство Никиты». Вдали от Родины, в эмиграции (Толстой на долгие годы уехал из России, не приняв сначала революции; это время он назвал самым тяжёлым периодом своей жизни), он вспоминал о своём детстве, о «праздничной поре» человека. О безбедном, радостном детстве всеми любимого и оберегаемого мальчика пишет Толстой. «Желтухин» — небольшой отрывок из повести.

ЛИСА И ДРОЗД

Дрозд на дереве гнёздышко свил, яички снёс и вывел детёнышей. Узнала про это лисица. Прибежала и тук-тук хвостом по дереву. Выглянул дрозд из гнезда, а лиса ему:

— Дерево хвостом подсеку, тебя, дрозда, съем и детей твоих съем!

Дрозд испугался и стал просить, стал лису молить:

— Лисонька-матушка, дерева не руби, дету-

шек моих не губи! Я тебя пирогами да мёдом накормлю.

— Ну, накормишь пирогами да мёдом — не буду дерева рубить!

— Вот пойдём со мной на большую дорогу.

И отправились лиса и дрозд на большую дорогу: дрозд летит, а лиса вслед бежит.

Увидел дрозд, что идут старуха со внучкой, несут корзину пирогов и кувшин мёду.

Лисица спряталась, а дрозд сел на дорогу и побежал, будто лететь не может: взлетит от земли да и сядет, взлетит да и сядет.

Внучка говорит бабушке:

— Давай поймаем эту птичку.

— Да где нам с тобой поймать!

— Как-нибудь поймаем. У ней, видать, крыло подбито. Уж больно красивая птичка!

Старуха со внучкой поставили корзину да кувшин на землю и побежали за дроздом.

Отвёл их дрозд от пирогов да от мёду. А лисица не зевала: вволю пирогов да мёду наелась и в запас припрятала.

Взвился дрозд и улетел в своё гнездо.

А лиса тут как тут, тук-тук хвостом по дереву:

— Дерево хвостом подсеку, тебя, дрозда, съем и детей твоих съем.

Дрозд высунулся из гнезда и ну лисицу просить, ну лисицу молить:

— Лисонька-матушка, дерево не руби, детушек моих не губи! Я тебя пивом напою.

— Ну, пойдём скорей! Я жирного да сладкого наелась, мне пить хочется!

Полетел опять дрозд на дорогу, а лисица вслед бежит.

Дрозд видит — едет мужик, везёт бочку пива. Дрозд к нему: то на лошадь сядет, то на бочку. До того рассердил мужика, тот захотел убить его. Сел дрозд на гвоздь [1], а мужик как ударит топором и вышиб из бочки гвоздь. Сам побежал догонять дрозда.

А пиво из бочки на дорогу льётся. Лиса напилась, сколько хотела, пошла — песни запела.

Улетел дрозд в своё гнездо. Лисица опять тут как тут, тук-тук хвостом по дереву:

— Дрозд, дрозд, накормил ты меня?

— Накормил!

— Напоил ты меня?

— Напоил!

— Теперь рассмеши меня, а то дерево хвостом подсеку, тебя, дрозда, съем и детей твоих съем!

Повёл дрозд лису в деревню. Видит: старуха корову доит, а рядом старик лапти плетёт.

Дрозд сел старухе на плечо. Старик и говорит:

— Старуха, ну-ка не шевелись, я убью

---

[1] Гвоздём в данном случае называется деревянная затычка в бочке.

дрозда!— и ударил старуху по плечу, а в дрозда не попал.

Старуха упала, подойник с молоком опрокинула. Вскочила старуха и давай старика ругать.

Долго лисица смеялась над глупым стариком.

Улетел дрозд в своё гнездо. Не успел детей накормить, лисица опять хвостом по дереву: тук-тук-тук!

— Дрозд, а дрозд, накормил ты меня?

— Накормил!

— Напоил ты меня?

— Напоил!

— Рассмешил ты меня?

— Рассмешил!

— Теперь напугай меня.

Рассердился дрозд и говорит:

— Закрой глаза, беги за мной!

Полетел дрозд, летит — покрикивает, а лисица бежит за ним — глаз не открывает.

Привёл дрозд лису прямо на охотников:

— Ну, теперь, лиса, пугайся!

Лиса открыла глаза, увидела собак — и наутёк. А собаки — за ней. Едва добралась до своей норы.

Залезла в нору, отдышалась маленько и начала спрашивать:

— Глазки, глазки, что вы делали?

— Мы смотрели, чтобы собаки лисоньку не съели.



— Ушки, ушки, что вы делали?

— Мы слушали, чтобы собаки лисоньку не скушали.

— Ножки, ножки, что вы делали?

— Мы бежали, чтобы собаки лисоньку не поймали.

— А ты, хвостище, что делал?

— Я, хвостище, по пням, по кустам, по колодам цеплял да тебе бежать мешал.

Рассердилась лисица на хвост и высунула его из норы:

— Нате, собаки, ешьте мой хвост!

Собаки ухватили лису за хвост и вытащили её из норы.

КОЗА-ДЕРЕЗА

Жили-были старик со старухой да их дочка.

Вот дочка пошла пасти коз. Пасла по горам, по долам, по зелёным лугам, вечером пригнала их домой. Старик вышел на крыльцо и спрашивает:

— Вы, козочки, вы, матушки,
Вы сыты ли, вы пьяны ли?

Отвечают ему козы:

— Мы и сыты, мы и пьяны,
Мы по горочкам ходили,
Травушку пощипали,
Осинушки поглодали,
Под берёзкой полежали!

А одна коза отвечает:

— Я не сыта, я не пьяна,
По горочкам не ходила,
Травушку не щипала,
Осинушки не глодала,
Под берёзкой не лежала,
А как бежала через мосточек,
Ухватила кленовый листочек,
Да как бежала через гребéльку [1],
Ухватила воды капéльку.

Рассердился старик на дочь и прогнал её с глаз долой.

На другой день послал пасти старуху. Ста-

[1] Г р е б е л ь к а — узкая плотина поперёк реки.

руха пасла коз по горам, по долам, по зелёным лугам.

Поздно вечером пригнала их домой.

Вышел старик на крыльцо:

— Вы, козочки, вы, матушки,
Вы сыты ли, вы пьяны ли?

Козы ему отвечают:

— Мы и сыты, мы и пьяны,
Мы по горочкам ходили,
Травушку пощипали,
Осинушки поглодали,
Под берёзкой полежали!

А одна коза — всё своё:

— Я не сыта, я не пьяна,
По горочкам не ходила,
Травушку не щипала,
Осинушки не глодала,
Под берёзкой не лежала,
А как бежала через мосточек,
Ухватила кленовый листочек,
Да как бежала через гребе́льку,
Ухватила воды капе́льку,

Пуще прежнего рассердился старик, прогнал старуху с глаз долой.

На третий день сам пошёл пасти коз. Пас по горам, по долам, по зелёным лугам. Пригнал их вечером домой, сам забежал вперёд и спрашивает:

— Вы, козочки, вы, матушки,
Вы сыты ли, вы пьяны ли?

Козы ему отвечают:

— Мы и сыты, мы и пьяны,
Мы по горочкам ходили,
Травушку пощипали,
Осинушки поглодали,
Под берёзкой полежали!

А одна коза всё своё:

— Я не сыта, я не пьяна,
По горочкам не ходила,
Травушку не щипала,
Осинушки не́ глодала,
Под берёзкой не лежала,
А как бежала через мосточек,
Ухватила кленовый листочек,
Да как бежала через гребе́льку,
Ухватила воды капе́льку.

Старик поймал эту козу, привязал её и давай бить. Бил, бил, половину бока ободрал и пошёл нож точить.

Коза видит — дело плохо, оторвалась и убежала. Бежала, бежала, прибежала в заячью избушку, завалилась на печку и лежит.

Приходит зайчик:

— Кто, кто в мою избушку залез?

А коза ему с печи отвечает:

— Я, коза-дереза,
За три гроша куплена,
Полбока луплено,
Топу́, топу́ ногами,
Заколю тебя рогами,
Ножками затопчу,
Хвостиком замету!

Зайчик испугался и убежал. Идёт, горько плачет.

Попадается навстречу ему петух в красных сапожках, в золотых серёжках, на плече косу несёт:

— Здравствуй, заинька. Чего плачешь?

— Как мне не плакать? Забралась коза в мою избушку, меня выгнала.

— Пойдём, я твоему горю помогу.

Подошли они к избушке, петух постучался:

— Тук-тук, кто в избушке?

А коза ему с печи:

— Я, коза-дереза,
За три гроша куплена,
Полбока луплено,
Топу́, топу́ ногами,
Заколю тебя рогами,
Ножками затопчу,
Хвостиком замету!

А петух как вскочит на порог да как закричит:

— Я иду в сапожках,
В золотых серёжках,
Несу косу,
Твою голову снесу
По самые плечи,
Полезай с печи!

Коза испугалась да со страху упала с печи и убилась...

А заинька с петушком стали в избушке жить да быть да рыбку ловить.

ЛИСА И ВОЛК

Жили себе дед да баба. Дед и говорит бабе:

— Ты, баба, пеки пироги, а я запрягу сани, поеду за рыбой.

Наловил дед рыбы полный воз. Едет домой и видит: лисичка свернулась калачиком, лежит на дороге.

Дед слез с воза, подошёл, а лисичка не ворохнётся, лежит как мёртвая.

— Вот славная находка! Будет моей старухе воротник на шубу.

Взял дед лису и положил на воз, а сам пошёл впереди. А лисица улучила время и стала выбрасывать полегоньку из воза всё по рыбке да по рыбке, всё по рыбке да по рыбке. Повыбросила всю рыбу и сама потихоньку ушла.

Дед приехал домой и зовёт бабу:

— Ну, старуха, знатный воротник привёз тебе на шубу!

Подошла баба к возу: нет на возу ни воротника, ни рыбы. И начала она старика ругать:

— Ах ты, старый хрен, такой-сякой, ещё вздумал меня обманывать!

Тут дед смекнул, что лисичка-то была не мёртвая. Погоревал, погоревал, да что ты будешь делать!

А лисица тем временем собрала на дороге всю рыбу в кучку, села и ест.

Приходит к ней волк:

— Здравствуй, кумушка, хлеб да соль...

— Я ем — свой, а ты подальше стой.

— Дай мне рыбки.

— Налови сам да и ешь.

— Да я не умею.

— Эка! Ведь я же наловила. Ты, куманёк, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, сиди да приговаривай: «Ловись, рыбка, и мала и велика! Ловись, рыбка, и мала и велика!» Так рыба тебя сама за хвост будет хватать. Как подольше посидишь, так больше наудишь.

Пошёл волк на реку, опустил хвост в прорубь, сидит и приговаривает:

Ловись, рыбка, и мала и велика!
Ловись, рыбка, и мала и велика!

А лисица ходит около волка и приговаривает:

Ясни, ясни, на небе звёзды,
Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!

Волк спрашивает лису:

— Что ты, кума, всё говоришь?

— А я тебе помогаю, рыбку на хвост нагоняю.

А сама опять:

Ясни, ясни, на небе звёзды,
Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!

Сидел волк целую ночь у проруби. Хвост у него и приморозило. Под утро хотел подняться — не тут-то было. Он и думает: «Эка,



сколько рыбы привалило — и не вытащить!»

В это время идёт баба с вёдрами за водой. Увидела волка и закричала:

— Волк, волк! Бейте его!

Волк — туда-сюда, не может вытащить хвост. Баба бросила вёдра и давай его бить коромыслом. Била, била, волк рвался, рвался, оторвал себе хвост и пустился наутёк.

«Хорошо же,— думает,— ужо я отплачу тебе, кума!»

А лисичка забралась в избу, где жила эта баба, наелась из квашни теста, голову себе тестом вымазала, выбежала на дорогу, упала и лежит — стонет.

Волк ей навстречу:

— Так вот как ты учишь, кума, рыбу ловить. Смотри, меня всего исколотили...

Лиса ему говорит:

— Эх, куманёк! У тебя хвоста нет, зато голова цела, а мне голову разбили: смотри — мозг выступил, насилу плетусь.

— И то правда,— говорит ей волк.— Где тебе, кума, идти, садись на меня, я тебя довезу.

Села лисица волку на спину. Он её и повёз.

Вот лисица едет на волке и потихоньку поёт:

Битый небитого везёт.
Битый иебитого везёт.

— Ты чего, кума, всё говоришь?

— Я, куманёк, твою боль заговариваю.
И сама опять:

Битый небитого везёт.
Битый небитого везёт.

ТЕРЁШЕЧКА

У старика со старухой не было детей. Век прожили, а детей не нажили.

Вот сделали они колодочку, завернули её в пелёночку, стали качать да прибаюкивать:
— Спи-тко, усни, дитя Терёшечка,—

Все ласточки спят,
И касатки спят,
И куницы спят,
И лисицы спят,
Нашему Терёшечке
Спать велят!

Качали так, качали да прибаюкивали, и вместо колодочки стал расти сыночек Терёшечка — настоящая ягодка.

Мальчик рос-подрастал, в разум приходил. Старик сделал ему челнок, выкрасил его белой краской, а весёльцы — красной.

Вот Терёшечка сел в челнок и говорит:

— Челнок, челнок, плыви далече.
Челнок, челнок, плыви далече.

Челнок и поплыл далеко-далеко. Терёшечка стал рыбку ловить, а мать ему молочко и творожок стала носить.

Придёт на берег и зовёт:

— Терёшечка, мой сыночек,
Приплынь, приплынь на бережочек,
Я тебе есть-пить принесла.

Терёшечка издалека услышит матушкин голос и подплывёт к бережку. Мать возьмёт рыбку, накормит, напоит Терёшечку, переменит ему рубашечку и поясок и отпустит опять ловить рыбку.

Узнала про то ведьма. Пришла на бережок и зовёт страшным голосом:

— Терёшечка, мой сыночек,
Приплынь, приплынь на бережочек,
Я тебе есть-пить принесла.

Терёшечка распознал, что не матушкин это голос, и говорит:

— Челнок, челнок, плыви далече,
То не матушка меня зовёт.

Тогда ведьма побежала в кузницу и велит кузнецу перековать себе горло, чтобы голос стал как у Терёшечкиной матери.

Кузнец перековал ей горло. Ведьма опять пришла на бережок и запела голосом точь-в-точь родимой матушки:

— Терёшечка, мой сыночек,
Приплынь, приплынь на бережочек,
Я тебе есть-пить принесла.

Терёшечка обознался и подплыл к бережку. Ведьма его схватила, в мешок посадила и побежала.

Принесла его в избушку на курьих ножках и велит своей дочери Алёнке затопить печь пожарче и Терёшечку зажарить.

А сама опять пошла на раздобытки.

Вот Алёнка истопила печь жарко-жарко и говорит Терёшечке:

— Ложись на лопату.

Он сел на лопату, руки, ноги раскинул и не пролезает в печь.

А она ему:

— Не так лёг.

— Да я не умею — покажи как...

— А как кошки спят, как собаки спят, так и ты ложись.

— А ты ляг сама да поучи меня.

Алёнка села на лопату, а Терёшечка её в печку и пихнул и заслонкой закрыл. А сам вышел из избушки и влез на высокий дуб.

Прибежала ведьма, открыла печку, вытащила свою дочь Алёнку, съела, кости обглодала. Потом вышла на двор и стала кататься-валяться по траве.

Катается-валяется и приговаривает:

— Покатаюсь я, поваляюсь я, Терёшечкина мясца наевшись.

А Терёшечка ей с дуба отвечает:

— Покатайся-поваляйся, Алёнкина мясца наевшись!

А ведьма:

— Не листья ли это шумят?

И сама — опять:

— Покатаюсь я, поваляюсь я, Терёшечкина мясца наевшись.

А Терёшечка всё своё:

— Покатайся-поваляйся, Алёнкина мясца наевшись!

Ведьма глянула и увидела его на высоком дубу. Кинулась грызть дуб. Грызла, грызла — два передних зуба выломала, побежала в кузницу.

— Кузнец, кузнец! Скуй мне два железных зуба.

Кузнец сковал ей два зуба.

Вернулась ведьма и стала опять грызть дуб. Грызла-грызла и выломала два нижних зуба. Побежала к кузнецу:

— Кузнец, кузнец! Скуй мне ещё два железных зуба.

Кузнец сковал ей ещё два зуба.

Вернулась ведьма и опять стала грызть дуб. Грызёт — только щепки летят. А дуб уже трещит, шатается. Что тут делать? Терёшечка видит: летят гуси-лебеди.

Он их просит:

— Гуси мои, лебедята!
Возьмите меня на крылья,
Унесите к батюшке, к матушке!

А гуси-лебеди отвечают:

— Га-га, за нами ещё летят — поголоднее нас, они тебя возьмут.

А ведьма погрызёт-погрызёт, взглянет на Терёшечку, облизнётся — и опять за дело...

Летит другое стадо. Терёшечка просит...

— Гуси мои, лебедята!
Возьмите меня на крылья,
Унесите к батюшке, к матушке!

А гуси-лебеди отвечают:

— Га-га, за нами летит защипанный гусёнок, он тебя возьмёт-донесёт.

А ведьме уже немного осталось. Вот-вот повалится дуб.

Летит защипанный гусёнок. Терёшечка его просит:

— Гусь-лебедь ты мой! Возьми меня, посади на крылышки, унеси меня к батюшке, к матушке.

Сжалился защипанный гусёнок, посадил Терёшечку на крылья, встрепенулся и полетел, понёс его домой.

Прилетели они к избе и сели на травке.

А старуха напекла блинов — поминать Терёшечку — и говорит:

— Это тебе, старичок, блин, а это мне блин.

А Терёшечка под окном:

— А мне блин?

Старуха услыхала и говорит:

— Погляди-ка, старичок, кто там просит блинок?

Старик вышел, увидел Терёшечку, привёл к старухе — пошло обниманье!

А защипанного гусёнка откормили, отпоили, на волю пустили, и стал он с тех пор широко крыльями махать, впереди стада летать да Терёшечку вспоминать.

ЖЕЛТУХИН

Желтухин сидел на кустике травы, на припёке, в углу, между крыльцом и стеной дома, и с ужасом глядел на подходившего Никиту.

Голова у Желтухина была закинута на спину, клюв с жёлтой во всю длину полосой лежал на толстом зобу. Весь Желтухин нахохлился, подобрал под живот ноги. Никита нагнулся к нему, он разинул рот, чтобы напугать мальчика. Никита положил его между ладонями. Это был ещё серенький скворец — попытался, должно быть, вылететь из гнезда, но не сдержали неумелые крылья, и он упал и забился в угол, на прижатые к земле листья одуванчика.

У Желтухина отчаянно билось сердце. «Ахнуть не успеешь,— думал он,— сейчас слопают». Он сам знал хорошо, как нужно лопать червяков, мух и гусениц.

Мальчик поднёс его ко рту. Желтухин закрыл плёнкой чёрные глаза, сердце запрыгало под перьями. Но Никита только подышал ему

на голову и понёс в дом: значит, был сыт и решил съесть Желтухина немного погодя.

Александра Леонтьевна, увидев скворца, взяла его так же, как и Никита, в ладони и подышала на головку.

— Совсем ещё маленький, бедняжка,— сказала она,— какой желторотый, Желтухин.

Скворца посадили на подоконник раскрытого в сад и затянутого марлей окна. Со стороны комнаты окно также до половины занавесили марлей. Желтухин сейчас же забился в угол, стараясь показать, что дёшево не продаст жизнь.

Снаружи, за белым дымком марли, шелестели листья, дрались на кусту презренные воробьи — воры, обидчики. С другой стороны, тоже из-за марли, глядел Никита; глаза у него были большие, двигающиеся, непонятные, очаровывающие. «Пропал, пропал»,— думал Желтухин.

Но Никита так и не съел его до вечера, только напустил за марлю мух и червяков. «Откармливают,— думал Желтухин и косился на красного безглазого червяка,— он как змей извивался перед самым носом.— Не стану его есть, червяк ненастоящий, обман».

Солнце опустилось за листья. Серый, сонный свет затягивал глаза,— всё крепче вцеплялся Желтухин коготками в подоконник. Вот глаза ничего уже не видят. Замолкают птицы в саду. Сонно, сладко пахнет сыростью и травой. Всё

глубже уходит голова в перья. Нахохлившись сердито — на всякий случай,— Желтухин качнулся немного вперёд, потом на хвост и заснул.

Разбудили его воробьи — безобразничали, дрались на сиреневой ветке. В сереньком свете висели мокрые листья. Сладко, весело, с пощёлкиванием засвистал вдалеке скворец. «Сил нет — есть хочется, даже тошнит»,— подумал Желтухин и увидал червяка, до половины залезшего в щёлку подоконника, подскочил к нему, клюнул за хвост, вытащил, проглотил. «Ничего себе, червяк был вкусный». Свет становился синее. Запели птицы. И вот сквозь листья на Желтухина упал тёплый яркий луч солнца. «Поживём ещё»,— подумал Желтухин, подскочив, клюнул муху, проглотил.

В это время загремели шаги, подошёл Никита и просунул за марлю огромную руку; разжав пальцы, высыпал на подоконник мух и червяков. Желтухин в ужасе забился в угол, растопырил крылья, глядел на руку, но она повисла над его головой и убралась за марлю, и на Желтухина снова глядели странные, засасывающие, переливающиеся глаза.

Когда Никита ушёл, Желтухин оправился и стал думать: «Значит, он меня не съел, а мог. Значит, он птиц не ест. Ну, тогда бояться нечего».

Желтухин сытно покушал, почистил носиком перья, попрыгал вдоль подоконника, глядя на воробьёв, высмотрел одного старого, с драным

затылком, и начал его дразнить, вертеть головой, пересвистывать: «Фюють, чилик-чилик, фюють». Воробей рассердился, распушился и с разинутым клювом кинулся к Желтухину — ткнулся в марлю. «Что, достал, вот то-то»,— подумал Желтухин и вразвалку заходил по подоконнику.

Затем снова появился Никита, просунул руку, на этот раз пустую, и слишком близко поднёс её. Желтухин подпрыгнул, изо всей силы клюнул в палец, отскочил и приготовился к драке. Но Никита только разинул рот и закричал: «Ха-ха-ха».

Так прошёл день — бояться было нечего, еда хорошая, но скучновато. Желтухин едва дождался сумерек и выспался в эту ночь с удовольствием.

Наутро, поев, он стал выглядывать, как бы выбраться из-за марли. Обошёл всё окошко, но щёлки нигде не было. Тогда он прыгнул к блюдечку и стал пить — набирал воду в носик, закидывал головку и глотал — по горлу катился шарик.

День был длинный. Никита приносил червяков и чистил гусиным пером подоконник. Потом лысый воробей вздумал подраться с галкой, и она так его ткнула — он камешком нырнул в листья, глядел оттуда, ощетинясь.

Прилетела зачем-то сорока под самое окно, трещала, суетилась, трясла хвостом, ничего путного не сделала.

Долго нежно пела малиновка про горячий солнечный свет, про медовые кашки — Желтухин даже загрустил, а у самого так и клокотало в горлышке, хотелось запеть, но где, не на окошке же, за сеткой!..

Он опять обошёл подоконник и увидел ужасное животное: оно шло, кралось на мягких коротких лапах, животом ползло по полу. Голова у него была круглая, с редкими усами дыбом, а зелёные глаза, узкие зрачки горели дьявольской злобой. Желтухин даже присел, не шевелился.

Кот Василий Васильевич мягко подпрыгнул, впился длинными когтями в край подоконника — глядел сквозь марлю на Желтухина и раскрыл рот... Господи! Во рту, длиннее Желтухиного клюва, торчали клыки... Кот ударил короткой лапой, рванул марлю... У Желтухина нырнуло сердце, отвисли крылья... Но в это время — совсем вовремя — появился Никита, схватил кота за отставшую кожу и швырнул к двери. Василий Васильевич обиженно взвыл и убежал, волоча хвост.

«Сильнее Никиты нет зверя»,— думал после этого случая Желтухин, и, когда опять подошёл Никита, он дал себя погладить по головке, хотя со страху всё же сел на хвост.

Кончился и этот день. Наутро совсем весёлый Желтухин опять пошёл осматривать помещение и сразу же увидел дыру в том месте, где кот рванул марлю когтем. Желтухин про-

сунул туда голову, осмотрелся, вылез наружу, прыгнул в текучий лёгкий воздух и, мелко-мелко трепеща крылышками, полетел над самым полом.

В дверях он поднялся и во второй комнате, у круглого стола, увидел четырёх людей. Они ели — брали руками большие куски и клали их в рот. Все четверо обернули головы и, не двигаясь, глядели на Желтухина. Он понял, что нужно остановиться в воздухе и повернуть назад, но не мог сделать этого трудного, на всём лету, поворота — упал на крыло, перевернулся и сел на стол, между вазочкой с вареньем и сахарницей... И сейчас же увидел перед собой Никиту. Тогда, не раздумывая, Желтухин вскочил на вазочку, а с неё — на плечо Никиты и сел, нахохлился, даже глаза до половины прикрыл плёнками.

Отсидевшись у Никиты на плече, Желтухин вспорхнул под потолок, поймал муху, посидел на фикусе в углу, покружился под люстрой и, проголодавшись, полетел к своему окну, где были приготовлены для него свежие червяки.

Перед вечером Никита поставил на подоконник деревянный домик с крылечком, дверкой и двумя окошечками. Желтухину понравилось, что внутри домика темно, он прыгнул туда, поворочался и заснул.

А тою же ночью в чулане кот Василий Васильевич, запертый под замок за покушение на разбой, орал хриплым мявом и не хотел



даже ловить мышей — сидел у двери и мяукал так, что самому было неприятно.

Так в доме кроме кота и ежа стала жить третья живая душа — Желтухин. Он был очень самостоятелен, умён и предприимчив. Ему нравилось слушать, как разговаривают люди, и, когда они садились к столу, он вслушивался, нагнув головку, и выговаривал певучим голоском: «Саша» — и кланялся. Александра Леонтьевна уверяла, что он кланяется именно ей. Завидев Желтухина, матушка всегда говорила ему: «Здравствуй, здравствуй, птицын серый, энергичный и живой». Желтухин сейчас же вскакивал матушке на шлейф платья и ехал за ней, очень довольный.

Так он прожил до осени, вырос, покрылся чёрными, отливавшими вороньим крылом перьями, научился хорошо говорить по-русски, почти весь день жил в саду, но в сумерки неизменно возвращался в свой дом на подоконник.

В августе его сманили дикие скворцы в стаю, обучили летать, и, когда в саду стали осыпаться листья, Желтухин — чуть зорька — улетел с перелётными птицами за море, в Африку.

А. М. Горький

Горестными были детство и отрочество великого пролетарского писателя Алексея Максимовича (Пешкова) Горького (1868—1936) — не случайно он выбрал себе такой псевдоним. Он жил с отчимом, который не любил его и обижал мать, затем зарабатывал гроши, собирая ветошь и продавая её старьёвщику, чтобы прокормить бабушку и разорившегося деда. После второго класса Алёше учиться уже не пришлось: «Ну, Лексей, ты — не медаль; на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди»,— сказал дед, и Алёша пошёл «в мальчики» в магазин модной обуви — чистил всем платье и обувь, ставил самовар, убирал магазин...

Позднее у чертёжника он тоже выполнял всю домашнюю работу. Не выдержал, убежал. Служил посудником на пароходе, затем был учеником в иконописной мастерской, помощником пекаря.

Но где бы Алёша ни служил, он всюду, хотя бы урывками, читал. Хозяева отбирали книги, наказывали его. «И грустно, и смешно вспоминать, сколько унижений и тревог принесла мне быстро вспыхнувшая страсть к чтению»,— говорил он позже.

Уже став известным писателем, Горький много ходил по России, смотрел, как живут люди, участвовал в революционном движении. И очень любил детей — не один раз он отдавал писательские гонорары детским домам.

Многие годы дружил Алексей Максимович с Владимиром Ильичом Лениным. Владимир Ильич высоко ценил его книги. А когда Горький рассказал ему о своём детстве, Ленин посоветовал написать об этом. «Напишу... Когда-нибудь»,— сказал Горький и позднее написал «Детство», «В людях», «Мои университеты».

ВОРОБЬИШКО

У воробьёв совсем так же, как у людей: взрослые воробьи и воробьихи — пичужки скучные и обо всём говорят, как в книжках написано: а молодёжь живёт своим умом.

Жил-был желторотый воробей, звали его Пудик, а жил он над окошком бани, за верхним наличником, в тёплом гнезде из пакли, моховинок и других мягких материалов. Летать он ещё не пробовал, но уже крыльями махал и всё выглядывал из гнезда: хотелось поскорее узнать, что такое божий мир и годится ли он для него.

— Что, что?— спрашивала его воробьиха-мама.

Он потряхивал крыльями и, глядя на землю, чирикал:

— Чересчур черна, чересчур!

Прилетал папаша, приносил букашек Пудику и хвастался:

— Чив ли я?

Мама-воробьиха одобряла его:

— Чив-чив!

А Пудик глотал букашек и думал:

«Чем чванятся: червяка с ножками дали — чудо!»

И всё высовывался из гнезда, всё разглядывал.

— Чадо, чадо,— беспокоилась мать,— смотри — чебурахнешься!

— Чем, чем?— спрашивал Пудик.

— Да не чем, а упадёшь на землю, кошка — чик! — и слопает!— объяснял отец, улетая на охоту.

Так всё и шло, а крылья расти не торопились.

Подул однажды ветер, Пудик спрашивает:

— Что, что?

— Ветер дунет на тебя — чирк! — и сбросит на землю — кошке!— объяснила мать.

Это не понравилось Пудику, он и сказал:

— А зачем деревья качаются? Пусть перестанут, тогда ветра не будет...

Пробовала мать объяснить ему, что это не так, но он не поверил — он любил объяснять всё по-своему.

Идёт мимо бани мужик, махает руками.

— Чисто крылья ему оборвала кошка,— сказал Пудик,— одни косточки остались!

— Это человек, они все бескрылые!— сказала воробьиха.

— Почему?

— У них такой чин, чтоб жить без крыльев, они всегда на ногах прыгают, чу!

— Зачем?

— Будь-ка у них крылья, так они бы и ловили нас, как мы с папой мошек...

— Чушь!— сказал Пудик.— Чушь, чепуха! Все должны иметь крылья. Чать, на земле хуже, чем в воздухе!.. Когда я вырасту большой, я сделаю, чтобы все летали.



Пудик не верил маме: он ещё не знал, что, если маме не верить, это плохо кончится. Он сидел на самом краю гнезда и во всё горло распевал стихи собственного сочинения:

> Эх, бескрылый человек,
> У тебя две ножки.
> Хоть и очень ты велик,
> Едят тебя мошки!
> А я маленький совсем,
> Зато сам мошек ем.

Пел-пел да и вывалился из гнезда, а воробьиха за ним, а кошка — рыжая, зелёные глаза — тут как тут.

Испугался Пудик, растопырил крылья, качается на сереньких ногах и чирикает:

— Честь имею, имею честь...

А воробьиха отталкивает его в сторону, перья у неё дыбом встали — страшная, храбрая, клюв раскрыла — в глаз кошке целит.

— Прочь, прочь! Лети, Пудик, лети на окно, лети...

Страх приподнял с земли воробьишку, он подпрыгнул, замахал крыльями — раз, два — и на окне.

Тут и мама подлетела — без хвоста, но в большой радости, села рядом с ним, клюнула его в затылок и говорит:

— Что, что?

— Ну что ж!— сказал Пудик.— Всему сразу не научишься!

А кошка сидит на земле, счищая с лапы воробьихины перья, смотрит на них — рыжая, зелёные глаза — и сожалительно мяукает:

— Мя-аконький такой воробушек, словно мы-ышка... Мя-увы...

И всё кончилось благополучно, если забыть о том, что мама осталась без хвоста.

БАБУШКИН СКВОРЕЦ

Скворцу, отнятому у кота, бабушка обрезала сломанное крыло, а на место откушенной ноги ловко пристроила деревяшку и, вылечив птицу, учила её говорить. Стоит, бывало, целый час перед клеткой на косяке окна — большой такой, добрый зверь — и густым голосом твердит переимчивой, чёрной как уголь птице:

— Ну, проси: скворушке — кашки!

Скворец, скосив на неё круглый, живой глаз юмориста, стучит деревяшкой о тонкое дно клетки, вытягивает шею и свистит иволгой, передразнивает сойку, кукушку, старается мяукнуть кошкой, подражает вою собаки, а человечья речь не даётся ему.

— Да ты не балуй!— серьёзно говорит ему бабушка.— Ты говори: скворушке — кашки!

Чёрная обезьяна в перьях оглушительно орёт что-то похожее на слова бабушки; старуха смеётся радостно, даёт птице просяной каши с пальца и говорит:

— Я тебя, шельму, знаю: притворяшка ты — всё можешь, всё умеешь!

И ведь выучила скворца: через некоторое время он довольно ясно просил каши, а завидя бабушку, тянул что-то похожее на «драстуй...».

СЛУЧАЙ С ЕВСЕЙКОЙ

Однажды маленький мальчик Евсейка — очень хороший человек!— сидя на берегу моря, удил рыбу. Это очень скучное дело, если рыба, капризничая, не клюёт. А день был жаркий, стал Евсейка со скуки дремать — и — бултых!— свалился в воду.

Свалился, но ничего, не испугался и плывёт тихонько, потом нырнул и тотчас достиг морского дна.

Сел на камень, мягко покрытый рыжими водорослями, смотрит вокруг — очень хорошо!

Ползёт не торопясь алая морская звезда, солидно ходят по камням усатые лангусты, боком-боком двигается краб; везде на камнях, точно крупные вишни, рассеяны актинии, и всюду множество всяких любопытных штук: вот цветут, качаются морские лилии, мелькают, точно мухи, быстрые креветки, вот тащится морская черепаха, а над её тяжёлым щитом играют две маленькие зелёные рыбёшки, совсем как бабочки в воздухе, а вот по белым камням везёт свою раковину рак-отшельник. Евсейка, глядя на него, даже стихи вспомнил:

Дом — не тележка у дядюшки Якова...

И вдруг слышит, над головою у него точно кларнет запищал:

— Вы кто такой?

Смотрит, над головою у него огромнейшая рыба в сизо-серебряной чешуе, выпучила глаза и, оскалив зубы, приятно улыбается, точно её уже зажарили и она лежит на блюде среди стола.

— Это вы говорите?— спросил Евсейка.

— Я-а...

Удивился Евсейка и сердито спрашивает:

— Как же это вы? Ведь рыбы не говорят!

А сам думает:

«Вот так раз! Немецкий я вовсе не понимаю, а рыбий язык сразу понял! Ух, какой молодчина!»

И, приосанясь, оглядывается; плавает вокруг него разноцветная игривая рыбёшка и смеётся, разговаривает:

— Глядите-ка! Вот чудище приплыло: два хлыста!

— А чешуи нет, фи!

— И плавников только два!

Некоторые, побойчее, подплывают прямо к носу и дразнятся:

— Хорошо, хорош!

Евсейка обиделся.

— Вот нахалки! Будто не понимают, что перед ними настоящий человек...

И хочет поймать их, а они, уплывая из-под рук, резвятся, толкают друг друга носами в бока и поют хором, дразня большого рака:

Под камнями рак живёт,
Рыбий хвостик рак жуёт,



Рыбий хвостик очень сух,
Рак не знает вкуса мух.

А он, свирепо шевеля усами, ворчит, вытягивая клешни:

— Попадитесь-ка мне, я вам отстригу языки-то!

«Серьёзный какой»,— подумал Евсейка.

Большая же рыба пристаёт к нему:

— Откуда это вы взяли, что все рыбы немые?

— Папа сказал.

— Что такое папа?

— Так себе... Вроде меня, только побольше, и усы у него. Если не сердится, то очень милый...

— А он рыбу ест?

Тут Евсейка испугался: скажи-ка ей, что ест!

Поднял глаза вверх, видит сквозь воду мутно-зелёное небо и солнце в нём, жёлтое, как медный поднос; подумал мальчик и сказал неправду:

— Нет, он не ест рыбу, костлявая очень...

— Однако какое невежество!— обиженно вскричала рыба.— Не все же мы костлявые! Например — моё семейство...

«Надо переменить разговор»,— сообразил Евсей и вежливо спрашивает:

— Вы бывали у нас наверху?

— Очень нужно!— сердито фыркнула рыба.— Там дышать нечем...

— Зато мухи какие...

Рыба оплыла вокруг него, остановилась прямо против носа да вдруг и говорит:

— Му-хи? А вы зачем сюда приплыли?

«Ну, начинается!— подумал Евсейка.— Съест она меня, дура...» И будто бы беззаботно, ответил:

— Так себе, гуляю...

— Гм!— снова фыркнула рыба.— А может быть, вы уже утопленник?

— Вот ещё!— обиженно крикнул мальчик.— Нисколько даже! Я вот сейчас встану и...

Попробовал встать, а не может: точно его тяжёлым одеялом окутали — ни поворотиться, ни пошевелиться!

«Сейчас я начну плакать»,— подумал он, но тотчас же сообразил, что плачь не плачь — в воде слёз не видно, и решил, что не стоит плакать, может быть, как-нибудь иначе удастся вывернуться из этой неприятной истории.

А вокруг — господи!— собралось разных морских жителей — числа нет! На ногу взбирается голотурия, похожая на плохо нарисованного поросёнка, и шипит:

— Желаю с вами познакомиться поближе...

Дрожит перед носом морской пузырь, дуется, пыхтит — укоряет Евсейку:

— Хорошо! Хорошо! Не рак, не рыба, не моллюск, ай-я-яй!

— Погодите, я, может, еще авиатором буду,— говорит ему Евсей, а на колени его

влез лангуст и, ворочая глазами на ниточках, вежливо спрашивает:

— Позвольте узнать, который час?

Проплыла мимо сепия, совсем как мокрый носовой платок; везде мелькают сифонофоры, точно стеклянные шарики; одно ухо щекочет креветка, другое — тоже щупает кто-то любопытный, даже по голове путешествуют маленькие рачки — запутались в волосах и дёргают их.

«Ой-ой-ой!» — воскликнул про себя Евсейка, стараясь смотреть на всё беззаботно и ласково, как папа, когда он виноват, а мама сердится на него.

А вокруг в воде повисли рыбы — множество!— поводят тихонько плавниками и, вытаращив на мальчика круглые глаза, скучные как алгебра, бормочут:

Как он может жить на свете без усов и
чешуи?
Мы бы, рыбы, не могли бы раздвоить
хвосты свои!
Не похож он ни на рака, ни на нас весьма
во многом.
Не родня ли это чудо безобразным
осьминогам?

«Дуры!— обиженно думает Евсейка.— У меня по русскому языку в прошлом году две четвёрки было...»

И делает такой вид, будто он ничего не слышит, даже хотел беззаботно посвистеть, но оказалось — нельзя: вода лезет в рот, точно пробка.

А болтливая рыба всё спрашивает его:

— Нравится вам у нас?

— Нет... то есть да, нравится... У меня дома тоже очень хорошо!— ответил Евсей и снова испугался.

«Батюшки, что я говорю?! Вдруг она рассердится, и начнут они меня есть...»

Но вслух говорит:

— Давайте как-нибудь играть, а то мне несколько скучно...

Это очень понравилось болтливой рыбе, она засмеялась, открыв круглый рот так, что стали видны розовые жабры, виляет хвостом, блестит острыми зубами и старушечьим голосом кричит:

— Это хорошо — поиграть! Это очень хорошо — поиграть!

— Поплывёмте наверх!— предложил Евсей.

— Зачем?— спросила рыба.

— А вниз уже нельзя ведь! И там, наверху, мухи.

— Мух-хи! Вы их любите?..

Евсей любил только маму, папу и мороженое, но ответил:

— Да...

— Ну что ж? Поплывём!— сказала рыба, перевернувшись головой вверх, а Евсей тотчас цоп её за жабры и кричит:

— Я готов!

— Стойте! Вы, чудовище, слишком засунули свои лапы в жабры мне...

— Ничего!

— Как это ничего? Порядочная рыба не может жить не дыша.

— Господи!— вскричал мальчик.— Ну что вы спорите всё? Играть так играть...

А сам думает:

«Лишь бы только она меня немножко подтащила наверх, а там уж я вынырну».

Поплыла рыба, будто танцуя, и поёт во всю мочь:

Плавниками трепеща,
И зубаста и тоща,
Пищи на обед ища,
Ходит щука вкруг леща!..

Маленькие рыбёшки кружатся и хором орут:

Вот так штука!
Тщетно тщится щука
Ущемить леща!
Вот так это штука!

Плыли-плыли, чем выше — тем всё быстрее и легче, и вдруг Евсейка почувствовал, что голова его выскочила на воздух.

— Ой!

Смотрит — ясный день, солнце играет на воде, зелёная вода заплёскивает на берег, шумит, поёт. Евсейкино удилище плавает в море, далеко от берега, а сам он сидит на том же камне, с которого свалился, и уже весь сухой!

— Ух,— сказал он, улыбаясь солнцу,— вот я и вынырнул!

ВСТРЯСКА

СТРАНИЧКА ИЗ МИШКИНОЙ ЖИЗНИ

Однажды в праздничный вечер он стоял на галерее цирка, плотно прижавшись грудью к дереву перил, и, бледный от напряжённого внимания, смотрел очарованными глазами на арену, где кувыркался ярко одетый клоун, любимец цирковой публики.

Окутанное пышными складками розового и жёлтого атласа, тело клоуна, гибкое как у змеи, мелькая на тёмном фоне арены, принимало различные позы: то лёгкие и грациозные, то уродливые и смешные; оно как мяч подпрыгивало в воздухе, ловко кувыркалось там, падало на песок арены и быстро каталось по ней. Потом клоун вскакивал на ноги и, смелый, довольный собой, весело смотрел на публику, ожидая от неё рукоплесканий. Она не скупилась и дружно поощряла его искусство громким смехом, криками, улыбками одобрения. Тогда он вновь извивался, кувыркался, прыгал, жонглировал своим колпаком; при каждом движении его золотые блёстки, нашитые на атласе, сверкали как искры, а мальчик с галереи жадно следил за этой игрой гибкого тела и, прищуривая от удовольствия свои чёрные глазки, улыбался тихой улыбкой неизъяснимого удовольствия.

— Фот тяк!— ломаным языком и тонким



голосом говорил клоун, перепрыгивал через спинку стула, несколько секунд балансировал на ней, но вдруг неестественно изогнулся, упал и, съёжившись в ком, вместе со стулом замелькал по арене, так что казалось, будто стул ожил и гонится за ним.

Мальчик следил за всем, что делал клоун, и, увлечённый его ловкостью, невольно отражал и повторял на своей рожице все гримасы уморительно подвижного набелённого лица. Он повторял бы и жесты, но был стиснут со всех сторон до того, что не мог двинуть рукой. Сзади на него навалился какой-то бородач в ку-

черском костюме, с боков тоже давили его.

На галерее было душно; грудь, прижатая к дереву перил, болела, ноги ныли от усталости и полученных толчков, но как ловок и красив этот клоун и как люб он всем! Увлечение мальчика ловкостью артиста возвышалось до благоговейного чувства, он молчал, когда публика громко выражала свои одобрения клоуну, молчал и порой вздрагивал от желания самому быть там, на арене, кувыркаться по ней в сияющем костюме, смешить людей, слышать их похвалы и видеть сотни весёлых лиц и внимательных глаз, устремлённых на него.

Сильное, но смутное чувство, властно охватившее мальчика, было, в общем, тёмным чувством — оно не оживляло, а подавляло своей силой, в нём было много грусти и зависти, ещё более обострявшихся каждый раз, когда у мальчика вспыхивала мысль о том, что всё это, красивое и приятное, как сон, должно скоро кончиться и опять ему придётся идти домой в тёмную и грязную мастерскую...

А клоун встал на четвереньки, одну ногу вытянул и, прыгая по арене на другой и на руках, с визгом и хрюканьем скрылся, возбудив в публике дружный хохот.

Следующим номером программы была борьба двух атлетов, потом выехала на лошади барыня в длинном чёрном платье и в шляпе, похожей на маленькое ведёрко, за ней вышли

трое акробатов... Было и ещё много разных номеров, но из них внимание маленького зрителя заняли только двое артистов, ещё более маленьких, чем он сам. Исполнив трудное упражнение на турнике, они ушли, но и они не затушевали того впечатления, которое оставил клоун.

Когда представление кончилось и публика с шумом стала расходиться, мальчик с галереи всё ещё медлил уходить и смотрел на арену, где уже гасили огни. Вот там явился какой-то низенький господин с тростью в руке и с сигарой в зубах.

— Это и есть самый он... клоун-то,— сказал бородатый человек и, широко улыбаясь, добавил: — Очень я его хорошо знаю... хоша он и обрядился в настоящее...

Мальчик слышал эти слова и пристально смотрел на человека с сигарой, который стоял среди арены, что-то приказывая людям в красных мундирах, суетившимся по ней. Это блестящий ловкий клоун? И мальчик разочарованно тряхнул головой — не понравилось ему, что такой удивительный человек одевается как самый обыкновенный модный барин. Вот если б он, Мишка, был клоуном, он так бы и ходил по улицам в ярком широком атласном костюме с золотом и в высоком белом колпаке. И Мишка вышел из цирка, решительно недовольный этим неприятным превращением артиста в обыкновенного человека.

Длинная улица лежала пред мальчиком; по обеим сторонам её, как две нити крупных огненных бус, протягивались вдаль фонари, оживлённо и безмолвно состязаясь с тьмой ночи, полной говора людей и дребезга пролёток. Вспоминая выходки клоуна, мальчик улыбался, а иногда, перепрыгивая через впадину на панели или вскакивая на ступеньку крыльца, вполголоса восклицал:

— Фот тяк! И фот тяк!..

И, воспроизводя на лице гримасы и ужимки, потешавшие публику, мальчик порой останавливался пред окнами магазинов и серьёзно подолгу рассматривал своё отражение на стекле.

Удовлетворённый видом своей исковерканной гримасами скуластой рожицы с маленькими живыми чёрными глазами, он весело подпрыгивал и свистел. Но уже в нём являлось нечто, портившее ему настроение,— память, оживлённая боязнью наказания, чувством, которое постоянно жило в худой груди Мишки,— память упорно восстановляла пред ним завтрашний день — тяжёлый, суетливый день!

Завтра утром он проснётся, разбуженный сердитым окриком кухарки, и пойдёт ставить самовар для мастеров. Потом приготовит посуду для чая на длинном столе среди мастерской и станет будить мастеров, а они будут ругать его и лягаться ногами... Пока они пьют чай, он должен прибрать их постели, вымести

мастерскую, потом, выпив стакан холодного и спитого чая, он достанет из угла мастерской большую каменную плиту, положит её на табурет и с пирамидальным камнем в руках усядется растирать краски. От возни тяжёлым камнем по плите у него заболят, заноют и руки, и плечи, и спина. После обеда около часа отдыха — он уберёт со стола и, свернувшись где-нибудь в углу, заснёт как котёнок... а разбудят его пинком. Может быть, его заставят чистить пемзой доски, зашпаклёванные под иконы, и он, кашляя и чихая, долго будет дышать тонкой меловой пылью. И так весь день, до ужина...

Единственное приятное, что испытывал Мишка и чего он всегда с нетерпением ждал, это приказание бежать куда-нибудь — к столяру за досками для икон, в москательную лавку, в кабак за водкой... А самым неприятным и даже страшным для него было кропотливое и требовавшее большой осторожности поручение заготовить яичных желтков для красок [1].

Нужно было осторожно разбить яйцо, слить желток в одну чашку, белок — в другую, а он то портил яйцо, раздавливая в нём желток, то сливал белок в чашку с желтком и пор-

---

[1] Краски, которыми писали большинство икон, разводились на желтке яиц.

тил уже все желтки, которые успел отделить. За это били.

Скучную и нелёгкую жизнь изживал он...

...Дойдя до ворот хмурого двухэтажного дома, окрашенного в какую-то рыжую краску, Мишка торкнулся в калитку и, убедившись, что она заперта, тотчас же решил перелезть через забор, что и исполнил быстро и бесшумно, как кошка. Проникая во двор таким необычным путём, он избегал подзатыльника, которым непременно отплатил бы ему дворник за беспокойство отворить калитку,— ведь всегда приятно получить одним подзатыльником меньше против того, сколько вам их назначено от судьбы. А кроме этого Мишке было и невыгодно, чтоб дворник видел, где он ляжет спать. Хитрый мальчик для сна всегда выбирал самые укромные уголки двора — этим он выигрывал у хозяина несколько лишних минут сна, ибо поутру, для того чтоб разбудить Мишку, сначала нужно было найти его. И теперь он лихо пробрался в угол двора, там, в узкой дыре между поленницей дров и стеной погреба, зарылся в солому и рогожи, с наслаждением вытянулся на спине и несколько секунд смотрел в небо.

В небе сверкали звёзды... Они напоминали Мишке золотые блёстки на атласном костюме клоуна, он зажмурил глаза, улыбнулся сквозь дрёму и, беззвучно, одними губами, повторив: «Фот тяк...», уснул крепким детским сном...

Проснуться его заставило странное ощущение: ему показалось, что левая нога его быстро бежит куда-то и тащит за собой всё тело. Он с испугом открыл глаза.

— Чертёнок!— укоризненно говорила кухарка, дёргая его за ногу.— Опять ты спрятался? Вот я ужо — погоди!— скажу хозяйке...

— Это я, тётенька Палагея, не прятался, вот, ей-богу, не прятался!— И Мишка, вскочив на ноги, убеждённо перекрестился.

— Черти тебя спрятали?

— А я пришёл, и было везде заперто... Дядя Николай стал бы ругаться, ну, я — махить через ворота...— скороговоркой объяснил Мишка, зорко следя за руками тётеньки Палагеи.

— Иди, иди, шишига, ставь самовар-от, ведь уж скоро шесть часо-ов...

— Это я чичас!— с полной готовностью воскликнул Мишка и, довольный тем, что он так дёшево отделался, сломя голову побежал в кухню. Там, бодро возясь около самовара, позеленевшего от старости пузатого ветерана с исковерканными боками, Мишка вступил в беседу с кухаркой.

— Ну уж в цирке вчерась — ах, тётенька!— здорово представляли!— щуря глаза от удовольствия, сказал он.

— Я тоже было хотела пойти,— угрюмо отозвалась кухарка и со злым вздохом добавила: — Да разве у нас вырвешься!

— Вам нельзя,— серьёзно сказал Мишка и, так как он был великий дипломат, то, ответив кухарке сочувственным вздохом, пояснил свои слова: — Потому вы вроде как на каторге...

— То-то что...

— А уж был там паяц один... ах и шельма!

— Смешной?— заинтересовалась кухарка оживлением Мишки.

— Тоись просто уморушка! Согнёт он какой-нибудь крендель — так все за животики и возьмутся!— живописал Мишка, держа в руках пучок зажжённой лучины.

— Ишь ты... люблю я этих паяцев... Клади лучину-то в самовар — руки сожжёшь.

— Фю-ить! Готово! Рожа у него — как на пружинах... уж он её и так кривит и эдак...— Мишка показал, как именно паяц кривит рожу.

Кухарка взглянула на него и расхохоталась.

— Ах ты... таракан ты... ведь уж перенял! Ступай убирай мастерскую-то, анчутка.

— И фот тяк!— пискливо крикнул Мишка, исчезая из кухни, сопровождаемый добродушным смехом Палагеи.

Прежде чем попасть в мастерскую, он подбежал в сенях к кадке с водой и, глядя в неё, проделал несколько гримас. Выходило настолько хорошо, что он даже сам рассмеялся.

...Этот день стал для него роковым днём и днём триумфа. С утра он рассказывал в мастерской о клоуне, воспроизводил его гримасы, изгибы его тела, пискливую речь и всё, что

врезалось в его память. Мастеров томила скука, они рады были и той незатейливой забаве, которую предлагал им увлечённый Мишка, они поощряли его выходки и к вечеру уже звали его паяц.

— Паяц! На-ко вымой кисти!

— Паяц! Принеси лазури!

И Мишка, чувствуя себя героем дня, белкой прыгал по мастерской, всё более входя в роль потешника, гримасничая и ломаясь. Эта роль, привлекая к нему общее и доброе внимание мастеров, льстила его маленькому самолюбию и весь день охраняла его от щелчков, пинков и иных поощрений, обычных в его жизни. Но чем выше встанешь, тем хуже падать — это ведь известно...

Вечером, пред концом работы, один из мастеров, писавший поясной образ св. великомученика Пантелеймона, подозвал к себе Мишку и сказал ему, чтобы он поставил икону, ещё сырую, на окно. Мишка, кривляясь, схватил образ и... смазал пальцем краску с ящичка в руке св. целителя... Бледный от испуга, он молча и вопросительно взглянул на мастера.

— Что? Дорвался?— ехидно спросил тот.

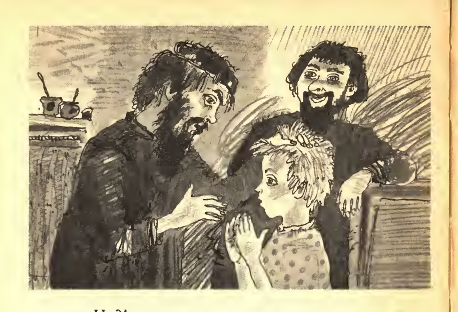
— Я нечаянно-о...— тихо протянул Мишка.

— Дай сюда...

Мишка покорно отдал ему икону и потупился.

— Давай башку!

— Господи!— умоляюще взвыл Мишка.



— Ну?!

— Дяденька! я...

Но мастер схватил его за плечи и притянул к себе. Потом он, не торопясь, запустил ему пальцы своей левой руки в волосы на затылке снизу вверх и начал медленно поднимать мальчика на воздух. Мишка подобрал под себя ноги и поджал руки, точно он думал, что от этого тело его станет легче, и с искажённым от боли лицом повис в воздухе, открыв рот и прерывисто дыша. А мастер, подняв его левой рукой на пол-аршина от пола, взмахнул в воздухе правой и с силой ударил мальчика по ягодицам сверху вниз.

Это называется «встряска», она выдирает волосы с корнями, и от неё на затылке является опухоль, которая долго заставляет помнить о себе.

Стоная, схватившись за голову руками, Мишка упал на пол к ногам мастера и слышал, как в мастерской смеялись над ним.

— Ловко кувыркнулся, паяц!

— Это, братцы, воздушный полёт.

— Ха-ха-ха! Мишка, а ну-ка ещё посальтомортадь.

Этот смех резал Мишке душу и был намного острее боли от «встряски». Ему приказали подняться с пола и накрывать на стол для ужина. В кухне его ждало ещё огорчение. Там была хозяйка — она поймала его и начала трясти за ухо, приговаривая:

— А ты, чертёнок, спи, где велят, а не пря-чься, не прячься, не пря-чься.

Мишка болтал головой, стараясь попасть в такт движениям хозяйкиной руки, и чувствовал едва одолимое желание укусить эту руку.

...Через час он лежал на своей постели, под столом в мастерской, сжавшись в плотный маленький комок так, точно он хотел задавить в себе боль и горечь.

В окна смотрела луна, освещая голубоватым сиянием большие иконостасные фигуры святых, стоявшие в ряд у стены. Их тёмные лики смотрели сурово и внушительно в тор-

жественной безмятежности своей славы, лунный свет придавал им вид призраков, смягчая резкие краски и оживляя складки тяжёлых риз на их раменах [1].

Без дум, весь поглощённый чувством обиды, мальчик покорно ожидал, когда это чувство затихнет... а блестящие краски икон постепенно вызывали воспоминания о вчерашнем вечере, о красивых костюмах ловких гибких людей, которые так свободно прыгают, так веселы и красивы...

И вот он видит арену цирка и себя на ней; с необычайной лёгкостью он совершал самые трудные упражнения, и не усталостью, а сладкой и приятной негой они отзывались в его теле... Гром рукоплесканий поощрял его... полный восхищения пред своей ловкостью, весёлый и гордый, он прыгнул высоко в воздух и, сопровождаемый гулом одобрения, плавно полетел куда-то, полетел со сладким замиранием сердца... чтоб завтра снова проснуться на земле от пинка...

---

[1] Рамена *(устар.)* — плечи.

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы и сказки русских писателей/Сост.
Р 24 Трубникова Н. И.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1989.— 448 с.: ил.

ISBN 5—7529—0159—6

В пер.: 90 к. 200 000 экз.

В книгу включены произведения писателей XIX — начала XX в. Адресована младшим школьникам

Р $\frac{4803010201\text{-}022}{М158(03)\text{-}89}$ 65-89

ББК 84Р1

РАССКАЗЫ И СКАЗКИ
РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Редактор *Е. В. Черняк*
Художник *В. Н. Власов*
Художественный редактор *Н. В. Данилов*
Технический редактор *Т. Н. Черепанова*
Корректор *М. Ф. Худякова*

ИБ № 1747

Сдано в набор 10.06.88. Подписано в печать 28.12.88. Формат $70 \times 108^1/_{32}$. Бумага кн.-журнальная. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,6. Усл. кр.-отт. 20,3. Уч.-изд. л. 15,5. Тираж 200 000 экз. (2-й завод: 100 001—200 000). Заказ 301. Цена 90 коп.

Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.





